А. РЕМИЗОВ / В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

А. РЕМИЗОВ

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ

А. РЕМИЗОВ

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1952

Printed in the United States of America

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ

ПЕТЕРБУРГ

Петербург — город прозрачный,
северная ясня!

Это Москва, наговорившая про него и то и се, ревнивая — Москва, где в Таганке ругают Землянку, на Землянке — Замоскворечье, в Замоскворечье — Арбат, на Арбате — Покровку, это отчаяние разглядело в нем только тяжелые туманы с бесами, с привидениями, это ожесточение «рабов Христовых Последней Руси» из земляных тюрем и с пылающих срубов пустило про него проклятую славу — «быть пусту!»

Нет, одна Нева — Нева, как море, и не Гоголевскою шириною, а самой адмиралтейской, широка, и какое море солнца горит на ее глубокой голуби, без устали плывущей «на-саженку».

А червонный купол Исакия собрал такой хоровод лучей — на все проспекты и линии и тракты горит — горит не золотою литой кровлей, как московский Кремль — вся Москва, а пылающим червонным глобусом.

А если по-осени наползают туманы или зимой вдруг от туманного дыму не пройти, не проехать по Невскому, а электрические фонари сквозь туманы зелеными вырезными шарами не светят, а дразнят, так ведь на всем земном шаре тоже — и в Лондоне и Париже, где с разлившейся Сены такое полезет — как молоко! — и гриппом начнет душить налево и направо, или в Берлине, где от зимней туманной еди дохают, как лошади, и бегут по улицам, скорчившись, не зная, где уж найти тепло.

Да, в Петербурге туманы, но и в Лондоне, Париже

и Берлине туманы — не пройти, не проехать! — но за то завтра вдруг ударит московский мороз, и вечер закутается ало-синею северной пеленой, за которой уж ночь кует крепкие крещенские звезды.

И запылают костры на снежных площадях и у белых мостов —

огнями до звезд.



Утром в Гатчине Оля выглянула из вагона — после дождей ясно, тут уж осень!

— Пе-тер-бург!

И версты побежали мигом — не уследишь:

за нетерпением, за быстротою, за вагонами, загромождающими пути во все концы.

Петербург —

Варшавский вокзал.

Багаж оставила Оля на вокзале, пошла на-легке —

мимо извозчиков, мимо автомобилей прямо по мостовой под лесами, загородившими весь тротуар, через разбросанные торцовые кубики под гик извозчиков, гуд и шлеп автомобилей, стукотню грузовиков и ломовой огрыз — к Технологическому институту на трамвай: трамвай на Васильевский остров.

Кажется, со всеми бы заговорила, всякому уступила бы место, поклонилась бы —

своему родному

— несравненному —

своему

Петербургу



На 3-ьей линии сдавалась комната — первую попавшуюся Оля и взяла.

И сейчас же назад на вокзал. Перевезла вещи. Убралась. И на Курсы обедать.



Никогда так на Курсах не весело, как в день осеннего съезда.

Ведь столько не видались — столько рассказов, расспросов, новостей.

Каждая что-нибудь привезла:

Оля — маковники, пастилу, яблоки;

Женя Шубина — вот какие баницщи с вареньем,

Варя Финикова — колобки.

И сами наедятся и отделят для передачи:

много курсисток ходят «невестами» к арестованным студентам, они и возьмут.

— Когда пришла я в первый раз «невестой» к студенту-горняку Преображенскому, — вспоминает Женя Шубина, — я взглянула на него, никогда ведь не видела, и так мне стало смешно, не удержалась да как захохочу: не могу от смеха слова сказать, хохочу. А он смотрел-смотрел, и тоже захохотал. Так все полчаса и прохохотали, ни слова.

Кто-то из «невест» вспомнил Катю Новикову — ее случай: «невеста неневестная!» —

надо было устроить свидание с Нерадовским — написали из Москвы его знакомые, в Петербурге у него никого не было: Нерадовского перевезли из Москвы, сидел он по приговору в Крестах. Предложили Новиковой. Новикова пошла в Жандармское, просит свидание с своим женихом Павлом Ивановичем Нерадовским. «С Павлом Ивановичем Нерадовским?», — переспросил жандармский ротмистр. «Да, с Павлом Ивановичем Нерадовским, моим женихом». Ротмистр подумал и чего-то улыбнулся: «Приходите завтра ровно в 12-ть». На другой день ровно в 12-ть Новикова была в Жандармском. За большим зеленым столом сидело много жандармов. И ее посадили — и на самом виду. «Так вы просите свидание с вашим женихом?» обратился вче-

рашний ротмистр. «Да». «А когда же вы с ним познакомились: жил он в Москве и уж два года находится в заключении». «Это мое личное дело». «А если я вам покажу несколько карточек и вашего жениха, вы узнаете, который ваш жених?» «Конечно!» Новикова смутилась. «Конечно, узнаю, если он очень не изменился». Жандармы переглянулись. «Невеста неневестная!» заметил кто-то. И это замечание еще больше смутило и раздосадовало. «Так дайте же мне свидание и отпустите!» «Позвольте, а как зовут вашего жениха?» «Павел Иванович Нерадовский!» резко ответила Новикова и от досады и от смущенья... Тут ротмистр взял папку «Дело Нерадовского» и, раскрыв, показал Новиковой. Новикова прочитала: *зовут меня Петром Ивановичем Нерадовским.* «Вот вы забыли имя вашего жениха: наверно ему неприятно будет вас видеть. Лучше уж не дадим вам свидания».

— Я тогда, как ошпаренная, вышла: до сих пор помню вдогонку хохот.

— Это все Фролов напутал: не разобрал в письме имя, из Петра сделал Павла!

И вдруг вошла Зина —

Оля к ней: ведь целое лето!

Зина то же — Зина, как и Оля: она только что приехала и прямо на Курсы.

Зине отделили для брата — «для передачи» — Сергей Рашевский сидел с самой Пасхи в Петропавловской крепости, с того памятного дня для Оли, когда, попав в засаду, она в первый раз столкнулась с жандармами и провела несколько часов на Гороховой в Охранном, — многих из его товарищей выпустили, уж несколько месяцев ходил на свободе Фе-

дор Иванович Котельников, а его все держали.

После обеда Зина с Олей — к Оле на новоселье.

— Как я чувствую разницу, какая я была в прошлом году, когда в первый раз в Петербург приехала, а какая теперь. Будто после гимназии не один год, а десять лет прошло. Мы в прошлом году ничего не знали, а теперь уже знаем кое-что.

— Ничего, Оля, мы не знаем еще: мы только знаем, чего надо знать.

(Зина всегда вместо «что», говорила «чего».)

— Пойдем, Зина, по городу. Я чувствую, как люблю Петербург. Сердце сжимается, я не могу себе представить жизни без Петербурга.

— Федор Иванович говорит: если кого-нибудь или что-нибудь любишь по-настоящему, то непременно до болезненности. Значит, ты действительно любишь Петербург. Да и я тоже.

Весною часто ходили к Горному институту — к Горному институту и пошли:

там хорошо смотреть на Неву!

А от Горного через Николаевский мост.

— Здесь Каракозов стрелял! — сказала Оля.

Постояли на мосту — посмотрели на каракозовскую часовню — на Неву к Петропавловской крепости. И Сенатской площадью — «Декабристы!» — мимо памятника Петру, мимо Исакия — на Невский.

Шли мимо Казанского собора.

— Сколько здесь демонстраций было. И после одной Вера Засулич стреляла. Может, и мы, Зина, будем в демонстрации здесь же участвовать.

Публичная библиотека.

А с нею память о занятиях —

сколько вечеров за чтением!

и как хорошо читается книга!

— Я буду заниматься философией, — сказала Зина.

— А я историей, сказала Оля.

К сумеркам Невский наряжался в электричество.

Загорелись огнями магазины. Теснее пошел народ: кто домой, кто так.

Среди автомобилей и извозчиков прокатила коляска с форейтором на запятках в красном. А вслед карета со спущенными занавесками — политических арестантов на допрос возят.

У Аничкова дворца вдруг раздался непохожий автомобильный гудок — глубокий —

и все остановилось.

Пристав, напруженный, точно на нем не одна, а три шинели, вытянувшись, стоял у ворот с сторожами-татарами, а длинные, как фонари, городовые загораживали дорогу на тротуаре.

Из дворца выехал автомобиль и свернул на Невский.

— Государь! — кто-то сказал.

— Где? где? — повертывались посмотреть.

Но уже автомобиля не было — много было, нетерпеливо и настойчиво стучащих, вдруг остановленных, а такого не было.

И сразу хлынуло — как попало! — наверстывая потерянное на остановке, зазвенели звонки трамваев, и лошадиные морды ткнулись в спины седоков.

Оля и Зина стояли, дожидаясь, пока не установится, что-бы перейти на другую сторону.

— Из-за одного человека и все остановилось!

— Тише, Оля!

С Невского они пошли мимо Летнего сада — «где стрелял Соловьев!» — через Троицкий мост к Петропавловской крепости.

— Как это странно читать: «Иоанновские ворота!» — несчастный ребенок! А сколько здесь сидело, о ком мы всегда думаем: и Перовская, и Вера Фигнер и Брешковская.

Постояли около ворот — дальше ходу нет.

Еще раз взглянули на Неву — и домой.

— Как я счастлива, что все это вижу опять.
— И я тоже.

⁂

— — — маленькой собачкой бежит Оля: серая, коричневая, а под горлом белое пятнышко. Бежит она —

«несет для всего мира!»

пробежала по соломе, спешит, запыхалась.

Пусто кругом — пустырь. И чувствует она: кто-то и еще есть с ней, только она не видит. И вдруг — это тот невидимый — провел пальцем по ее спине — и так глубоко вдавился палец — до тела — до ее человеческого тела — —

⁂

Окна открыты, занавесы спущены.
Мимо дома по улице проходят с песнями.
Песня звучит зловеще.

ой, у лузи та и при берези
червона калина

«Умные люди по-праздникам спать ложатся!» — говорит кто-то.
И от этих слов еще жутче.
В доме живет старуха, дальняя родственница: глаза черные на выкате, нос широченный, губы тонкие змейкой. Старуха все крадет: цветы, камушки

«Миша, говорит Оля брату, давай мы с ней управимся!»

И Миша подошел к старухе, да за руку ее — и посадил на стул. Тут Оля ее за другую руку. А старуха на Олю посмотрела:

«Хоть и одна ручка осталась, а со мной не справитесь!» Да двумя пальцами Оле в руку

ногти огромные вкололись — — и прошли руку насквозь.

«Как! — крикнула Оля, — не справимся? Вон!»

А за окном еще зловещей —

було б тоби, моя ридна мати,
тих брив не давати
було б тоби, моя ридна мати,
счастье — долю дати.

***

Наталья Ивановна принесла вишневого варенья с косточками.

«Это последнее, — сказала она, — больше никогда такого не будет!»

И видит Оля, как от слов мамы у любимой бабушки Татьяны Алексеевны лицо стало маленькое, а глаза остеклелись и только в глубине их настоящие. Оля — в сад через балкон. Балкон в Меженинке давным давно провалился, а вот будто целехонек.

Темно в саду. Деревья жмутся — качаются, но тихо, без шума.

И вдруг выскочила собака — не меженинская, не ватагинская, огромная, как волк — и прямо на Олю.

Оля чувствует: заворожена собака, а заворожил ее тот, кто любит Олю, — и бросилась, а не кусает, только теребит руку.

И вдруг собака поднялась на воздух — от злости поднялась собака на воздух — и там закружилась.

ИЗ-ПОД ОПЕКИ

Кровать, комод, два стола — один заниматься, другой для еды. Этажерка — книги. На комоде зубной

порошок. Вместо шкапа завешено простыней в уголку. На стене Михайловский.

Чистая, светлая, теплая.

Хозяйка — Ксенья Ивановна, миллион детей — имен не хватило: и старшая дочь Леля и самая младшая Леля.

На одну сторону — глухая стена, на другую — дверь, заставленная комодом.

Через дверь — поет соседка:

высокий стройный весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках —

Придет Черкасов — и вместе пойдут в университет на заседание «Исторического общества».

— Ах, Зина, если бы мне от него избавиться: он будто какие-то права на меня имеет. И я его ненавидеть начинаю. Написал мне: будет меня ждать на своей станции, чтобы вместе в Петербург ехать, а то будто мне одной ехать неудобно. Ну, я на письмо не ответила: чтобы не мог знать дня моего выезда. Что ж ты думаешь, подъезжаю к Шумовке, его станция, вижу издали — стоит. Я в уборную спряталась. И вышла, когда поезд тронулся и полным ходом шел. Боялась, будет меня по вагонам искать.

Ну, наконец-то — — —

Зина надела теплую кофту. А у Оли шуба длинная беличья, но она — коротенькую осеннюю кофточку.

— Очень холодно, — говорит Черкасов, — надевайте шубу!

Оля продолжает застегиваться.

— Ужасно холодно, это невозможно. Скажите ж ей: ведь этак — легко простудиться!

— Да какое вам дело, в какой я кофте хожу? Ну, скажите, какое?

— Ужасный холод: я боюсь, вы простудитесь.

— Никакого вам дела нет. Захочу — без кофты пойду. Я никогда не позволю. Я наконец вырвалась

из-под родительской опеки. Вы меня будете опекать? Ненавижу опеки! — Несчастней меня нет человека! — Я не знаю, что это такое!

— Оля, что ты, голубчик? что ты раскричалась так?

— И ты тоже!

— Да нет, нет, иди в этой кофте.

высокий стройный весь в кудрях,
полукафтан на нем широкий
и шляпа черная в руках —

Черкасов несет шубу — «на случай».

Оля впереди:

ей холодно, но делает вид, что ей тепло.

Утром по дороге на Курсы —

медленно идет Анна Ивановна Синицына,
медленная, одна.

«Какая она счастливая: одна! свободная!»

И вспоминаются Оле все вечера — ни одного без Черкасова, постоянно.

«А я как связанная!»



По дороге домой с реферата —

Зина Орловой:

— Надо что-нибудь такое сделать, чтобы Черкасов перестал ходить. Посмотрите, во что Оля обратилась: так раздражена!

— Тебе нет до меня никакого дела! — открикнула Оля, — ты мне, как Черкасов, надоела.

Орлова Зине:

— Вы так терпите от Оли! У вас как будто и самолюбия нет.

Зина — засопела.

И больше ни слова до дому.

У фонаря перед воротами:

— Зина, милая, пойдем ко мне ночевать! — Оля погладила ее руку.

И Зина, как озарилась:
— Вот из-за таких минут я и терплю!



«я виновата перед тобой, Зина, я это сознаю. Ведь ты меня любила всегда ровно, ты меня всегда так любила, как я *теперь тебя люблю.* Помню я один день: папа мой умер. Я шла обедать и встретила тебя. Никогда не забуду твоего лица в тот миг, когда ты меня увидала: любовь, сострадание, желание помочь — все выражалось в нем. Мы долго ходили по Среднему проспекту. Я была счастлива в тот день, я редко бывала так счастлива, как тогда.»



До петербургской встречи с Олей для Черкасова «революция» была так — никакого особенного значения.

Он не верил ни в какие «революции»: ни бомбы, ни войны, ни «покушения» — никакие социальные катастрофы не то чтобы пересоздать человека, но и изменить его ни в чем не изменят — и злой злым «злюкой» и останется и расчетливый не сделается расточительным, а дурак умником, завистливый не станет понятливым, а хвастун скромным, царствует ли «на страх врагам» царь или станет у власти Сергей Рашевский, царская ли Россия или социалистическая — все едино.

И когда он однажды спросил Сергея Рашевского:
«А меня куда же вы денете после революции?»
Рашевский добродушно ответил:
«В каталашку посадим.»

Черкасов никак не «революционер» — какой-нибудь случайный взгляд прохожего, «вскользь замечание» или «семейная сцена за стеной» для него куда значительнее, т. е. он тоже, как и каждый, верит во

что-то, и именно верит в «личное», «случайное», «не важное», «мелочи», «пустяки и подробности», те подробности «к делу неидущие», но какие почему-то каждым приплетаются да и самой жизнью наматываются на так называемое «главное» и «важное».

«А когда целый народ всхлипнет «за стеной», целый народ заерзает, это как по вашему?» — заметил Котельников, приятель Рашевского.

«Т. е. революция! Понимаю. Это — теория. Надо, чтобы тебя ущипнуло. А целый народ — это теория.»

Черкасов разошелся со своими товарищами, но когда увидел, что для Оли «революция» начинает получать самый главный смысл жизни, он снова сблизился с оставшимися на свободе из кружка Рашевского: это давало ему материал для разговора с Олей и всегда предлог зайти к ней. Когда не было «нелегального» — никаких прокламаций, он приносил журналы, книги — и такие, которые трудно достать — а потом забегал спросить: прочитала ли она?

Так всякий день — ни одного вечера без Черкасова — постоянно.

— — —

— Я прошу вас — не стесняйте меня, пожалуйста! Не приставайте ко мне со своими заботами. И вообще не накладывайте руку на мою жизнь. Я не люблю этого. Я сама знаю, как мне жить. Не приходите так часто — я просто возненавидела вас!

Оля не говорила — а что-то в ней, как ножом — слова ее — нож.

Он видел: лицо ее окаменело, зубы стиснуты — вот ударит! —

> или нет отвратительнее человека, который оцепляет своею любовью тебя, — без взаимной любви?

Он видел это непохожее жестокое лицо — и глядел прямо в неумолимые глаза ей, покорно, готовый —

> или боль и ласка одно? Нне-ет —

И вдруг опять — он видит — «в поле блакитном»

Оля — та Оля!

— Вы не сердитесь! Мне неловко, что я так сказала. Вы не сердитесь!

— Нет — я не сержусь. Я — знаю.



Черкасов знал: рано или поздно так должно было случиться —

Оля не только не любит его — это-то он давно понял — а еще и — — и одно остается:

«Надо все забыть!»

Целый месяц он не ходил к ней — избегал встречи, как пропал.

И за этот месяц мысль его пробралась через все лазейки, которые ведут к самому мирному — к забыть —

а забыть-то нельзя!

Когда он вышел тогда, как обрадовался: уж так ясно — надеяться нечего! И вдруг почувствовал острую обиду — а мстить некому — — нет, одно осталось:

«Отрезать себя от всякой памяти!»

И он написал Оле: просил притти к нему.

И вот ждет — —

— — — —

Комната, как у Оли. Также этажерка — книги. Только над кроватью Достоевский —

на Достоевского Оля смотрит всегда с удивлением, она прочитала его еще гимназисткой: «такого замечательного писателя сослали! четыре года в каторге пробыл!»

— — — —

Шкатулка из карельской березы — Черкасов купил ее, когда решил бесповоротно устранить всякую память и уехать из Петербурга — шкатулка ему, как гроб.

Письма Оли и карточки ее хранились в особом

ящике, куда он больше ничего не клал, их было не так много, но он медлил —

бережно брал конверт, еще бережнее вынимал письмо, перечитывал.

Он никак не мог расстаться и уложить в этот гроб, что было и есть и будет для него (забыть-то верно нельзя!) самым святым.

Карточки он уложил в один конверт: их было десять — и гимназические и курсовые.

— Тюх-тюх! — представил он Олю:

так Оля соловья представляла: «тюх-тюх!»

И стал ходить от окна и до двери —

и от двери к окну —

В окно зеленый туман, сквозь туман электрические фонари.

«Варины именины!» — сестру вспомнил и с ней Бобровку, Нелиду Максимовну и Кушку, Федора Фаллалеевича и чудесного журавля, полет к солнцу по «финикулярной» дороге, весь дом, лето — все, все, что было связано с Олей. Или никогда не забыть?

«Ах забыл!» — и он бросился к книгам — вот-вот придет Оля! — вытащил «Лекции» Ключевского, положил к шкатулке.

Шкатулка — Ключевский:

«Слушательнице Высших Женских Курсов Ольге Александровне Ильменевой. Знание и народ — вот два слова, которыми я определяю смысл и цель своей жизни.»

— Тюх-тюх — а вышло горько —

сквозь зеленый туман — «огненной пастью, в поле блакитном» —

Оля.

— — —

А уж он и не знает, как.

— Вот шкатулка.

— — —

— Там ваши письма и карточки — возьмите!

И сквозь зеленый туман:

— Может быть, мне будет легче, когда их не будет.

И вдруг испугался:

днем фонари — это страшно: только покойников возят!

— Не уничтожайте! Полежат у вас, а потом опять мне!

— — а это — это лекции Ключевского.

«Лекции» Ключевского — большая редкость!

Оля взяла шкатулку, взяла книгу —

— Посидите немножко! — загородил дорогу и так просит, — посидите у меня!

В дверь постучали.

— Я никого не пущу! — он выпрямился весь, кулаки —

если бы вздумалось кому — —

А никого не было.

Или фонарщик в цилиндре?

— Тут живет шпион! — показал он на дверь.

Эта дверь, как у Оли, за комодом.

Оля села и вдруг поднялась.

— Нет, нет, — он опять испугался, — я думаю, не за мной!

— Достаньте мне Календарь Народной воли! — сказала Оля.

«Календарь Народной воли» — еще большая редкость, чем «Лекции».

— Не могу.

И он тяжело сел.

И дав зарок, нарушил: стал говорить о своей любви — что не может унять, не может забыть; и об одном просит, чтобы сказала ему —

что она его хоть немного любит!

Оля ничего не ответила — и чего ответить?

Так и ушла.

И было у нее такое чувство:

и радость — «наконец-то свободна!»

и тяжесть непомерная — «не сбросишь!»

А он — один — и ничего — никакой памяти — зеленый туман —

остается уехать и — — конец.

И тут почувствовал он в себе, как всегда, жесточайший азартный упор — он чувствовал это всегда, когда н а д о было что-нибудь делать б е с п о в о р о т н о —

когда надо было на поезд и по часам выходило пора, он начинал заниматься всякой ерундой или просто сидит, смотря на часы и наблюдая, как с каждой минутой остается все меньше и меньше поспеть; тоже и с назначенными и условленными часами, когда надо итти, чтобы встретить или застать, вообще поспеть, к доктору ли на прием, в полицию, на экзамены; только другая какая-то «жизненная» сила в нем же самом сдвигала его с места, подымая из его упора.

И теперь, когда «надо было уехать» — —



Ничего Оля не умела делать, только Оля умела паску: сырную и кулич —

няньки Фатевны наука.

И затеяла Оля сделать паску.

Зина и весь «миллион» хозяйки Ксении Ивановны от старшей Лели до самой младшей Лели и Вениамин Валерьянович, сын хозяйкин, все поставлены на работу:

один — вымочив миндаль, чистил,
другой — тер миндаль на терке,
третий — засучив рукава, растирал на сите творог,
четвертый — трудится над макотрой лопаточкой мешал тесто,
пятый — месил,
шестой подбрасывал —

у седьмого была работа: держать макотру, чтобы не скувыркнулась,
восьмой — работал над маслом: надо чтобы масло растопилось, а не закипело, (Боже сохрани, что бы закипело!)
девятый — при яйцах находился: выпускал, отделяя желток от белка,
десятый — при молоке,
одиннадцатый — у печки, бережет духовку: чтобы было парно, но никак не жгло.
двенадцатый — бумагу режет для форм,
тринадцатый — маслом смазывает,
четырнадцатый — — всем работа, всему миллиону!

Вениамин Валерьянович не выдержал — тесто месил! — и под благовидным предлогом сбежал. Ну, и без него — Зина, сама Оля и от старшей Лели до младшей Лели без одного миллион! Самая младшая Леля натащила булыжников с мостовой: чтобы под пресс паску поставить.

И поднялся кулич: на руку — пух, откусишь — мед, а дух, никакие английские духи так не пахнут и цветов таких ни на полях, ни в оранжереях еще не цвело! и не съесть еще куска никак невозможно и нет такого азартного упора остановить чтоб; а паска — прямо на языке тает! —

няньки Фатевны наука.

Вечером Оля угощала паской Зину.

И что-то с земли, с Ватагина было в комнате и по всей квартире, и соседка жилица за дверью даже петь перестала и, напившись чаю с Олиной паской, сидела смирно и нюхала.

Ксения Ивановна постучала к Оле за иодом:

Вениамин Валерьянович, сбежавший под благовидным предлогом, чувствуя свою вину перед Олей, стругал палочку для проверки теста «на будущее время» и обрезал себе палец.

Оля рассказала, как она лечила бабу иодом —

Заболела баба соседка. Ее дочка на ватагинском огороде работала, Евлашка. Баба Авдотья. Оля тогда на каникулы из Петербурга приехала и сразу пошла слава. Евлашка рассказала Оле о матери: больна — «в грудях колет!» И просит чего-нибудь дать помазать. «Я сейчасу приду, сказала Оля, принесу иоду!»

— У мамы много пузырьков на комоде за зеркалом на всякий случай: и сода и мятные капли и борная. Смотрю, большая бутылка: И о д. Я взяла бутылку и к бабе. Натерли ей спину, грудь. Вся бутылка вышла. Не пожалела.

Оля никогда не жалеет, и за что примется — во всю.

— Все руки выпачкала. Едва отмыла. На другой день спрашиваю Евлашку: что мать? «Лучше!» — Пошла навещать. «Совсем хорошо». И поправилась Авдотья.

Прошло несколько недель, собралась Ирина ехать на вечер, а были у нее туфли бронзового цвету. «Где, ищет, мой лак для туфель?» По всем углам во всех комнатах ищет, всех спрашивает. И уж под последок к Оле: «Оля, невидала ли ты мой лак от туфель — такая бутылка: Иод написан?»

НЕ ИЗ ГОВОРЯЩИХ

Анна Ивановна Синицына — не из говорящих.

Бывают же такие кроткие — не говорящие, оттого и имя у них такое — домашнее, тихое, ну вот, как Анна Ивановна.

Старше Оли курсом, а по летам вдвое: за тридцать.

Полная, медленная, неповоротливая, а глаза добрые — и оттого, что рябая, еще добрее смотрят — обыкновенно, как раз наоборот: рябой, ой!

Олю с первой же встречи стала называть Олей — а Оля ее — Анна Ивановна.

На собраниях «Кружка декабристок» — такой кружок на Курсах: рефераты по «истории общественного движения в России» — бывала, но редко. Встречались на Курсах.

Ничего такого — Оля даже не знала, откуда Анна Ивановна и как она жила раньше, да и Анна Ивановна ничего не знала о Оле, а встретит Олю, и так всегда обрадуется, — так ласково, добро добрыми глазами смотрит.

«Она за мной никогда не поспеет — думала Оля, — но она очень хорошая!»

А Анну Ивановну Оля радовала —

— Как познакомишься ближе с курсисткой, так она и исчерпается! — сказала как-то Зина.

— Так нехорошо говорить — возразила Анна Ивановна, — у вас и Оля исчерпается!

— Да вот — не исчерпывается никак!

Неисчерпаемость эта, в которую верила и восхищалась Зина, радовала Анну Ивановну.



Час был поздний.

Анна Ивановна положила под подушку чайник — самовара больше не дадут! — и подумала: почитает книжку, выпьет чаю и спать.

Там за окном декабрь, а в комнате тепло и книга интересная: «Рассказы» Чирикова. Есть и еще: Сеньобос, «Политическая история современной Европы», — два тома. Надо постараться.

В книге для Анны Ивановны — все.

Другой жизни у нее нет.

Анна Ивановна знает хорошо: там, где людно, там

ей не место — там надо чем-нибудь брать, а ей нечем. Когда она научится, кончит Курсы —,

она будет — «культурной работницей» будет — «приносить посильную пользу народу», «незаметная труженница».

Сеньобоса «Политическую историю» она отложила: надо с выписками! — села за Чирикова.

Очень интересно —

— — стук —

Оля!

«Так поздно?»

— Анна Ивановна, дорогая, пойдемте на вечер Лесников!

Оля не собиралась, ей вдруг захотелось на этот вечер. А Зину не застала. И вот она пришла уговорить Анну Ивановну итти вместе.

— Но так поздно, Оля!

Анна Ивановна и обрадовалась — она всегда радовалась Оле — и шевельнулось тайное: тянет ведь на люди! И не хочется: начала Чирикова — и все-то расстроилось.

— Да что же такого, Анна Ивановна, ну не к началу поспеем.

— Что ж, я с вами пойду, да вы меня оставите.

— Да не оставлю, Анна Ивановна. Вместе пойдем.

— Да вы, Оля, лучше у меня посидите. Напьемся чаю.

— Пойдемте, Анна Ивановна: там все в елках убрано. Ближе к природе.

— Ну, ладно, — согласилась Анна Ивановна, — да вы меня не оставите?

— Не оставлю, Анна Ивановна.

Оля была в беленькой кофточке, нарядная —

Анна Ивановна надела свое парадное синее платье.

Анна Ивановна жила на Васильевском острове, на Малом проспекте около Трубочного завода. В Дворянское собрание поехали на извозчике.

И дорогой Анна Ивановна вдруг спохватывалась:

«Оля ее оставит!»

— Да не оставлю, Анна Ивановна! — повторяла Оля.



Михайловская не Тучкова набережная — на вечер опоздали. Но это ничего! Взяли «входные» билеты. Разделись под общий номерок, — чтобы уж вместе! И в зал — в толчею.

У Оли столько знакомых: один подошел, другой, третий —

Анну Ивановну и оттерли.

За разговором Оля и не заметила.

Антракт —

две волны идут! — —

Оля идет бурно в своей волне, очень ей весело. Бутоньерка с цветами еще алей цветет на ее белом. Вокруг нее столько — и лесники и горняки и студенты — и невозможно со всеми разговаривать.

А навстречу в другой волне Анна Ивановна —

попала в волну и движется.

И вдруг увидела:

— Оля, номерок?

И смотрит — добро смотрит —

голова на бок, руки опущены.

Но волна захлестнула — Оля ничего не успела! — пропала Анна Ивановна.

Так до самого до конца вечера.

И где была Анна Ивановна — Оля ни разу не вспомнила.

Когда кончился вечер, Оля нашла ее у лестницы: стоит ждет —

без Оли ей ведь никак не выйти!

Анна Ивановна весь вечер то в волне, то в толчее, одна. А как бы тихо провела она вечер дома, — за книжкой. И не уйти ведь: без номерка платья не выдадут, номерок у Оли. Анна Ивановна роптала — голова

на бок, руки опущены — Господи! Но как увидела Олю: Оля глядела такая — все в ней — гори-гори ясно!

— Анна Ивановна, не сердитесь!

— Я не сержусь — Оля!



Разговор за спиной:

«Мне не нравится Оля: какая-то ханжа, зажигает лампадку и всем улыбается! И кто ее знает: кто ей нравится, кто не нравится?»

«Мне нравится: она вся — самопожертвование».

Оля слышала — это было еще в начале ее курсовой жизни — и с тех пор стала замечать за собой: улыбается она или нет.

А раньше и не догадывалась.

Когда она приехала в Петербург, она всем верила — во всех видела хороших людей и в каждом — человека, желающего ей добра. И вот, встречаясь, всем улыбалась.

Эта улыбка ее — от глубокой веры в доброту и желанность человека. А от глуби веры — свет.

Ведь вера — огонь!

Улыбка ее чаровала — привязывала.

А привязанность к ней, что покорность.

Медленная Анна Ивановна стала чаще приходить на собрания кружка.

Анна Ивановна прочитала Маркса и Николая-óна — это в основу. И много другого: от Гобсона, «Эволюция современного капитализма» до «Элементарной политики» Томаса Ралей, «Стихотворения» П. Я., «Современное положение учения о валюте» — Лексиса и статью Павловского, «Теория взаимного кредита».

Неговорящая Анна Ивановна вдруг заговорила.

Но то, о чем она заговорила, и как заговорила, привело Олю в ужас:

Оля сразу почувствовала, что Анна Ивановна «склоняется» к с-д.

Это «склонение» обыкновенно выражалось в тоне речи: из неуверенной становилась уверенной — «марксисткой», а для начала говорили, будто нет разницы между с-д и с-р.

А ведь для Оли — «нет разницы!» — это кощунство.

Целую ночь не могла Оля успокоиться.

И только под утро додумала. Решила написать письмо.

И написала:

« — — *я вижу прекрасно, что вы склоняетесь к с.-д., и прекращаю с вами всякое знакомство* — »

Утром до Курсов — к Анне Ивановне:

Анна Ивановна что-то делала, зашивала что-то.

— Вот вам письмо.

— Садитесь, Оля.

Оля села.

— — — —

— Да что вы, Оля! Я нисколько не склоняюсь!

Оля молча поднялась.

— Вы пойдете, Оля, сегодня на Курсы?

— Да.

И ушла.

А на другой день на Курсах —

Оля быстро проходит по залу —

Анна Ивановна медленно ей навстречу, увидела Олю и так кланяется — —

А Оля голову вверх:

чтобы не подумала, что и она.



Студент Фролов — самый веселый из говорящих.

Фролов: «Идеальных мужчин можно найти, а женщин нет».

Оля: «Нет, есть».

Фролов: «Ну, кто же, Башкирцева?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, Софья Ковалевская?»

Оля: «Нет».

Фролов: «Ну, кто же?»

А Оля думает: «Софья Перовская».

И не говорит, не хочет: это имя — это такое святое для нее! — и она не может так просто произнести для разговору;

как никому никогда не скажет о самом святом своем — о Пасхе: потому что засмеют.

А «Пасха» — основа ее «революции».

Еще в детстве, когда думала она о «Страстях», то много мучилась:

«Вот это было и из-за меня, потому что и за всех».

И ей казалась самая лучшая дорога в жизни — пострадать за других.



Оле было стыдно жить спокойно и хорошо, когда другим плохо.

«Не хочу быть рабою с рабами, а хочу быть с теми, кого гонят за то, что хотят устроить счастье на земле, с теми, кто за это гибнет — хочу и сама пострадать!»

С.-р. привлекали ее, потому что, как ей казалось, они не материалисты и именно хотят пострадать — погибнуть; с.-д. своим материализмом отталкивали ее и оскорбляли ее веру — ее «Пасху».

Курсистка Орлова, старшая — по летам, как Анна Ивановна, — ее Оля называла Александрой Александровной, — Орлова однажды заметила:

«Что вы, Оля, так нас не любите? И всего-то во всей России кучка людей, которые хотят социализма, и среди этой кучки ненависть».

А Оля, хоть и одолела всю премудрость от Маркса, Николая óна до безымянной статьи «О народном

кадастре» и «Выкупных платежей» Ермолинского, никогда не представляла себе, что можно жизнь изменить так, чтобы все были счастливы.

⁂

Женя Шубина — самая ученая.

Женя: «Я считаю, Оля, что сомневающиеся выше фанатиков».

Оля: «Нет, фанатики лучше».

Женя: «Фанатики грубее, а сомневающиеся более чуткие».

Оля: «Но фанатики непременно что-нибудь да сделают, а эти чуткие — расплывутся».

⁂

Если Анна Ивановна кажется такой необыкновенно медленной, то это только потому, что на свете есть Соня Ефимова — живая, веселая, тоненькая — ровестница Оли.

Но по привязанности к Оле ни одна не уступит:

тут безразлично — что медленный, что быстрый.

Соня Ефимова, как и Анна Ивановна, не из говорящих.

Но она ни с.-д, ни с.-р. и ни к чему не «склоняется», просто барышня.

Соня часто провожает Олю с Курсов домой. И всю дорогу громко в глаза восхищается ею.

Оле она нравилась, но как была далека!

Оля никак не могла помириться с ее полным равнодушием к самому главному — к «революции», и что для нее совсем неважно: с.-р или с.-д.

Женя Шубина тоже, но Женя, занимаясь наукой, все-таки «склонялась» к с.-р, а для Сони все равно.

— Не будьте такой нетерпимой, Оля. Вот я люблю вас и вы мне милы просто, как человек. А вы меня так отпугиваете всегда.

Оля хотела резко ответить, но ее обезоруживали слова Сони — всегда нежные.

Но однажды ответила:

— Хорошие только и бывают революционеры.

Перед Курсовым вечером распределяли почетные билеты и большая была борьба между с-р и с-д: кому послать — оставался всего один билет —

Мякотину или Мартову?

Женя Шубина ходила по аудитории с листом и все подписывались: кто за кого.

Оля подписала на Мякотина.

И слышит — Соня:

— Я подпишусь на Мякотина, чтобы доставить Оле удовольствие.

— Как? чтобы мне удовольствие! — крикнула Оля, — вы будете подписываться на Мякотина? Никогда! Женя, вычеркни. А с вами я не желаю больше быть знакомой.

И перестала кланяться с Соней —

как тогда с Анной Ивановной.

Встречаясь, Оля так могла смотреть —

смотрела, а будто не видела.

* * *

А это потом —

Не через год, через два —

Не в аудитории, не на шумном Курсовом вечере, не в комнате на Васильевском острове, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной.

В тюрьме Оля все припомнит.

Вспомнит и Анну Ивановну и Соню —

добрую медленную Анну Ивановну,

нежную живую Соню.

Соне она написала письмо — зашифровала

«— — не сердитесь, что я к вам

была резка, не сердитесь на меня».

И получила ответ — по почте через жандармов:

«я вас считаю выше всех людей!»
И с письмом — а н г е л : на стекле нарисован. А когда из тюрьмы выпустили, едет Оля на извозчике и близко уж от дома на Среднем проспекте —

навстречу ей медленно Анна Ивановна.

Оля схватила извозчика да что есть голоса:
— Анна Ивановна!
Та вскинулась — не верит! — а поверила:
— Оля! Вы так изменились: вы — меня позвали!

НЕЛЬЗЯ

Люди делятся: на просто хороших и замечательных —

просто хорошие — это те, кто идет на жертву за других, замечательные — кто идет на жертву до конца и ничего личного не имеет.

Например, замечательный человек не может жениться.

— Жениться или выйти замуж — нельзя!

— На Курсах был устроен «Бракоразводный комитет», влившийся потом в «Струю единения». Зачинщица: Варя Финикова, Оля, Лида Алексеева и Нина Мавлютина. Цель комитета: предупреждать браки —

«а если не удастся, то разводить».

Когда узнавали, что какая-нибудь «стоющая», т. е. революционная курсистка выходит замуж или «стоющий» студент женится, посылалось письмо — стихи:

есть дни когда так пошл
венец любви и счастья!

Комитет действовал. Но к великому огорчению ни одного брака не предупредили и никого не развели: кому задумалось, также женился, как и до стихов, и кому решено, выходил замуж и со стихом.

«Стоющая» курсистка Надя Ширяева вышла замуж за студента лесника Кожевникова, тоже «стоющего». Пришла на Курсы. Здоровается.

— Оля, я в ваших глазах потеряла половину?

Оля сурово:

— Нет, три четверти.

Елена Ивановна Мавлютина, мать Нины, пошла на пари с Олей:

«Если до двадцати пяти лет Оля не выйдет замуж, она даст сто рублей Оле и сто рублей Нине; если же выйдет — »

— Мне от вас ничего не надо.

А Оля:

— Лучше в могилу, чем замуж.

И одно жалеет: ждать долго — целых восемь лет! — а получить бы сто сейчас.

— Нельзя жениться и выходить замуж.

— Нельзя танцовать.

— Нельзя наряжаться.

— Нельзя причесываться по-моде.

— Нельзя — — — чего еще?

Варя Финикова — законодательница «нельзя», она же и образец:

> большая, белые, как лен, волосы в скобку, неизменно в черной блузе со стоячим воротничком и, хоть ей семнадцать, как и Оле, а какая-то вся линючая, походка — углом, а в слове подчеркнуто: грубо и резко.
>
> Финиковой старались подражать:
>
> Женя Шубина, совсем другая, — всякий на нее заглядывал! — Женя старалась размахивать руками, когда с Варей шла по Среднему проспекту; Оля танцовала, любила танцы — перестала танцовать; Лида Алексеева — остригла волосы.



Самым хорошим в мире — святое имя: Софья Перовская и Вера Фигнер —

Вера Фигнер — потому что столько лет сидела в Шлиссельбургской крепости, Софья Перовская — повешена: принесла самую большую жертву, какую только может человек.

На Курсовом вечере в Дворянском собрании пел Фигнер.

Оля — ей очень понравилось — сидит молча. Зина аплодирует.

— Почему ты не хлопаешь?

— Его сестра — в Шлиссельбургской крепости, а он на императорской сцене: я не желаю ему хлопать.

После Фигнера Тартаков.

Оля хлопает — отбила все ладоши.

— А почему ты знаешь, — заметила Зина, — может, брат Тартакова в ссылке?

Оля очень рассердилась.

И главная ее всегдашняя досада:

что и Зина не «до конца».

Зина — самая любимая и самая близкая. И Оля часто с ней ссорится.

Первая крупная ссора из-за «нельзя выходить замуж».

Зина сказала:

она не собирается, но, может, когда-нибудь и выйдет!»

Оля долго сердилась, а в день мира Зина ей подарила маленькую колоду карт — как раз любимое Олино — «маленькое».

И всякий раз, когда мирились, Зина говорила:

— Я хотела подойти к тебе и сказать: «Да ведь я — Зина! чего же ты сердишься?»

А Оля хотела, чтобы Зина так же, как и она сама была всегда «до конца».

«До-конца» в духе только у Оли — потому она и коноводит. И без всякого — в ней нет этого, ну чтобы непременно первой:

— Не все ли равно, — говорила Оля, — кто сказал, лишь бы было сказано.

А внешне — у Финиковой, до опрощения которой, как ни старались, никто не мог достигнуть —

ну, конечно, сама природа помогла ей стать образцом.

Не «до-конца» — разное: не «до-конца» — это большинство — это сочувствующие — это те, что шли «за компанию»:

хотели не отстать по виду и как можно дольше поберечься.

Оля проходила науки — изучала историю и философию и литературу — всякие курсы: Введенского, Гревса, Котляревского, Платонова, Шляпкина. И все это ей казалось так, между прочим, самым же главным — читать, изучать и разговаривать:

как жить той жизнью, чтобы пожертвовать собой, и как жили те, кто пожертвовал собой?»

Оля думала об этом и додумывала до самых мелочей.

Как-то поехали в Лесное компанией. Очень проголодались. И все только об этом и говорили.

А Оля говорит:

— А как Перовская 1-го марта утром, пила что-нибудь или нет?

(1-ое марта — день, когда для Перовской определилась ее жертва.)

Оля никогда не думала,

«что вот Перовская убила — »

Оля думала только о том,

«что Перовская пожертвовала собой».

**
*

Вечеринка —

Конечно, спор: спорят с. р. и с. -д. —

взлохмаченный мужиковатый «народник» и городской уверенный, всегда хорошо одетый «марксист»,

краснощекая, пышущая паром земля и стальной мерный молот — кто кого?

Конечно, студент Фролов — танцор, спорщик, запевало («Эй вы, синие мундиры...») — «душа веселья» по словам Сони Ефимовой, всегда танцующей на вечеринках.

Конечно, песни, — революционные, студенческие и непременно —

закувала та сыза зузуля
ранным рано на зари...

что-то от «Слова Игорева», песен половецких, запавшее на скованную льдом Неву.

И непременно:

«прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми».

И танцуют.

Но вечер не в вечер и спор не в спор и прогресс не в прогресс и сам Фролов не веселье, если нет чего-нибудь такого: Чириков, например, приехал —

На вечеринке присутствовал вернувшийся из Сибири с каторги старый революционер-народоволец. Фамилию его скрывали из конспирации.

Оля была в восторге — в первый раз своими глазами она видела того, кто был на каторге.

Старик тоже заинтересовался и сказал Оле величайший комплимент, какой только она могла представить себе:

он сказал Оле, что она ему напоминает Софью Перовскую.

А на другой день пришел к Оле в гости. Расспрашивал о Курсах, о их кружке.

А Оля — о своих «кумирах»:

ведь он знал их лично!

А сама все думает, хочет узнать:

просто ли он хороший человек или замечательный, т. е. женат или нет?

А спросить неловко.

И наконец придумала:

— А скажите, сколько людей живет в том доме, в котором вы живете?

Старик расхохотался:

— Вы наверно хотите знать, женат я или нет?

— — —

— Я женат, и у меня дети. Вы наверно думаете, что нельзя жениться?

Оля смутилась.

Но она уж знала:

перед ней просто хороший человек, но не замечательный.

⁂

За Олей студенты ухаживали —

Черкасов, Оводов, Рашевский, брат Зины, Фрид — у всех на виду, про это знают все Курсы!

Оля видела, что она нравится —

и ей это было приятно.

Но она никогда не сознается, что это приятно.

Оля старалась думать, что это очень нехорошо, и что Варя Финикова куда лучше ее:

«потому что за ней никто не ухаживает!»

Само слово «ухаживать» зачислено было в «нельзя», нельзя было даже произносить его.

Когда Оля приехала на каникулы в Ватагино, Наталья Ивановна сказала ей:

— У нас все говорят, что Владимир Михайлович

Черкасов все для тебя устраивал в Петербурге. Вообще ухаживает.

— Мама! — вспыхнула Оля, — не оскорбляй меня: за мной никто не может ухаживать. Это — у вас.

— Ну, я не знала, как это у вас называют.

***

Оля хотела жить по той правде, которая открылась ей от «Страстей»:

чтобы ее гнали и в конце концов она погибла.

Оля хотела найти таких же — жаждущих погибнуть по тому же.

И сначала ей казалось, что и все так. Но понемногу она стала замечать, что не все, и по другому:

Маня Сажина хочет отомстить кому-то за все зло, за всю беду, какую она видела с детства — она жила с матерью и братом очень бедно; Лида Алексеева хочет своей гибели, пожалуй, как и Оля, но что-то и еще есть в ней, чего Оля никак не поймет, только чует: Лида кроткая, не властная, покорно готовая — — в петлю; Зина Рашевская, самая близкая и любимая. — —

Оля была уверена, что и она и Зина «погибнут» — жить долго не будут.

А Зина — Зина хотела жить.

— Ну, пускай, Оля, нас хоть в каторгу сошлют, чтобы только мы жили!

***

На лекции Гревса по «Истории средних веков» Лида Алексеева сказала Оле:

— Хочешь увидать Ильину?

— Ну, конечно, хочу.

Оля хорошо знала «Историю революционного движения» и это имя было для нее «кумиром»:

Ильина двадцать лет пробыла в Сибири!

Целой ватагой курсисток отправились с Васильевского острова на Троицкую к сибирякам, приютившим Ильину.

Ильина встретила очень ласково.

Ильина рассказывала о Перовской и Желябове.

Оля не проронила ни слова. Но не все было так, как ей хотелось: некоторые слова коробили и удивляли.

«Желябов был женат!»

Если тот старик-революционер был женат и имел детей — «просто хороший человек» — это возможно, но «замечательный» — а другим Желябов не мог быть —

— Как это может быть? — возмутилась Оля, — неправда!

— Ну, вот еще, — рассмеялась Ильина, — такой красивый, горячий, да ему хоть всякий день влюбляться, а ты ему жениться не позволяешь!

ДЕМОНСТРАЦИЯ

В воскресенье затеяли сниматься.

В Александровском саду около Жуковского — сборный пункт:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина.

Последняя пришла Варя Финикова — опоздала: она только что встретила Брусилову, ходившую на свидание в Петропавловскую крепость с курсисткой Фирсовой.

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца. Только скрывали... отравилась она потому, — и уж не говорила, а вызвякивала Финикова, — ее прокурор изнасиловал!

— Так этого оставить нельзя! — вспыхнула Оля.

— Нельзя! нельзя! — выкрикнули враз всей компанией.

— Митюриков повесился — и это прошло бесследно. Боровкин в пролет бросился —

И Оля стала приводить примеры тюремных самоубийств: историю революционного движения она знала лучше всех.

И подожженной кипящей вереницей шумно тронулись на Невский к фотографии Жукова, чтобы затем немедленно же приступить к обсуждению:

что делать?

И без того шумно на улице — весна. А когда еще горит — ничего не разберешь: и не одну пластинку испортил фотограф, пока наконец, не щелкнул:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

***

Переполненная аудитория, — весенняя улица:

и рев и скребки и слит голосов.

Брусилову вытащили на кафедру:

Брусилова — первая и единственная, знавшая о Фирсовой, должна сообщить всем.

Безголосая — вряд ли услыхать и с первых рядов — застенчивая и робкая Брусилова начала.

А слабые ее слова повторялись громко и по несколько раз во все концы громким горячим кольцом курсисток:

— Фирсова отравилась в крепости уж полтора месяца —

— Только скрывали —

— А отравилась она потому —

И голоса зазвенели еще звонче:

— Ее прокурор изнасиловал —

— Так этого оставить нельзя!

— Нельзя! — подхватили, — нельзя!

— Митюрников повесился.

— Боровкин в пролет бросился.

— Нельзя! нельзя! — кричали со всех сторон и изнутри и с потолка, из самых стен.

Предложено было обсудить:

что делать?

И гудел один взрывчатый гуд:

— Нельзя — — что делать?

И в конце концов решено было известить студентов и с ними сговориться.



Второй день гудели Курсы.

Занятия прекратились. Кроме курсисток в аудиторию никого не пускали.

— Что делать? — другого вопроса не было.

Не пускали и комитетских дам: они дежурили на лестнице и отговаривали курсисток, запугивая Курсами:

«Курсы на волоске!»

«Курсы закроют!»

«Университет не закроют, Курсы закроют!»

И когда после споров и криков решили наконец отслужить панихиду в Казанском Соборе — «и чтобы как можно больше народу!» — и это совпадало с решением студентов, напуганные курсистки стали вносить свои предложения.

— Отслужить панихиду в Исакиевском —

— чтобы не так заметно.

— Нет, каждый пусть отслужит отдельно от себя —

— чтобы совсем тихо.

И опять все перекувырнулось — бестолочь, смех и сердце.

— Глупости! — крикнула Оля и так крепко: она действительно была, как красное платье («когда осержусь, стану как платье!»), с ней не пошутишь.

Свистом и смехом запуганных прогнали.

Пробовала было возразить курсистка Орлова принципиально:

что буржуазная демонстрация не достигнет цели и что надо, не распыляя сил, сконцен-

трировать энергию на более важной работе
среди рабочих.

Но и Орлова поддалась перед горячностью Оли и уступила, а к ней присоединились и другие с.-д.

Так и осталось:

отслужить панихиду в Казанском,
и чтобы как можно больше народу!

Профессоров тоже не пускали в аудиторию.

И все-таки одному удалось: это был любимый, хотя и не раз освистанный, Воркунов. И допустили его потому, что одна из комитетских дам сказала, будто «он знает и может сообщить прямое и верное средство».

Шум на минуту улегся.

— Да, это факт ужасный, возмутительный, но не этим можно помочь... — горячо сказал Воркунов.

— Какое же средство хочет сообщить профессор? — громко спросила Зина.

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — крикнула ей с другого конца Оля.

Но Зина не пронялась и еще раз повторила вопрос.

И еще громче и повелительнее крикнула ей Оля: заглушили все слова:

— Молчи! Ты ничего не понимаешь!

И примолкшие вдруг хлынули голоса и гулом
Воркунов так и ушел, пообещав в следующий
раз сообщить прямое и верное средство.

Оля распоряжалась — за ней и перед ней живая взбудораженная стена.

Зина едва пробралась.

— Оля, почему ты не дала мне говорить?

— Ах, какая ты глупая, разве можно было об этом спрашивать? Ты знаешь, про какое средство он говорил?

— Про какое? — виновато посмотрела Зина.

— Убить прокурора — вот верное средство.

— Убить прокурора! — повторила Зина.

И также, как Зина, протиснулась к Оле какая-то

незнакомая, невзрачная, заметная только своей красной кофточкой.

— Знаете, — сказала она — лучше бы послать письмо матери Фирсовой.

— Да ее мать — прачка: кто ее послушает! — и Оля резко отстранила ее рукой.

Но та и еще раз — все о письме.

И уж Оля просто отпихнула, ничего не ответив.

А когда стали расходиться и в аудитории остались только самые неугомонные, Оля вспомнила эту плюгавку в красной кофточке и ей захотелось отыскать ее, объяснить и извиниться.

Красная кофточка мелькала по группам.

И Оля подошла —

ей жалко было заморенную, смотревшую
еще замореннее в своем красном.

И, как только можно, ласково Оля принялась толковать ей, что письмо — бессильно, что мать Фирсовой по своему положению — прачка! — ничего не может, что ей и пикнуть не дадут.

— Да ведь она — мать, кому же ближе! — моргала незнакомая.

Но Оля уж рассказывала ей о действительно верном средстве, которое могло бы поправить что-то:

— Убить прокурора!

— Ильменева! — перебила надзирательница (эту надзирательницу на Курсах любили), — Ильменева! Подите сюда!

Оля и не шевельнулась — она продолжала рассказывать незнакомой обиженной ею курсистке о своем прямом и верном средстве:

и потому, что это так верно,
и потому еще — она хотела загладить свою
вину перед ней.

— Ильменева, я вас очень прошу! — звала надзирательница.

— Да что вам надо? — недовольно отозвалась Оля и бросила незнакомую, пошла к надзирательнице.

— А вы знаете, с кем вы обнимались?

— — —

— Ведь, это шпионка.

⁂

Канун прошел в сплошном крике.

Воркунов сказал-таки о своем прямом и верном средстве.

И каково было смущение Оли, когда средством оказался совсем не прокурор — «которого убить надо!» — а старая влиятельная фрейлина Лутохина, она же и комитетская дама, к которой советовал обратиться профессор.

Зина опоздала.

Зина вбежала в аудиторию, когда уж свистки выпроводили профессора с его верным средством, и лишь отдельные свистульки прорезывали голоса.

— Стачка среди баб! Стачка среди баб! — бегом кричала Зина и Оле и всем.

И хотя стачка у Лаферма среди папиросниц не имела никакой связи, но весть о стачке подняла дух, и еще крепче скрутило и еще тверже поставило на своем:

завтра в двенадцать в Казанский!

⁂

Как прошел вечер и ночь!

Оля и Зина выбились из сил, ничего не ели и не могли заснуть.

А на утро к полдню студенты и курсистки стали собираться в Казанском Соборе — входили не сразу: Оля пришла со студентом Оводовым, Зина с Фроловым, и все так.

И собор наполнился — тесно.

Сейчас будут просить отслужить панихиду: «новопреставленная Варвара. «И, конечно, откажут, тогда —

Священник отказался служить панихиду.

И тогда — а это было сильнее окрика и крепче плети! — тогда враз тронулись с места и уж не парами, а грозной стеной — к выходу. И на паперти громче весеннего стука зеленым шумом древний русальный клич —

вечная память

И покатилось — на Невский, как в разлив широкая Нева волну катит —

вечная память — вечная память.

И тут произошло, что полагается — демонстрация в Казанском соборе не впервой! — разделенные казаками у выхода разбились на три группы и каждая пошла своей дорогой.

Оля очутилась в группе самой громкой на Казанской.

И до самой Казанской части — в цепи жандармов — шла с венками под русальный гул —

вечная память

Оля была счастлива.



На опустелых Курсах большой переполох: и то, что Курсы «висели на волоске», и то, что курсисток задержали в Казанской части.

Все комитетские дамы были «поставлены на ноги».

Директор поехал к градоначальнику.

— Моих-то отпустите! — просил директор.

— Ваши-то кашу и заварили.

Пришлось воспользоваться указанием «прямого и верного средства», предложенного курсисткам профессором, и с помощью старой влиятельной фрейлины Лутохиной дело уладилось.

Поздно ночью Олю и других курсисток выпустили из Казанской части.

Курсам сделан «строгий выговор».

И стали поговаривать, что «заваривших кашу» вышлют, — а они были все налицо:

Оля, Лида Алексеева, Зина Рашевская, Маня Сажина, Нина Мавлютина и Варя Финикова.

— Что же нам делать, Зина? Нас могут выслать! Хорошо совершеннолетним: выбирай город или назначат какой, а нас ведь к родителям.

— Что же нам делать? — приуныла Зина.

— А давай сделаем, как Софья Ковалевская! — нашлась Оля, — мы можем фиктивно выйти замуж.

— Да за кого?

Ломали голову и ничего не могли придумать.

— А вот что! — обрадовалась Зина, — у меня есть и еще брат — Алексей, студент в Казани, и у него, я слышала, большой приятель — Муратов. Давай сделаем так: я за Муратова, а ты — за Алексея.

Оля согласилась.

И, не откладывая, написали письмо в Казань:

«мы две курсистки, принимали горячее участие в демонстрации и боимся, что нас вышлют. Для нас хуже всего, если вышлют к родителям — а именно к родителям нас и вышлют! Не можете ли вы с нами повенчаться фиктивным образом, если нас будут высылать. Ответьте поскорее, потому что, если вы не согласны, мы обратимся к другим».



На Курсах, как только объявили о возобновлении занятий, решено было в первый же день после лекций выразить одобрение трем профессорам, которых видели в Казанском соборе на демонстрации.

Курсистки выстроились от профессорской — в зале, по коридору, по лестнице — до раздевальни. И когда проходили профессора, одних пропускали молча, другим же «стоющим», каждая, апплодируя, говорила: спасибо!

А Воркунова решено было освистать: и за то, что «головы дурил» своим верным средством и еще за то, что сказал:

«демонстрация не поможет!» — и еще — «среди курсисток есть несколько террористок-революционерок, а остальные, как стадо баранов!»

Предлагали освистать в коридоре же, чтобы еще резче было после одобрения «стоющих», но «заварившие кашу» воспротивились:

Воркунов был любимый профессор!

Нет, пусть под конец его лекции войдут в аудиторию математички — это и будет сигналом.

Ожидание было ужасно.

И когда стали входить математички, Соня Ефимова не выдержала и упала в обморок.

— Вот результаты вашей демонстрации! — сказал Воркунов и вышел, как вошел.

Все были заняты Соней — хрупкая, тоненькая, позеленевшая, как стеклышко.

Так и пронесло — не свистали.

***

Начались экзамены.

Из Казани получилось письмо — ответ.

Писал Алексей, брат Зины, и его приятель Муратов, оба и подписались — «студенты второго курса медицинского факультета Казанского университета».

«письмо ваше получили и видим, что вы девицы молодые и неопытные. И хотим вас предупредить: во-первых, по российским законам муж имеет право требовать к себе жену, когда угодно, и даже по этапу, — хотя мы вас требовать не собираемся, но вы нас не знаете! — — во-вторых, по российским же законам, жена имеет право требовать от мужа третью часть имущества — мы просим вас, чтобы вы не требовали! Если эти

два пункта, вы, обсудив, не измените вашего решения, то, когда вас будут высылать, дайте телеграмму, мы приедем и с вами повенчаемся».

Письмо успокоило — как гора с плеч:

больше бояться нечего — в случае чего...

Экзамены шли легко и весело — и все кончилось успешно: Оля и Зина перешли на третий курс.

И никого не выслали.

Все сами разъехались — в гнезда к родителям:

Оля — в Ватагино,

Зина — в Казань.

КОТЕНОК

Ватагино встретило Олю поцелуями, теплыми слезами от радости и смертельною скукою. Старики старились — им-то не видно, а Оля все замечает. Пересказываются старые рассказы с подробностями — их все до мелочей помнит Оля — и ничего не загадывается, ровно бы и мир вот-вот кончится.

«Да вот умерла и Авдотья Моисеевна — — »

И смерть пробудила память о голубом детстве — о «несознательных» днях по Олиному по-теперешнему — Оля считает начало своей жизни с Петербурга! — а мяуканье Плика кота напоминает, что ушла Авдотья Моисеевна, но не вся ушла на тот свет, а какой-то тихой своей желанностью осталась на земле в Ватагине и незаметно сторожит Олины нетерпеливые дни.



Авдотья Моисеевна с одной барбарисинкой выпивает чашку чаю.

Ирина и Миша и Оля и Лена смотрят на нее с восхищением. Сами они едят варенья по-многу. Больше всех Миша. В гостях Миша не ест, всегда отказывается:

«потому что ему нужна вся вазочка!»

А тут одна ягодка — на целую чашку.

И это всегда — всеми замечено — всякий раз, когда к Ильменевым приходит Авдотья Моисеевна.



Авдотья Моисеевна соседка. За Перовым садом в саду ее маленький дом. Очень бедная, одна — и много детей. Бессменно в сером, часто вздыхает. Рот у нее так устроен, будто в ямке — Оля говорит, что с ней целоваться очень неудобно: не достаешь догуб! И вся она худая, а глаза добрые-голубые. Детей называет ласкательно: Оля, Миша, Лена. Только старшую Ирину — Ириной Александровной: Ирина сверстница ее Вари.

Кроме барбарисинки, с которой Авдотья Моисеевна может выпить целую чашку — Оля это давно заметила, первая память о Авдотье Моисеевне совсем другая:

> приехала из Киева Ирина на первые каникулы — шляпа на ней была соломенная с вишенками; шляпка лежала в прихожей; Оле и Лене шляпка понравилась, и они из прихожей не вылезали — любовались, ну, а потом добрались до вишенок, все вишенки и оторвали; и когда хватились, было уж поздно: от вишенок ничего не осталось! Огорчилась не только Наталья Ивановна и, конечно, Ирина, но и Авдотья Моисеевна —



Лена любит котов, у нее их целый завод:

> окотится кошка, всех котят бережет, никому не отдаст.

Ропщут — от котов проходу нет: Плик и Флик и другой Плик и другой Флик, Цап и Хап — пищат, цапаются, Бог знает что! Хорошо, когда летом Плик, любимый кот, спит после обеда в ямке под окном на солнышке и снится ему на загладку молоко, а

другой Плик наестся молока и спит в саду и во сне ему ничего не снится. А зимой да в погоду — не дом, а кошкин дом.

Авдотья Моисеевна просит у Лены котенка.

Лена ни за что —

Лена плачет.

Это было после обеда: Авдотья Моисеевна пила у Ильменевых послеобеденный чай с одной ягодкой вишневого варенья. Потом ушла. А вечером пришла Варя и, хоть теплынь на воле — Петровки! — закутанная, в большом платке. Посидела — о котятках ни слова — и ушла.

На другой день Лена не досчиталась котенка.

И в слезы:

рыжий, самый любимый!

Оля сказала:

«Наверно Варя вчера под платком унесла: оттого и в платке приходила!»

Оля сама не любит котов — равнодушна; не ее коты — нет у нее к ним нежности. Но ей Лену жалко. И она хочет непременно дознаться, где котенок!?

О котенках только и разговору —

весь дом окотился!

«Не брала Варя котенка!» — успокаивает Наталья Ивановна.

Наталья Ивановна послала прислугу к Варе. Христя вернулась — принесла ответ:

котенка не брала!

Поверили. Да и как же иначе? — А, может, все это подстроено? И Христя никуда не ходила? А Варин ответ — да просто подучили! Нет, такой догадки тогда не могло быть. И осталось: Варя не брала.

«Но где же котенок?»

Лена плачет —

поплакала и забыла.

А Оля даже рада, что одним меньше —

но не забыла.

Варя по-прежнему бывала у Ильменевых, но ни-

когда больше не видели на ней такого большого платка и о котятках она не заговаривала, как и Авдотья Моисеевна.

В конце лета Варю понесли лошади — она упала на грудь. И всегда-то была чахлая, а тут — слегла. Стали говорить: скоротечная чахотка. Потом нянька Фатевна сказала Оле, что Варя умерла и хоронят ее на старом кладбище.

«Мимо нашего дому не понесут».

Оле жалко Варю:

Варя была веселая и носила им груши — «вкусные!»

«Тужить нечего, — сама с собой разговаривала нянька Фатевна, — у Авдотьи Моисеевны детей много, с детьми трудно! ничего: одним меньше».

После похорон пришла Авдотья Моисеевна — она давно не была у Ильменевых — еще меньше стала она, губы еще дальше, глаза голубее. За «ягодкой», бережно отхлебывая чай, она рассказывала о Варе: как Варя болела, как из горла кровь лилась — и как перед смертью исповедалась и причастилась.

«Авдотья Моисеевна, — вдруг спросила Оля, — а Варя созналась перед смертью, что унесла у Лены котенка?»

«Перестань! глупости — — !» — строго сказала Наталья Ивановна.

А Авдотья Моисеевна сквозь слезы засмеялась.



С поступлением в гимназию для Оли открылся новый мир, отодвинул первые встречи дома, заслонил своими думами и делами раннее. Когда Оля приезжала на каникулы домой, попрежнему Авдотья Моисеевна появлялась за чаем, но по привычке Оля ее не замечала, да и Авдотья Моисеевна была незаметна в своем сером, со своими вздохами и одной ягодкой.

Самый большой сад в Ватагине — Перовых: его не пройдешь и заблудишься. А Воронцов и сравнить

нельзя, а славился грушами. К Перовым в сад ходили гулять, в Воронцов только по делу — к Авдотье Моисеевне.

Летние дни, в особенности когда зажужжат мухи, медленные, не знаешь, куда и деваться, а вечера за то на волю тянут.

Оля зашла в сад к Авдотье Моисеевне.

Дети ее, как и Оля, выросли, и не было их так много — всякий к своему прибрался, не в груде, как раньше.

Сидели на скамейке и ели груши.

А кругом груши с дерева падали — и такой особенный звук:

«упавшая груша самая вкусная!»

Авдотья Моисеевна подбирала — и Оле.

Сидели молча.

И только рыжий кот, свернувшийся калачиком у ног, — какой-то Плик — мурлыкал.

«Авдотья Моисеевна, расскажите мне про папу и маму, чего я не могу помнить?»

«Ну вот однажды, — сказала Авдотья Моисеевна, — приехали ваши — папа и мама в Ватагино на несколько дней, жили они в Покидоше, и много гостей пригласили. А бабушка Анна Михайловна рассердилась, что ее не предупредили, «будто уж не она хозяйка!» — взяла заперла все комоды и уехала. Приезжают гости, мама ваша волнуется: нет ни салфеток, ни скатертей, ни ложек, ни вилок — все заперто. Ложки и вилки я принесла, а скатертей и салфеток у меня на такие столы нет. Тогда папа, приглашая гостей к столу, говорит: «Кушать подано — и теперь мода: без салфеток и без скатертей!» Это сестра его младшая Надежда Павловна постоянно настраивала против мамы бабушку Анну Михайловну».

Авдотья Моисеевна рассказывает подробно:

и какая Наталья Ивановна была красивая и

какой Александр Павлович был хороший и добрый,

и как у Надежды Павловны не было бровей.

И незаметно переходит к своему — от запертых комодов к запертой комнате —

как однажды к ней приехали офицеры, просятся переночевать.

Авдотья Моисеевна пустила переночевать, накормила их и напоила, а для безопаски — неизвестные ведь! — на ночь их комнату на ключ и заперла.

«А на утро отперла. Ничего, поблагодарили и уехали. Лето было. Слышу что-то в комнатах: нехороший дух. Конечно, все на кота свернули. Всегда кот виноват! Стали по углам шарить — ничего нет. А несет. Под вечер остатки от обеда решила я в печку поставить на-ночь — самое холодное место печка летом! Открыла дверцу, а там ну, — как то самое место: это те несчастные, запертые —

Оля очень смеялась:

и запертые комоды с салфетками,

и запертая комната —

Кот Плик проснулся.



И вот опять — Ватагино.

А Оля совсем большая — Оля петербургская — курсистка.

А дом — как тогда сгорбился, так и смотрит.

За послеобеденным чаем Авдотья Моисеевна — та же. И та же ее ягодка одна:

три чашки — три ягодки.

Оля с ней не разговаривала — не о чем. Так и ушла Авдотья Моисеевна.

С час прошло, уж давно со стола убрали, стали ладиться на вечер, вышла Оля: пройти по старым местам — на мельницу.

Идет она по улице — а на росстани за цвинтаром видит:

сидит на колоде Авдотья Моисеевна.

— Что это вы, Авдотья Моисеевна?

— Не могу сразу пройти столько! Вот — отдохну...

«Да ведь это так близко!» — но Оля не сказала, села рядом.

Авдотья Моисеевна говорила, останавливаясь — задыхалась: она говорила о Оле, как ее из всех любила больше и всегда ждала чего-то хорошего! оборванные вишенки припомнила — Оля тогда была совсем маленькая. Потом о своем: что умерла соседка старуха Софья Петровна и другая соседка — дом к ее дому! — старуха Анна Ивановна.

— Смерть все ближе ко мне ходит!

И вдруг засмеялась:

про котенка вспомнила — — как это Оля тогда спросила:

— «Созналась ли на исповеди Варя — — ?»

⁂

К вечеру вернулась Оля с мельницы.

Дома ее встретила новость:

умерла Авдотья Моисеевна.

— Вскоре, — говорили, — как пришла домой от нас.

И вспоминали.

И «ягодку» помянули и о галушках:

ни у кого таких не было вкусных галушек — черные, облитые маслом, со сметаной и чесноком!

И как любимыми душистыми галушками Авдотья Моисеевна детей по-тихоньку кормила.

А про котенка и забыли.

⁂

Оля никому не сказала, что видела Авдотью Моисеевну на колоде, и сидела с нею. А то, что Оля бро-

сила ее — не довела домой под-руку, а ведь надо было предложить! — это Олю мучает.

Глаза у Авдотьи Моисеевны на колоде были совсем небесные, а рот так далеко — не видно:

тихая и незлобивая
— о ней никогда никто не говорил! —
она — со всеми и как-то отдельно жила.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Летом Оля по-долгу не могла жить в Ватагине: скучно.

Оля уезжала из деревни в город и там гостила у Мавлютиных:

Нина Мавлютина курсистка — подруга Оли.

Дом Мавлютиных славился в Покидоше: говорили, как о гнезде либералов, а сама Елена Ивановна — голова либеральная или просто либералка.

Елена Ивановна и в правду, детей ни в чем не стесняла. Одно исключение: запрещалось ходить босиком и кататься на лодке. Странно: такие пустяки — лодка! — и всегда такой ужас, когда Елена Ивановна вдруг узнает, что катаются на лодке.

Конечно, и на такой запрет обход нашелся.

Поздно вечером, часов в десять, когда Елена Ивановна шла к себе спать, тихонько вылезали через окно — а там у ворот поджидают! и хоть всю ночь катайся. А под утро опять через окно тихонько.

А кроме лодки у Мавлютиных полная свобода — и дом Мавлютиных действительно «гнездо» — сбор молодежи со всего города.

***

Оля и Нина постоянно заняты: они «пропагандируют» —

развивают Катю, сестру Нины, гимназистку, которой только что минуло двенадцать и ее подруг-гимназисток, не старше.

В ходу все финиковские «нельзя» и особая «революционная азбука».

Гимназистки, обожающие Олю и Нину, добросовестно повторяют все их слова.

Оля: «Кто лучше-с.-р. или с-д?»
Катя: «Конечно, с.-р, разве можно сравнивать»
Нина: «Пойдет Россия по пути капитализма?»
Катя: «Нет».
Нина: «Почему?»
Катя: «Рынков нема».

И Катя и все ее подруги убеждены, что «рынки» — это как покидошенский базар, где летом среди гор кавунов, гарбузов, дынь и всякой цыбули не очень протиснешься, и очень хорошо пахнет травой, укропом и чесноком.

При доме большой сад.

В саду под липами собираются курсистки и студенты — все это приезжие на каникулы домой. И ведут длинные умные разговоры.

Чаще всех: студент Бордонос — из семинаристов, груб и нескладный — «Колода», и только что окончивший, высланный из Петербурга Фрид — тонкий, вылощенный, по прозвищу «Бедненький», он женат, двое детей.



После обеда тихо и мирно пили чай на балконе.

В Покидоше варенье умеют варить не хуже ватагинского. А Оля и Нина и Катя — большие лакомки. И разговор про всякое варенье: кто что любит — с косточкой или без?

«На лодке давно что-то не катались!» — так уверилась Елена Ивановна и была в особенно тихом духе.

— Будьте осторожны, Оля и Нина, — точно что вспомнила Елена Ивановна, — постоянно ходит к вам Фрид: как бы его жена не сделала вам какой непри-

ятности. Она такая жалкая, неинтересная: наверно его ревнует.

Оля и Нина враз покраснели под — варенье.

А Катя — Катя смотрит на них с завистью: «вот они уж курсистки — взрослые, серьезные, участвовали в демонстрации и к ним приходят студенты и они имеют какие-то важные дела, за которые их могут в тюрьму посадить и даже наверно посадят!» — Катя важно заметила:

— Как ты, мама, странно рассуждаешь: неужели ты думаешь, что можно влюбиться в Олю и Нину?

Елена Ивановна громко захохотала:

— Ну, и Катя! — повторяла она, хохоча до слез.

А Оля и Нина очень довольны: Катя за них заступилась!

А еще больше довольны, что Катя усвоила все их «нельзя».

— Нет, сурьезно, будьте осторожны! Особенно вы, Оля: Фрид все с вами бывает.

А на пороге — легок на помине! — Фрид и с ним Бордонос. А за ними — Надя Лопухова, Вера и Петя Курдюк (Курдюк влюблен в Надю) — самые всегдашние и неразлучные.

И, как всегда, начались умные разговоры.

А за разговорами незаметно песни.

Незаметно под песни кончился вечер — в черную летнюю ночь перешел, такой, Бог его знает, до конца на все готовый, и загорелись звезды, как эти песни.



Незаметно под липами в саду очутилась Оля и с нею Фрид.

— Я вам хочу сказать, — начал он, — я люблю вас. Я жену свою оставлю. Я всегда хочу быть с вами.

— Нет, — остановила Оля, — я: с.-р, вы с.-д. Мы вместе быть не можем.

— Что вы говорите! Я люблю вас и так это неважно: с.-р. и с.-д! Я оставлю жену. Я ей уже сказал

об этом. Я оставлю ее потому, что встретил и узнал вас. Я не могу жить во лжи. Я жену свою не люблю. Я вас люблю. Подумайте об этом.

Фрид сорвался — и канул.

Оля одна —

Под липами ночь еще черней, только взлизы луны по дорожке —

и жалко Фрида: «Бедненький!»

и радостно: «вот из-за нее человек жизнь меняет!»

и жутко: «ведь, Анна Исааковна любит ее, всегда ей посылает с мужем конфеты, апельсины!»

И жалость и чего-то приятно и жуть вызвали отдельные мысли и не могли разрешиться одной общею мыслью.

Оля думала и никак не могла додумать.

И вдруг окликнули — кто это?

«Колода» —

— Вы тут сидите, а теперь три часа ночи. Я в сад перепрыгнул через забор. Я вам тайну открою. Только вы никому не скажете?

— Не-ет, никому.

— Я як чорт втрискався в Нину Хригорьевну.

И также канул, как и Фрид.

А Оля скорей из саду в дом и прямо к Нине в ее комнату —

а Нина спит.

— Вставай, Нина! — тормошила Оля, — пойдем на балкон: что я тебе расскажу.

Босая, в одной рубашке, Нина, еще не проснувшаяся, пошла за Олей.

Над балконом сторожила луна — покидошенская классная дама? нет, финиковское «н е л ь з я». Тихо в саду. Теплая ночь. Теплые полные капли росы с деревьев.

Оля все рассказала — и о Фриде, что ей Фрид говорил, и про Колоду.

— «Я як чорт втрискався в Нину Хригорьевну!» — повторила Оля Колодану тайну.

Нина тихо сказала: — Помнишь, как мама хохотала на слова Кати?

И Нина захохотала громко — до слез.



В Покидоше гостила Ильина.

Оля и Нина часто с ней виделись.

Как Оля и Нина — Катю и ее подруг, так Ильина — Олю и Нину:

> они все ей рассказывали, а Ильина, уча, много внушений им делала.

Ильина полюбила Олю —

> и за горячность
> и за готовность все отдать.

Оля ничего не берегла и все отдавала:

> Меженинская любимая бабушка Татьяна Алексеевна подарила ей деньги с надписью на конверте — «Олины деньги», а Оля сейчас же отдала их на «революционные дела».

Оля бралась за всякое рискованное дело и выполняла точно и конспиративно:

> «конспирация» — хитрая наука, хитрее всех «нельзя» и всякой «азбуки», и Оля ею прониклась до конца.

Ильина за все это и любила Олю.

Но Ильина хотела непременно, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова:

> «потому что он, любя Олю, страдает, и потому слабеет для революции, а если женится на Оле, будет сильнее».

— Выходи за него замуж! Он за тебя десять раз душу готов отдать.

Оля несогласна, но Ильина никаких доводов не принимала.

Все в ней ключем кипело.

— Да, ты осторожней: Фрид влюбился в тебя.

Это с одной стороны хорошо: он — с.-д., а из-за тебя, конечно, будет с.-р. А с другой стороны ты его ослабляешь для революции: личные страдания.

А после объяснения под липами — Ильиной все известно, от Ильиной ничего не скроешь.

— Я тебя предупреждала о Фриде, — кричала она, — теперь он со мной сурьезно, откровенно говорил. Если ты сама не хочешь выходить за человека замуж, то и не разговаривай с ним много: ты от дела отвадишь неразделенной любовью. Ты должна быть осторожна с мужчинами. Не забывай: ты молодая, здоровая, красивая. А Фрида я не прощаю тебе!

Оля заплакала.

Оля пошла к Нине:

— Иди к Наталье Васильевне. Объясни, что я не виновата. Ты ведь все знаешь.

И осталась ждать на балконе.

Долго ей показалось —

промелькнул в саду «Колода», озирнулся, но, не увидев Нины, пропал в кустах и — застрекотал.

Луны не было. Просто ночь. Ночь — пой стозвонный в каждой травке, в каждой букашке, в стрекозе, в жуке, в «Колоде».

Наконец-то Нина вернулась — расстроенная, как и Оля:

Ильина и ей все выговорила про Олю — очень сердилась.

— А потом, — рассказывала Нина, — замечаю: Наталья Васильевна на меня сердится, меня ругает. «Наталья Васильевна, говорю, ведь Фрид в Олю влюбился, а не в меня!» «Это тебе на будущее время, крикнула, с тобой то же может быть!»

И обе всю ночь проплакали.

И на утро плачут —

не виноваты!

В слезах пошли к Ильиной — плачут:

— Наталья Васильевна, что нам делать?

— В наше время не плакали, а дело делали, — сказала Ильина, — переплетному мастерству учитесь!

ИДЕАЛ

Наталья Васильевна Ильина — Аграфена ткачиха. Под таким именем вышла она «в народ» с мешком — прокламациями, объявлявшими народу «землю и волю». А когда ее арестовали и урядник читал вслух прокламацию, крестьяне крестились: «земля и воля!»

Ильина — «замечательная».

«Ильина, — говорили, — хоть и была замужем, но мужа бросила для революции».

Ильина — «идеал».

> «Идеалом» конспиративно называли Ильину Оля и Нина, как «Бедненьким» — Фрида, а «Колодой» — Бордоноса.

Тридцати лет Ильина была арестована и с тридцати трех после тюрьмы жила в Сибири на каторге.

«Ты пишешь, — писали ей из дому на каторгу родители, — что тебе хорошо, а каково нам, ты не подумала: как мы страдаем!»

И это ей было очень тяжело. И много еще другого тяжелого «каторжного» выпало ей — путь ее тягчайший! — но она не променяла бы своей этой жизни на другую:

> — потому что так важно в с е с о з н а в а т ь.

Похожее слышала Оля на лекции Лесгафта:

«Надо у м е т ь д у м а т ь, и тогда не повлекут ни Аркадии, ни Ливадии, ни вилла Родэ».

Только Лесгафт имел в виду — «знание», которое победит всякую бедовую «случайность» жизни и освободит человека, а Ильина — «революцию», которая даст народу «землю и волю», а с землей и волей счастье.

Первое слово Ильиной:

— Что вы сделали для народа?

***

Народ — это бедующий мир от несправедливости и несчастий;

революция — освобождение этого мира от бед;

революционер — «погибающий» за освобождение мира.

— Революция — все и выше всего.

***

Ильина рассказывала об одном старом революционере: редкая была любовь между мужем и женой, его приговорили к каторге и жена хотела следовать за ним.

«Нет, — сказал он, — пусть один будет в неволе, а другой должен продолжать дело революции!»

Жена осталась. А он пошел в каторгу и там сошел с ума.

***

— Революция — выше всего:

для революции все, сама любовь.

***

Ильина хотела, чтобы Оля вышла замуж за студента Оводова: потому что Оля мучила его и он пропадал для революции.

«Или пусть Оля держится подальше!»

Оля и Нина видели, что Ильина не разделяет финиковское «нельзя» о замужестве, но они не раз слышали от нее же: что семейные заботы мешают революции, что с детьми человек выходит из строя.

***

— Революция — все, революция — выше семьи:

революционер, «все сознающий», действует

в жизни «до конца» — до своей гибели, и все, что отвлекает его силы от дела революции, только помеха.

— Революция — долг.

⁂

Оля слышала, как Ильина говорила Арбузовой, вернувшейся из ссылки: Арбузова хотела ехать заграницу, и потом уж, «посмотрев как там люди живут и что людьми сделано», итти на революционную работу.

«Кто из ста восьмидесяти миллионов русского населения, — говорила Ильина, — имел возможность, как ты: окончить гимназию в губернском городе, окончить курсы в столице, просидеть одиннадцать месяцев в тюрьме в прекрасном обществе, пробыть три года в ссылке в великолепном обществе. А ей все мало!»

Ильина — странница: куда она приходила, ей все давали — и накормят и белье, и она уходила, ничего не имея, только что на себе.

⁂

— Революционер — странник:

только странник, бродя по миру, ищет правды и чуда, а революционер идет в мир с чудесной правдой, возбуждая к борьбе за эту правду.

⁂

Ильина выносливости необыкновенной — «железная», а речь — слово ее — гору сдвинет.

В Покидош приехала украинская труппа. Оля и Нина взяли себе на галерку. Рассказали Ильиной. Ильина тоже захотела с ними. И полезла — места — стоячие. Толкают. Какой-то прет, локтями расталкивает.

«Что вы толкаетесь? Видите: я старуха, а со мной

две барышни. Затолкать нас не велика хитрость!» — Ильина сказала это строго, внушительно, но нисколько не сердито, сказала-выговаривала.

И тот подобрался и уж куда толкать, уступал место. И так до самого конца. А пьеса, как всегда, долгая с разговорами-танцами-песнями. Ильина всю выстояла до конца.

В погоду, в ночь можно было встретить Ильину — и как ни в чем.

Из Ватагина до Хомутов на лошадях — Хомуты узловая станция. Как-то Оля собралась в Петербург, приезжает в эти Хомуты и видит, сидит на станции Ильина: ждет поезда. Ильина позвала Олю с собой в Покидош. Дождались поезда, а ждать сутки! — и поехали. До Покидоша узкоколейка. В вагоне тесно, жестко. Всю ночь ехали. И ничего.

Раз только видела Оля Ильину нездоровой.

Ильина жаловалась, что у нее болят почки. Оля сама ничем не хворала и представить себе не могла, что это за болезнь такая: почки. А тут еще и мигрень.

Ильина лежала с закутанной головой.

Оля стала перед ней на колени.

«Наталья Васильевна, что я вам могу сделать, скажите?»

А та заплакала —

единственный раз видела Оля: Ильина заплакала.

«Я тебя очень люблю, Оля, возьми от меня все хорошее — — »

И это она сказала от самого сердца с болью — «все хорошее» передать хотела: свою веру и заветное дело революции —

которая выше всего
и ради которой все.



Ильина ходила просто — странницей.

Но и в таком незаметном всегда ее можно было отличить от всех.

Две знаменитые покидошенские сплетницы: Анна Ермолаевна — «Ермолаевский листок» и Анфуса Сергеевна — «Сергеевские ведомости»; одна — во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской на самом видном месте, другая — на конце города за Семинарией; но и той и другой все известно и видно, как с каланчи, и, конечно, не пропустили бы они так Ильину, приклей она себе хоть бороду.

Но Ильина была вне покидошенского житья-бытья и то, чем жили или вынуждены были жить в Покидоше, ее никак не касалось:

ведь она для себя ничего не собирала
и не домогалась никаких удобств жизни.

У Анны Ермолаевны в «Листке» снимала комнату знакомая Ильиной и к ней Ильина ходила. И вот Леночка, двоюродная сестра Оли, мало чего замечавшая, глядя с балкона совсем на другое, заметила Ильину.

«К нам, к Анне Ермолаевне, ходит старуха, — рассказывала она Оле, — я такой никогда не видала: простая деревенская, а так смотрит, таких не бывает!»

Тоже и Соломон Катцман, сын переплетчика, у которого Оля и Нина переплетному мастерству выучились. Пришел он вечером после работы — Нина учила его русской грамматике — и встретил Ильину. Нины не было, только Оля. Ильина шепнула Оле называть ее «тетей». Урок не состоялся, так пили чай. Ильина расспрашивала Катцмана. И сама рассказывала. А после Соломон сказал Оле:

«Ну, и тетя у вас — замечательная! Таких не видывал».



Человек отличается от человека — по уму: по способности разбираться (дурак тем и хорош, что все

невпопад!); но мало ума, надо и еще чего-то, а это что-то — вера:

а вера — огонь!
и этот огонь — светит.

И никак ты не скроешься и тебя не обойдут.



Ильина для Оли — вся чистота революции,
которая все и выше всего.

Как-то Ильина сказала Оле:

— Все мне в тебе нравится: ты хорошая. Одно только у тебя — и это может помешать — нездоровое начало есть: мистическое.

ТАКОЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В Покидоше возле Почты жили две курсистки: Лида Прянишникова и Ира Беляева — дом против дома.

С детства Лида и Ира все вместе — неразлучны. И где появлялась Лида — за ней следовала Ира; и где видели Иру — непременно встречали и Лиду.

Странные они были: сверстницы Оле, а такое говорили, тоска всегда после...

Оля никогда бы с ними и не встречалась, но и Лида и Ира, хотя никак не были «стоющими», т. е. революционно настроенными, но не были и похожи на тех курсисток, обыкновенно очень пугливых и житейски рассудительных, которых называли «барышнями»: в Петербурге жили они вместе, и когда уходили обе на целый день из дому, давали свою комнату для конспиративных свиданий. А делали они это не потому, что сочувствовали «революции», а просто по равнодушию ко всему, что совершалось и чем жили вокруг них.

Родители их состоятельные люди, и обе ни в чем не нуждались — нужда, этот первый кулак — бил да мимо, — и никакого любопытства к жизни. Обе соби-

рались кончить самоубийством; и когда кто из них уезжал, посылали друг другу телеграммы, чтобы знать, что еще живы.

Вера их была самая отчаянная и самая безнадежная:

> людям ни в чем нельзя верить — ни одному человеку; все, что делают люди, все только из корысти.

«Любовь — это физическое. А дружба всегда непостоянна».

«Ну как же вы можете так говорить? — возражала Оля, — да вы же друг друга любите. Разве это не любовь?»

«Да — — но это привычка»

«Но ведь вы со мной так не дружите?»

«А это потому что мы живем друг против друга. Это случайность. С детства еще: тетрадку, бывало, взять, карандаш, все у Иры, а Ира у меня. Близко. Так и привыкли».

И так на все — беспросветно.

***

Поздно вечером Оля возвращалась домой — к Нине. По дороге один единственный огонек — в Покидоше рано ложатся! — и зашла к Прянишниковым ночевать.

Лиду и Иру застала она за книгой:

> читали вслух Э. Т. А. Гофмана «Эликсир сатаны».

Оля больше всего любила Толстого — не один раз прочитала «Войну и мир»; и Пушкина — «Евгения Онегина» знала на память все восемь глав. Но ее тянуло к Гофману:

> таинственность и чудесность, на первый взгляд не вяжущаяся с «революцией», волновали ее, и чувство было так же остро, только в самой тайне, как от «Дела 1-го марта», —

переплетенного Олей в синий — сокровенный — цвет.

Лида и Ира читали все, что ни попадалось. Попался и Гофман, «Элексир сатаны» — — И после Гофмана те же разговоры, от которых тоска.

— Внушить людям, чтобы они относились друг к другу участливо, невозможно. А если участливость где-нибудь и замечается, то не надо обманывать себя, все из выгоды и корысти.

— Люди, которым до других есть дело, таких не бывает.

— Страдать за людей — это несчастье: ведь от этого никакой никому пользы да и не стоит.

— Хорошие люди?! Да есть ли такие «хорошие» люди? Много ли таких, которые никогда не обманывали и никогда не корыстничали? А если еще больше требования предъявлять — если искать людей, которые помогут другому ради этого другого, а не из за своей прихоти и не для собственного успокоения? Таких нет.

— Все зависит, чего от людей спрашивать! Среди воров просто плохенький воришка будет честным человеком, и среди самых отъявленных негодяев обыкновенная немудрящая душа покажется праведником. Все зависит от того, чего ждешь и требуешь.

Оля рассказала им об Ильиной:

о ее вере — о ее бескорыстном самоотверженном деле.

Лида и Ира слушали с большим вниманием. Их особенно поразило, что столько лет Ильина живет такой жизнью.

— Но это исключение! Так долго — бескорыстно. Это большая редкость. Любопытно увидеть такой экземпляр!

***

— — — идет Оля по Николаевскому мосту — серый такой день, такое хмурое утро,

таким безнадежным утром везли на казнь Перовскую, Желябова и Рысакова на Семеновский плац. На мосту часовня — «Каракозов стрелял». Оля перекрестилась —

Едут мимо возы с кладью, на возах дюжие ломовики трясутся. Один кудлатый зло что-то кричит, за грохотом не разобрать, одно ясно: кричит-угрожает, что вот Оля перекрестилась. А другие молча сочувственно ему щерются, подмигивают.

И Оля перекрестилась еще раз и еще раз. И за каждый ее крест тот кричит, и все кричал, грозя, пока не скрылся из глаз. А Оля крестилась. И крест ее был так крепок — пламя вылетало из-под крепко-сжатых ее пальцев.

«Нет, никому не отдаст она креста своего — готовая умереть за свою веру!»

***

В коридоре на Курсах. Проходят курсистки. И все смотрят на Олю. «Какая, говорят, хорошая!» Оля поднялась на 2-ой этаж. На площадке тоже курсистки, только сидят все, ждут чего-то. Навстречу Оле незнакомая: брови сросшиеся, очень широкий нос, глаза, как камушки, сверкают. И идет она прямо на Олю. И когда она была совсем близко, кто-то невидимый ударил ее по голове и так крепко — голова хряснула, она схватилась и руками закрыла побелевшее лицо. И Оля точно также руками закрыла себе лицо. И все, кто сидел на площадке, курсистки закрылись. А та незнакомая стала медленно падать — и никто не поддержал — упала лицом на землю.

***

Погасло электричество. Оля знает: в комнате кто-то есть. И тихонько пошла искать Зину. Зина спала. Оля дотронулась до ее лба — разбудила.

«Пойдем, Зина, тут кто-то...»

Но Зина не успела ответить.

«Эй, кто там, — крикнула Оля, — выходи!» И на ее голос из тьмы, выступила большая, вся в белом, очень похожа лицом на Веру Стрешневу. И Оля почувствовала, что «страшное», что было в комнате, это и есть эта женщина. Оля бросилась и, обхватив ее, пригнула к земле. И сама легла на нее и стала трясти. Но сколько ни трясет, той ничего не делается. И видит Оля: Вера Срешнева стоит тут же. «Вера — обрадовалась Оля, — ложитесь вы на меня: я одна не справлюсь». «Боюсь, Оля, я вас задушу!» — говорит Вера. А та вдруг подняла голову, да Олю за руку — два пальца так — —

НЕДОБИТЫЙ СОЛОВЕЙ

Оля получила записку от доктора Перепелки: доктор посылал за ней лошадей, просил ее сейчас же приехать —

«По важному делу»

Андрей Федорович Перепелка в Кочерах — от Ватагина близко.

Оля немедля собралась — «важное дело!» — и поехала. И всю дорогу думала: что бы такое могло случиться важное, может, арестовали в Покидоше Ильину или что с Ниной?

А приехала в Кочеры — вот уж негаданно! — встречает Варю Черкасову: Варя ждет Олю, плачет — просит ехать с нею в Лубенцы к Ксаверию Матвеевичу.

— С братом беда: убежал из Бобровки в Лубенцы

(Лубенцы от Бобровки в сорока верстах.) Очень плохо.

Так вот в чем дело: никто, значит, не арестован! И это Олю успокоило. Но другое: Черкасов! — камнем легло.

— Сначала-то он был тихий, — рассказывала Варя, — потом стал заговариваться. Поминает какого-то Оводова, с.-д. и все вас зовет, Оля. Вы единственный человек! вы его успокоите. Вы спасете его.

Невозможно было отказать. Оля согласилась. И сейчас же поехали.

Ехали полем. На поле снопы лежат — хорошо улеглись! Солнце заходит — прохладно. Навстречу девчата с работы с граблями.

«Какие они счастливые, — думает Оля, — ничего-то у них нет такого! Идут с поля мирно!»

И ей казались все счастливыми, кроме ее доли.

В Лубенцы поспели в сумерки. Поджидавший Лампад предупредил не ехать прямо во двор.

— Остановитесь в саду у пруда. Черкасов буйный: все бьет и ломает. И страшно свистит.

И Лампад в роде как посвистал — — но у него ничего не вышло.

Тихонько прошли в сад во флигель. Там Александрия Кенсориновна. Вышел и сам Ксаверий Матвеевич и Асклипиодота. Говорили шопотом. К чаю приехал из Кочеров доктор Перепелка. И чай пили, все шопотом.

Окна в доме открыты и далеко слышен свист:

свистел Черкасов —

а свистел он, потому что он соловей: «Раньше пел у пруда, а теперь здесь поет: зовет Олю!» — так сам он объявил.

После чаю доктор прошел в дом посмотреть — и скоро вернулся.

— Зрачки —, — и так показал, — — ! Ничего не остается: завтра надо везти в город.

Тревожная прошла ночь под жуткий свист.

А на утро, когда Оля проснулась, Асклипиодота ей рассказала, что Черкасова увезли в город: повез Лампад.

— Пока еще сидел смирно, ничего, а потом пришлось связать.

Варя плакала — просила Олю ехать вместе и все выяснить.

— Поезжайте, — уговаривала Олю Александрия Кенсориновна, — даст Бог и успокоится.

— Роман в лицах! — удивлялся Ксаверий Матвеевич, — все девчата понимают.



И в Сумасшедшем доме Черкасов свистел — звал Олю. Но Олю к нему не пускали: боялись, что свидание еще больше расстроит.

Как-то в обеденный час Оля и Варя проходили по больничному саду и видят:

внизу в окне за решоткой сидит Черкасов
и ест котлету — очень страшным показался
он Оле — в белой рубахе желтый, заросший
весь, а глаза такие — !

Он узнал Олю — и котлету ей через решотку:
— Олинька, на!
— — —

Оля скорее из саду и больше никогда не ходила: очень было страшно — и глаза — и как это он сказал — —

Оля обвиняла себя, что из-за нее все так вышло и не видела никакого способа поправить.

В Покидош из Бобровки приехала Елена Степановна. Федор Фалалеич, сопровождавший ее, предупредил Олю что —

Елена Степановна проклинает ее за сына.

— Постарайтесь с ней не встречаться!

Федор Фалалеич был все такой же: он с благоговением и восторгом смотрел на Олю. Федор Фалалеич искренне боялся неприятной встречи, хорошо пони-

мая, что винить Олю напрасно — ни он, ни Варя ни в чем ее не обвиняют! — но что и мать жалко: сын так мучается.

А тут еще и Варя захворала: надорвалась.

Обыкновенно Оля ходила в больницу справляться всегда с Варей. Варя лежала. Пошла Оля одна.

И вот когда она отворяла калитку и, войдя, хотела закрыть за собой, калитка никак не закрывается — а оттого не закрывается, что сзади еще отворял кто-то.

Оля обернулась — перед ней Елена Степановна:

Елена Степановна тоже шла в больницу за справкой.

Оля поздоровалась.

Елена Степановна ей ответила — строго. И пошла по мосткам —

а Оля так у калитки и осталась: ей итти неудобно!

Елена Степановна приостановилась и назад к Оле:

— Оля, — сказала она, — что мне передать от вас Владимиру?

Оля вдруг:

— Скажите — — я за него выйду замуж!

И заплакала —

она все себе представила — осень — Курсы — лекции — разговоры — «революцию» — и увидела себя, как сидит она в Бобровке на балконе и он с ней: желтый, заросший и глаза такие — а в саду только ветер воет,

Елена Степановна, оставив Олю, подошла уж к больничной двери и вдруг повернула и шла по мосткам быстро назад.

— Нет, — услышала Оля, — так нельзя делать. Я ничего не передам. Если любишь и выйдешь замуж, и то трудно бывает, а без любви — —

И пошла.

Оля этого никогда не забудет.

***

Из больницы Черкасова отвезли в Бобровку.

А в Покидоше заработал «Ермолаевский листок» и «Сергеевские ведомости». Только и разговору, что о Оле и о Черкасове —

Олю обвиняли в бессердечии.

И каждый считал своим долгом и правом узнать от самой Оли, как она ко всему этому относится?

Нина, у которой жила Оля, подарила ей колечко с маленьким рубином: Нина хотела чем-нибудь развлечь Олю. Подцепили и это колечко:

уверяли — из самых верных источников! — что «свадьба на носу и вот доказательство: кольцо».

— Черкасов, — говорили, — перед отъездом в Бобровку подарил Оле кольцо с крупным бриллиантом, по-середке изумруд!

Но главное: встреча Оли с матерью у калитки в больнице, о чем выражались, «что сговориться — так не встретишься!» — эта встреча не прошла незаметной —

случайно видела все Анна Ермолаевна («Листок»), но, увы! слов она не слыхала, и что говорила мать? и что Оля? — так и осталось неизвестно.

Но Анфуса Сергеевна («Ведомости»), которая только видела собственными глазами, как Лампад вез связанного Черкасова в больницу, ссылаясь с чего-то на фельдшера Виталиса Виталисовича, настаивала —

что Елена Степановна отдавала Оле всю Бобровку, но что Оле показалось мало...

— И тогда Елена Степановна вернулась, подарила Оле кольцо с бриллиантами в изумрудах, и Оля заплакала.

Фельдшеру Виталису Виталисовичу не давали покою.

И соблазнившись — не всегда же ловко ссылаться на незнание: незнай, что дурак, прозовут, оправдывай-

ся! — Виталис Виталисович дал некоторый «информационный материал» ни к селу, ни к городу.

Но чем невероятнее, тем вернее и надежнее.

Пройдет не один год — еще долго будут вспоминать, судить и пересуживать по «Листку» и «Ведомостям», а при упоминании об Оле непременно справляться:

«Эта та самая Оля Ильменева, из-за которой Черкасов сошел с ума?»

И, конечно, обвинять — в чем только может обвинить человек человека — и в бессердечии и... в жесточайшей корысти. А если усумнишься и попробуешь возразить, заткнут тебе глотку последним непререкаемым говорят.



Ну, будет! больше не буду о покидошенском «говорят», суде прошедшем и канувших пересудах, — в наши дни, вы себе представьте, когда ученые сигнализируют на Марс, а в институте доктора Ришэ фотографируют духов, да, духов не фокуснических, а «страстных», « грешных», как живой человек, витающих совсем близко около нас в земной сфере, встревающихся в нашу жизнь также «по долгу и праву», как и всякий, кому не лень, в жизнь соседа, а дикий свист джаз-банда (я всегда слышу свист ковылевых степей России!) вихрем подхлестывает весь мир пуститься в размеренный крутящийся танец и, чем теснее, тем четче, готовый разместить весь мир уже не на четырех шагах — предельной могильной мере, а на нашей калужской курячьей жердочке; когда в мировом городе (постаревшем, сгорбившемся за эти годы, мне иногда чудится, что под Парижем земля вскоробилась, выпирает и проваливается, и парижские камни под ногами мягче!) на са-

мом высоком холме из холмов, на Монмартре — на Place Pigalle у увеселительных заведений «кабаков», где вы увидите знакомых с Соболевки, стоецких, вышибал, а под крутящимися и звенящими огнями всех, какие только есть огни, угрюмые красные такси Рено с шоферами — неудачливых (а может, самых цепких) из бывших русских пошедших на труд ночных, обслуживающих «благородную валюту» господ мира, (не знающих, что еще придумать, и куда деваться), электрификация так ахова и звучна — ритм част, боек, перебоен — не ускакать и самому из самых однозначных и кратчайших «а», и «ah» протянется слишком медленно и долго, как «ой-ля-ля» — в наши дни и Анна Ермолаевна («Листок») и Анфуса Сергеевна («Ведомости») живы, живут себе и процветают, как никогда еще, и каланча, около которой во дворе у тетки Марьи Петровны Вольской ютятся «Ведомости», стала куда выше Эйфелевой башни да и самых американских небоскребов с сильнейшим в мире радио на вышке, так что все эти кричащие гиганты, если заглянуть с каланчи вниз, покажутся не больше кузнечика; а Семинария, соседка «Листка», на окрайне, отошла от центра — пожарной каланчи так далеко, как Лондон; да, здравствует и «Листок» и «Ведомости» и как же иначе, такое интересное время, столько событий — — но, неужто, как и тогда в допотопное в «до-революционное» время, и вот теперь при всех самых неожиданных обстоятельствах и потрясающих переменах есть еще легковерные люди, которые слушают, одобряя и сочувствуя, и неужто ни война, повалившая уверенную гордую Европу, оправляющуюся с таким непомер-

ным трудом, с таким отчаянным усилием пробующую встать на искалеченные обескровленные ноги, ведь нищета лезет из всех углов и прорех и элегантный француз только необычайным искусством, математическим мастерством — какой-нибудь яркий платок или разноцветный пошетт! — прикрывает лохмотья, а расчетливый немец старается не обращать внимания, что вместо душистого традиционного кофейного духу с утра по Берлину подымается дохлый пар эрзацов, и неужто ни эта война — ведь, кажется и дураку ясно! — ни революция, ни беда беженцев, а беженцы засорили весь мир, беженцы всех стран и народов, ни труд, покорно несущих строй жизни, а жизнь стала еще тяжелей (знаете, в Европе можно просто пропасть у себя в комнате и без всякой огласки и шума и никто не схватится и никого не удивишь!), да! все это — ничто из этой «мировой катастрофы», которая у всех на глазах, за эти годы, за эти столетия, прошедшие в годах, не перевернуло хоть столечко в мозгу человеков, чванящихся развитым своим мозгом перед безмозглой человекообразной обезьяной — и самое роковое событие и самый искреннейший поступок человека (никто не убережется!) залепят грязью!

⁂

Оля жила у Нины.

Помня завет Ильиной, Оля за три недели переплела много книг. За ней, не уступала и Нина. Так в работе молчаливо прошли дни.

К именинам Натальи Ивановны Оля поехала домой в Ватагино.

В Хомутах она увидела из вагона поджидавшего

ее Мишу и еще с ним кто-то в шляпе с широкими полями, сразу не разобрать. Но когда поезд остановился, Оля испугалась:

с Мишей стоял Черкасов.



Черкасов появился в Ватагине неожиданно — он прибежал из Бобровки тайком:

его караулило четверо сторожей, ночью, представившись спящим и выждав минуту, когда сторожа заснули, он ушел.

Появление Черкасова в Ватагине перевернуло всю жизнь.

С утра начинал он свою, только ему понятную, работу: он переставлял мебель. И всякий день по новому все переставлялось, а то и на дню по несколько раз. И за несколько дней переломал все стулья.

Вид у него был зверский: глаза налились кровью, зрачки вкось.

А не уговорить, не остановить не было никакой возможности. Он ругательски ругал всех, кроме Оли, да смягчался еще к Лене:

Наталью Ивановну он не взлюбил за то, что она говорила — «Оля — ее»;
Мишу — за то, «что плохой хозяин»;
Ирину — «потому что лицо нехорошее».

Обедал он отдельно. Оля или Лена, чаще Лена, приносили ему обед, другим не позволял. Напряжение в доме дошло до крайности и как-то Лена не выдержала и, выйдя из его комнаты, грохнула поднос с тарелками и расплакалась.

Но беспокойнее всех было Оле. Он следил за ней и ни на шаг не отпускал. И когда Оля все-таки уходила, просил Лену узнать: где?

— Оля спит, — говорит Лена.

Он схватывался в величайшей тревоге:

— Идите, сторожите: а то ее во сне могут убить.

Ни о каких именинах нечего было и думать.

Приехала в Ватагино двоюродная сестра Натальи Ивановны, с детьми, но и дня не пробыла — девочку ничего, а мальчика Черкасов сразу возненавидел, «потому что хлыщ!» и стал придираться, ну та и уехала в Меженинку к любимой бабушке Татьяне Алексеевне.

Бабушка очень была недовольна —

«и что это, писала она, сумасшедший в доме!»

А в Бобровке хватились и, хоть ясно, куда мог убежать Черкасов: или в Лубенцы или в Ватагино, больше некуда, — все-таки дали знать в полицию.

В Ватагино приехал становой.

Оля как-раз проходила по двору и с ней Черкасов с топором.

— Будьте осторожны, — предупреждал становой, — ведь это сумасшедший человек!

А Черкасов сам из осторожности не расставался с топором: топор на случай —

ведь Олю могли убить всякую минуту и во сне и на яву!

Черкасов вдруг потребовал, чтобы его везли в Кочеры к доктору:

рука болит!

Оля и Миша поехали с ним. Но в Кочерах он о руке ни разу не вспомнил. А к вечеру стал проситься в Ватагино.

На обратном пути сначала все было мирно, но вдруг он велел остановить лошадей, вылез, пошел пешком —

и пропал.

Ждали — ждали — нету: не возвращается!

И только слышно, свистит —

жалобно.

Вылез Миша, пошел искать —

а он залез в болото и там свистит — всхлипывает.

Стал его Миша уговаривать — куда! и слышать не хочет. Пошла Оля.

— Владимир Михайлович, пойдемте!

А он из болота:

— Здесь нет Владимира Михайловича — здесь есть недобитый соловей!

⁂

Из Бобровки приехал Федор Фалалеич.

Черкасов согласился ехать домой, но только по железной дороге. А всякий раз, когда надо было выезжать к поезду, на него нападал его всегдашний азартный упор: он необыкновенно медленно укладывался и, хотя у него ничего не было (прибежал он в Ватагино в чем был!), он изобретал самые долгие, самые дальние сборы — подолгу перетряхивал одеяло, тщательно складывал и, уложив в Мишин чемодан, вдруг вынимал — —

«можно ли, спрашивал он, взять ему одеяло с собой?»

тоже и с полотенцем и с платками. И не было никакой надежды во-время поспеть к поезду.

Решено было ехать всем вместе на лошадях:

поедет и Оля и Миша.

Черкасов остался очень доволен и во-время был готов.

Ехали на двух бричках —

Федор Фалалеич с Мишей впереди,
за ними — Оля и Черкасов.

Когда ехали полями — ничего, а когда выехали в лес — Черкасов забеспокоился: ему стало казаться, что Олю кто-то хочет украсть, и потому надо хорошенько смотреть по дороге. Он поминутно выскакивал, заходил вперед, глядел — и, убедившись, что никого нет, опять садился, чтобы через несколько минут повторить то же.

Потом ему показалось, что одна из лошадей враждебна к Оле — и выпряг лошадь: и уж ехали на паре —

а Федор Фалалеич с Мишей на четверке.

А потом заподозрил и другую лошадь — и ее выпряг: и потащились на одной —

а те на четверке, сзади пятая.

И когда, кажется, некого было подозревать: и впереди — никого и лошадь одна! — он заподозрил Федора Фалалеича, будто бы Федор Фалалеич в уговоре с лошадьми и теми неизвестными, кто хочет украсть Олю, и что Федора Фалалеича надо убить.

Вот тебе и раз! — На Федора Фалалеича напала медвежья болезнь: не удержаться!

А Черкасов давно и забыл — Черкасов опять поминутно вылезал: потому что тяжело было ехать. Вставал и кучер, вставала и Оля —

ведь, одна лошадь!

И Федор Фалалеич поминутно вылезал:

— Господи, хоть бы домой поскорей!

Поездка не из веселых.

Ехали, ехали — конца нет! — и только совсем ночью добрались до Бобровки.

В Бобровке пошло то же, что в Ватагине.

Черкасов переставлял мебель и всех ругал — и Федора Фалалеича и Нелиду Максимовну и Пахомыча и Терентия и повара Лаврентия Мокеича и садовника Григория, всякого, кто подвернется, но больше всех доставалось матери.

Единственная — Оля.

Жарко, а он станет у колодца — головой под солнце.

— Оля, — просит Елена Степановна, — скажите ему, чтобы надел шляпу.

Оля скажет — он послушает.

Или начнет полы мыть по-своему: ведро воды на пол — целое море.

— Оля, скажите, чтобы перестал.

Оля скажет — он перестанет.

Сад в Бобровке сдавали — Черкасов тихонько брал деньги у арендаторов. А потом сядет на крыльцо, вынет деньги — разрывает и под крыльцо.

И одна только Оля остановит.

Доктор Перепелка советовал отвести его в Петербург в лечебницу. И само собой, ехать в Петербург с Олей, иначе не уговоришь.

За обедом Оля сказала:

— Я сегодня еду в Петербург.

— И я тоже! — обрадовался Черкасов.

— Ну и мне надо, — сказал Перепелка, — так вместе и поедем.

И до Петербурга дорога была не легкая. Черкасов выходил на площадку, садился к буферам: спустит ноги и свистит. Все просил, чтобы и Оля с ним села. Страшно было в дороге.

Недалеко от Петербурга он снял с себя часы и подал Оле:

— Возьмите, — сказал он, — храните от меня на память: от сумасшедшего друга.

В Петербурге был предупрежден двоюродный брат Черкасова, он и встретил на вокзале и повез к себе на Сергиевскую. А после чаю поехали будто кататься, а на самом деле на Таврическую — в лечебницу.

А там ждали — все было приготовлено.

Доктор попросил Олю отворить дверь в комнату. Оля отворила —

Черкасов уверенный, что пойдет с ним и
Оля, вошел —

И дверь за ним захлопнулась.



Оле попался извозчик — белая лошадь.

— На Колтовскую!

И поехала.

А как сворачивать с Кирочной на Литейный, извозчик обернулся и Оля заметила: извозчик без носа. И стало ей душно, как во сне: все перекосилось, неровно, плывуче — дома, мостовая, прохожие — один звук — один шум — и только безносый и белая лошадь.

И вдруг лошадь вцепилась со встречной взбесившейся лошадью — и загрызлись.

Это было одно мгновенье — все покачнулось — еще... и Оля очутилась бы на мостовой — да соскочивший с извозчика офицер шашкой ударил лошадь и лошадь упала.

Как из сна, как бы из воды, уж захлебываясь... как от пропасти — вот сорвется! — встала Оля, заплатила извозчику и пошла пешком.

Оля едва отыскала Котельниковых: на Колтовской в самом последнем дворе квартира без номера.

Людмила Николаевна была дома, очень обрадовалась и сразу же по-лицу почувствовала, что с Олей произошло что-то.

Не расспрашивая, она стала перед ней на колени, обнимала ее, заплакала.

Все слова — да слов таких нет! — и вот вместо слова — заплакала.

Тепло и свет окутали душу — и Оля как очнулась.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Котельников — бельмо у жандармов.

И в университете его арестовывали и вот кончил, служил у присяжного поверенного, а нет-нет да и потянут. Высылать его не высылали, «дела» Котельникова не было: его арестовывали всегда при ком-нибудь — в последний раз «по делу Сергея Рашевского».

Все тюремное ему известно, как никому. И он умел устраиваться в тюрьме, как дома. Вышел он из крайней бедности и с детства узнал дома такую нужду, при которой тюрьма кажется «уютным уголком».

«Я и не вырос, очень плохо жили!» — объяснял он свой маленький рост.

Частое сиденье в тюрьме дало ему возможность «подумать». И много чего, что за суетой — а всякая деятельность суетлива! — ускользает, тут он по ко-

сточкам перебрал и обдумал. Служи он только у присяжного поверенного (а много любопытного узнал он из разных «дел»!) ему некогда было бы, а вот тюрьма освобождала его. Много он в тюрьме читал, а не разрешали книг — думал.

И никогда ему не было «скучно». При всех обстоятельствах, во всяком положении он находил себе «полезную» работу. В этом он был похож на Ильину. Но Ильина старого закала — вулкан, а он выдержанный и от молчания (в тюрьме не поговоришь) слова его совсем не огненные, а тихие, напоенные: когда слушаешь, понимаешь, что не зря это, не с бухтабарахта, а по каким-то раздумным желобкам идут его слова. И вот почему с горечью говорил он о человеческом «легкодушии» и «легкосердечии» — в самом в нем «поверхностности» и звания не было.

Больше известен был Котельников не по фамилии, а как Федор Иванович. Федором Ивановичем называли его и Оля и Зина.

Так с разговору — с виду какой же он был революционер! Ничего ведь такого резкого, какого-нибудь «сильнодействующего средства» он не указывал и не возглавлял никакого кружка и ни в чем его нельзя было уличить — при обысках у него никогда ничего не находили. Но жандармы не такие дураки: он действительно был «бельмом» и неисправимым.

Сидя постоянно в тюрьме, он свое додумал и твердо.

Сама жизнь его была «неисправимым бельмом», самая его жизнь никогда не могла успокоить его. И в своей жизни он соединял многих — очень многих, которые только не могли высказаться — не умели выразить своего самого бедового.



«Нет, я не говорю, чтобы бедность, и с нею беда были бы тем желаемым, чего пожелаю всякому —

«нет, как раз наоборот, наша жизнь есть то, чего и врагу не пожелал бы —

«нет! — ведь и все революции к тому, чтобы такую жизнь «предать забвению» и сделать людей не то, чтобы богатыми (это только по наивности или по пылкости так ляпнет другой!), а сделать жизнь достаточною. Ведь, средства-то жизни — от труда! И всякий трудящийся имеет же право на такую достаточную жизнь, которой вот мы лишены! —

«Я знаю, при материальных недостатках, с постоянной нуждой, мелочные заботы засоряют дух. Да, дух! — вот то самое, без чего человек и на человека-то не похож. Затеняют дух житейскими мелочами. И уж как бы ты поступил — да, конечно, по другому! — если бы был сыт и жил бы в тепле и с «удобствами», а не как свинья или крыса в норе, не бегал бы за добычей, не повторял бы одних и тех же просьб, не дожидался бы в прихожей или в приемной, все равно — для нас, известно всегда «подожди!», — не молчал бы на глупости, которые предшествуют разговору о твоем деле, не тащился бы больной и в погоду к чорту на рога, потому что тебе туда назначено и не притти ты не можешь, а пожалуй и не приходи, очень-то ждать не будут и без тебя обойдутся, тебе же делают одолжение — всегда «одолжение»! Не даром же в античной трагедии действующие лица «цари», т. е. люди, освобожденные от материальных забот, — взят «дух» в чистоте без примеси какого-нибудь студня или картошки с солеными огурцами, дан человек, который имеет возможность думать и не только о дровах, которых нет и надо добыть, и что вот вы пришли, а и сесть-то не на чем, а завтра Людмиле Николаевне надо на урок итти наниматься, а ей и выйти-то не в чем, да и Наташе надо — ведь ей надо! — она не понимает, мы-то как-нибудь обойдемся —

«Да, я знаю, много отрицательных сторон «бедности», с которой об-руку нужда ходит, — и врагу не пожелаю! —

«Да, в нужде и раздражение — сама жизнь колет! — как же тут быть ровным? Да и сердце надорвано — тихих слов не скажешь. И где больше крику!? — конечно, в нужде, да и не только крику! —

«Да, это хорошо, завидно всему миру улыбаться — видел я такие рожи на фотографиях, рожи с золотыми зубами! А ты вот попробуй поживи-ка без номера на третьем дворе на Колтовской и без дров, когда не то что золотой зуб вставить, а запломбировать и рад бы, да даром-то ведь не станут, а скуло вот-вот разнесет, ты попробуй-ка улыбнуться не миру, а вот хоть — —

«И мещанство, т. е. мелочная расчетливость. Оно у нас-то мещанством не называется! Ведь «мещанство» — это когда человек с карманом начнет в мелочах расчитывать да копейку обшаривать и — — осуждать тебя, если ты взял, да на последние и купил, вот эти калачи купил и чай пьешь. А ведь ты не имеешь право чай пить —

«Пошел я недавно в театр на Шаляпина, надо же хоть раз послушать, и все деньги истратил на билет. В коридоре сталкиваюсь с моим патроном — удивлен и потрясен: «Каким образом вы попали?!» «Таким же, говорю, как и вы». Понимаете, как же это я, — а он хорошо знает, в каком я положении! — и вдруг на Шаляпине! Да ведь я же не имею права слушать Шаляпина, как и чай пить с калачами —

«Да, мещанство — это мелочная расчетливость, ей Богу, другой раз из-за сломанной спички, из-за сметенного окурка такое подымешь, точно у тебя, я уж и не знаю, что отняли! И, конечно, нарушение самых простых требований общежития: ложь, обман, воровство — все эти «грехи» бедняков —

«Ну, скажите, пожалуйста, ну как же и не соврать? Ведь, я же могу говорить правду только тому, кто поймет меня со всей этой моей жизнью, а поймет только свой человек, сам живущий, как я. А скажи я по правде человеку, который только представляется

понимающим, там — — «все понимают»! — да он все в расчет возьмет: ну вот мы и чай пьем и калачи есть и — самый из ужасов — ветчина, ветчины я купил, сейчас принесу, вот память-то! «Как! у вас ветчина: так дорого!» Ему-то самому можно, хоть и дорого! Или: «Вы занимаете такую квартиру, так дорого!» Но ведь сам-то имеет куда лучшую квартиру и платит действительно дорого — ему можно, а тебе: крысиную нору, так что ли? и тогда он успокоится или — ну, как же я с таким буду говорить по-правде? —

«Тоже на-счет и украсть. Ну, и украдет — у соседа нельзя, а у того, кто подальше. Впрочем, расстояние вещь относительная, и не в том дело, у кого украсть — —

«Я думаю, что качества т. н. «хороших людей» только и возможны и само-собой появляются только при достатке человека, когда человек становится на человека похож. И такой может быть «честным» — держать слово! — и «милосердным»! Ну, а как тут чего уделишь, когда у самих нет, из ничего — ничего и будет! И как тут не обмануть, когда такая всегда недохватка —

«Люди же сытые, избалованные жизнью (ну, разве не баловство: родиться богатым!), люди, имеющие возможность быть «хорошими», требуют от нас, от бедноты такого, что им совсем легко — «раз плюнуть», и тычут «нравственными понятиями» —

«Да, все революции сводятся к тому, чтобы сделать людей похожими на человека, — дать человеку какой-то достаток жизни, при котором он будет иметь возможность исполнять заповеди «общежития». И это первое и самое главное и без этого ничего невозможно — никакие политические (ничего не ровняющие!) равенства и никакие (от ничего не освобождающие!) свободы. Но пока такой революции не произошло — а к ней, только к ней и устремлены сознательно или бессознательно все помыслы людей, обреченных на трудную жизнь! — пока все на своем месте

«по уложенью» и по «предначертанной судьбе» и люди делятся на бедных и богатых, есть какая-то «нравственность» бедных и есть богатых, и общего между ними ничего нет —

«Я всегда буду обращен сердцем к бедным, к которым принадлежу. Я знаю все отрицательные стороны бедности, которой не пожелаю и врагу, но скажу так — я только среди бедноты видел при всей нашей отвратительной злой нужде такие качества духа, какие нигде не видал, или какие и бывают — все бывает! — но только у избранных там — там, где нас никогда не поймут —

«Если богатый бросит обглоданную кость или завалящий кусок хлеба, который для меня-то будет «насущным хлебом», а кость «наваристой мозговой костью», — для него это плевое дело, а если бедный это сделает, «поделится» — то это уж от самого тела оторванный кусок и кость от живых костей, от «состава»; и сделает это по «сочувствию», богатый же — чтобы не «приставали»; и бедный забудет, что поделился, а богатый всю жизнь будет помнить и, если по той же нужде ты вздумаешь и еще раз обратиться к нему, он тебе напомнит. Впрочем, есть всякие очень хорошие и чистые способы, чтобы не только во второй раз, но и вообще не обращаться. Я как-то получил письмо от одного товарища из ссылки, просит прислать денег, а что мне послать? — вот я и думаю, и придумать ничего не могу! А мой патрон и говорит: «Да не отвечайте на письмо!» «Как, говорю, не отвечать?» «Да будто ничего не получили, я всегда так делаю». Это, оказывается, один из способов и очень распространенный — —

Рассказывал он случай из «истории революции» — вычитал в каком-то историческом сборнике в тюрьме. Обыкновенно о революциях рассказывают или «ужасы», или легенды о героических подвигах, а в этом случае

ни ужаса, ни легенды, просто живая жизнь. В каком-то мексиканском городе взяли верх революционеры, а жил там молодой богатый граф мексиканский и, конечно, этого графа первым должны были уничтожить революционеры. И вот, простой человек из мексиканских же рабочих, бывший каторжник, стоявший во главе революционеров, пожалел этого молодого графа и, когда пришел день суда, спрятал его и потом много приложил усилий не дать в руки своим же «обреченного» «классового» врага. Но, как везде, ничто не вечно и нет ничего постоянного и всякие власти человеческие кончаются, так и тут случилось, пришли другие мексиканцы, сторонники графа: революционеров посшибали, а главного бандита, каторжника-то, первого наметили к истреблению. И вот этот самый граф мексиканский в самую критическую минуту и укрыл его у себя. А когда первая вспышка прошла и чувство мести и «справедливой народной кары» улеглось, граф тихонько выпроводил его из города — и уж в другом городе его прикончили. Но это не важно: на то и шел! А граф, видя — не дурак был! — что и эта власть, дружественная, как и всякая, непрочна, перекочевал на верблюдах к какому-то Навуходоносору, который в ту пору травы еще не ел, и было в его царстве пока-что тихо и смирно. И там, у Навуходоносора, рассказывая среди друзей и прихлебателей историю своего чудесного спасения и как он сам изверга укрыл и тем спас жизнь, совершенно откровенно заявлял: «Я укрывал его, потому что не хотел, чтобы у него осталось, будто он мне одолжение сделал, и я ему обязан!»

«Так вот, значит, спас этот граф изверга

только потому, чтобы в долгу не оставаться. А ведь изверг-то, каторжник-то спас его без всякого расчета, просто пожалел. Нет, даже и спасти-то человека они так не могут и никогда не поймут, что спасать другого можно из-за самого прекрасного чувства «спасти» —

«Да, все революции исходят из первого и самого главного: сделать людей похожими на человека, — а это возможно только при достаточных средствах к жизни. Но пока все остается неизменно и помириться нельзя. И невозможно. И это не то, что увлекся и разочаровался, нет, — это сама суть нашей тягчайшей жизни, ее зов! —

«Все это я грубо говорю. Я и о другом думал — знаю и извивы и изломы человеческой жизни. Знаю, все гораздо сложнее и запутаннее. Но вы поймете: о самой сердцевине нашей беды иначе и нельзя сказать —

«И скажу еще: до тех пор не замирится земля, пока не будет достигнута возможность вести человеческую жизнь — быть действительно человеком: не терять ни-к-чему-ненужное терпение, не унижаться, не принимать молча оскорбления. В духе человека скрыты великие возможности, а уродливая несправедливая жизнь вот столечко дает ему простора развернуться, все остальное убивается на мыканье и терпенье.

«Да, пока жив человек, будут на земле революции. И только мертвые, окончательно забытые жизнью, не пошевельнуться, да подчинившиеся своей доле — норе крысиной — останутся равнодушными.

«Пока жив человек — пока он хочет перемены в своей жизни (в общей жизни, с которой его жизнь связана!), будут революции. А революции всегда ужасны. Действующие — не машины, а люди со страстями и грехами. А кроме того, орудием и средством революции всегда будут люди наиболее грубые, нечувствительные, отчаянные и озлобленные. Вдохновители же, наиболее из них человечные, на черную

работу не пойдут, да если бы в порыве и захотели, не годятся. Вот вы, например — —

⁂

Жизнь Котельниковых была бедовая и чудесная.

Только чудом они были на свете. И особенно когда Федора Ивановича в тюрьму сажали, и Людмила Николаевна оставалась одна с Наташей.

Людмила Николаевна брала белье стирать, — этим и жили.

Оля часто заходила к ним. Доставала им денег, няньчилась с Наташей.

В Людмиле Николаевне много было материнской нежности. Федору Иавновичу многое можно было поверить: конспиративную науку и со всей точностью он прошел до конца.

И всегда у них в их беднеющей квартире, где вместо стульев стояли просто пни, было столько душевного тепла, совести и света.

⁂

А это потом —
Через год —
Не на Колтовской в квартире без номера, а в тюрьме — в Предварилке на Шпалерной. В тюрьме Оля горячо вспомнит и Людмилу Николаевну и Федора Ивановича и Наташу. Чаще всех передача — от Котельниковых. И если нечего — совсем, стало быть, денег нет — то так что-нибудь незначительное: кусочек пирога от Филиппова. Иногда же (чудесным образом!) жареная курица: и всегда курица без крыла. Оля понимает: крыло — Наташе; и еще понимает до слез, что для себя-то они никогда такого не сделают — целая курица!
На Троицу Людмила Николаевна принесла в тюрьму березки, перед Рождеством —

кутью. А на самое Рождество Оля получила карточку: Наташа. А на обороте письмо: «Дорогая тетя Оля, я так давно не вижу тебя, не слышу твоих песен. Мне скучно, так скучно, что хоть и сильный мороз, а я иду к тебе, чтобы встретить с тобой праздники. Мы вместе будем петь Коляду, я уж умею петь и бегать тоже. Крепко целую тебя, дорогая тетя Оля. Твоя Наталка».

УЖЕ

После лета первая встреча на Курсах с Зиной:

— Ты страшно переменилась, Оля.

— Как?

— А теперь никто не скажет: «Оля — девчонка!»

На собрании в Кружке Маня Сажина:

— Надо быть у́же: только одним и интересоваться, а все остальное оставить.

Оля, подумав:

— Да, надо быть у́же.

Оля ходила на Курсы, слушала лекции, но когда пропускала, не схватывалась. Некогда было. Все время — на революцию. («Надо быть у́же»).

Не было свободной минуты для себя. С утра начиналась беготня, езда на извозчиках по делам. И не просто надо было ходить, а осматриваться, чтобы увернуться от шпионов. И разговоры.

Если и разрешено, подумайте, сколько тратится сил и времени на всякие организационные собрания, а когда еще надо прятаться, тут часов не считают; и при этом много всяких побочных дел обстановочных, которые требуют большой изобретательности, точности и памяти; да и без дурака нигде не обходится, стало быть, путаница непременно, которую всегда надо распутывать.

Особенно горячка была осенью.

Затеяли типографию. Оля ездила в Харьков, привезла шрифт. Надо было печатать прокламации.

К этому же времени «Бракоразводный комитет», за недостижением целей, преобразовался в «Струю единения»: эта «Струя» должна была объединить курсисток бестужевок с курсистками других высших учебных заведений — с педагогичками и медичками, заправилы же оставались все старые знакомые —

Оля, Лида Алексеева, Нина Мавлютина и
Варя Финикова.

«Струя единения», «Кружок декабристок» и конспиративные дела — так все время, ни минуты.

***

В начале зимы стали поговаривать, — что «дело» Сергея Рашевского подходит к концу — сидел он два года! И действительно, были признаки: его перевели из Петропавловской крепости в Предварилку на Шпалерную.

На свидание ходила Зина и Федор Иванович.

Было условлено: когда узнают о приговоре — сколько лет ссылки, столько бы яблоков и принесли для передачи.

Разными путями и ходами добились — узнали: Зина понесла в тюрьму для передачи восемь яблок —

восемь лет ссылки в Восточную Сибирь!

Начались хлопоты через двоюродного брата Черкасова, который занимал большое место, чтобы не по этапу ехать Рашевскому, а на свой счет с сопровождающим. И когда получилось разрешение, выяснился точно, день отъезда.

Зина и Оля приехали на Николаевский вокзал — Рашевского привезли: с ним был «сопровождающий» и Федор Иванович. Решено было ехать всем вместе до Бологого.

После двухлетней тюрьмы Рашевского все удивляло: глаза, привыкшие к стенам, а слух к тишине живо

действовали на разнообразие окружающего. Он точно открывал новое:

— И лес растет!

— И дети кричат!

«Сопровождающий» не мешал разговору: он залег на верхнюю полку и никак не отзывался — может, за столько лет вытянулся; шпионская-то должность, не посидишь на месте, не развалишься?!

Вышли на площадку.

На площадке можно было обо всем говорить.

Вспоминали — вспомнился и день ареста, третий день Пасхи, и как Оля попала в засаду на Захарьевской.

— Утром меня разбудила Зина: у нее был обыск. Просит пройти на Захарьевскую и узнать, как у вас. Я поехала на Захарьевскую. Там у ворот увидала много городовых и в штатском. Я вошла во двор и, не обращая внимания, прямо к тому подъезду, где, я знала, вы живете. Мне из окон стали махать. А я ничего не понимаю: тоже платком помахала. Возле подъезда жандармы — я мимо них по лестнице. Догнал меня жандарм и в штатском, д. б. сыщик. «Какую квартиру вам надо?» «Рашевского», говорю. А тот так вежливо: «Пожалуйте!» И в комнату с городовыми меня запер. Городовой сначала молчал, потом разговорился: рассказал, что в ночь много арестов было — «больше ста рублей на кареты истрачено!» Я просидела до шести часов вечера. Вошел какой-то штатский и стал меня спрашивать: кто я и зачем пришла? Я сказала, что пришла просить к экзамену книгу: Логику. Штатский ушел. Еще просидела сколько — с час. И меня повезли на Гороховую в Охранное.

— А ведь я видел, как вы входили: меня еще тогда не отвезли.

— На Гороховой жандармский полковник сказал, — продолжала Оля, — что обвиняюсь «в близких сношениях с политическим преступником Рашевским и не в каких-нибудь личных, а по общему делу».

И так как я «очень молода и, очевидно, не боюсь жандармов», он меня отпускает. Этот полковник ужасно мне был отвратителен. И я до сих пор с неприятностью вспоминаю, как он разговаривал со мной.

— Это Струнский, — сказал Рашевский, — негодяй!

В Бологом Рашевский стал просить проводить его до Москвы — и так незаметно доехали до Москвы.

Не на вокзале же ждать поезда — пошли ходить по улицам. В первый раз Оля увидела Москву! Добрались до Тверского бульвара.

— Памятник Пушкину!

Но тут «сопровождающий» запротестовал: по городу ходить не полагается. И опять на вокзал.

— Проводите меня еще немножко!

— Я поеду, — сказала Оля.

— И я с тобой поеду.

Федор Иванович простился: он должен в Петербург. А Зина и Оля поехали с Рашевским. И до Серпухова — не заметили, в Серпухове вышли.

Поднялась мятель — летел снег, ух, как в ладошки хлопал — и! как! весело.

Рашевский был в большой шубе и от шубы он казался еще больше. Прощаясь, он двумя руками с шубой взял Олину руку.

— Я готов сделать какое-угодно сальтомортале, чтобы только опять увидеть вас.

А снег так и засыпал, захлопал — и! весело!

— — — — — — — — — — — — — — — —

— Я прекрасно знаю, что Сергею и не надо было, чтобы я его провожала, — говорила Зина, — но куда же ты одна денешься в Москве!

В Москве Зина повела Олю ночевать к знакомым. А на утро поехали в Петербург.

— Сергей убежит, я знаю! — сказала Оля.

— Трудно, — Зина не верила.

— Ну, такой найдется! Не будет же он корпеть восемь лет без дела.

БЕСПОРЯДКИ

Всего два дня не были на Курсах, а Курсов нельзя узнать: сразу же почувствовалась «атмосфера беспорядков».

Лекций нет — в чём дело?

Варя Финикова, особенно возбужденная, бегала из аудитории в аудиторию.

— Да в чем дело?

— Курсистку — я не знаю фамилии — поцеловал профессор Дадыкин, когда она пришла к нему за книжкой — и Финикова зазвенела, — так этого нельзя оставить?!

— Нельзя! — подхватили, — нельзя?!

Профессор Дадыкин — у него большая библиотека — давал курсисткам читать книжки; розовенький, пухленький, с необыкновенно мягким голосом и очень вежливый до стеснительности и робости, и уж куда там поцеловать, да он просто как-нибудь посмотреть не решился бы, всегда с книгой и в книге, и сам в роде сафьянового корешка книжного.

— Нельзя! нельзя! — звенело и задорно и колко.

Тут Оля увидела, что и Лида Алексеева, и Маня Сажина, и Нина Мавлютина не менее возбуждены, и это передалось и ей и Зине.

А в математической аудитории собирались и почему-то не шли, а бежали, и с бежавшими бежал и крик и звяк взволнованных голосов:

— Это неправда.

— Надо его освистать.

— Дадыкин поцеловал.

— Так этого оставить нельзя.

— Нельзя! нельзя!

— Позвольте, — выступила Женя Шубина, — только-что получено известие: профессор Дадыкин сошел с ума и его поступок не зависит от акта сознания.

— Ну, и что ж, поцеловал? Неизвестно, как было: может, совсем с другими целями.

— Не может быть.

— Неизвестно, как это было: сама курсистка могла подать повод.

И тут-то вот вылезла, стала на стол маленькая кругленькая, носик шишечкой — курсистка Мизюкина.

— Нет, — сказала она, — это все неверно, других целей не было и повода я никакого не давала. Это было со мной.

И она начала рассказывать, как ее поцеловал Дадыкин.

Оле было неловко слушать — —

— — потом вышел он на площадку, — отчетливо выговаривала Мизюкина, — и сказал мне, что он ко мне придет.

— Так этого оставить нельзя! — крикнула Варя Финикова.

— Нельзя нельзя! — подхватили со всех концов.

И когда, сорвав сердце, выкрикнулись, и по немногу стали расходиться, медленно вошла в аудиторию Анна Ивановна Синицина.

— Четыре года на Курсах, — сказала она, — каких только беспорядков не было и из-за студентов, и из-за нагаек, но чтобы из-за поцелуя, такого не бывало.



На другой день с утра поднялось вчерашнее — опять стали собираться в аудиторию, опять крик, опять нет лекций.

И, как всегда в таких случаях, комитетские дамы забегали по коридору и зашуршало из всех углов:

— Курсы на волоске!

— Курсы закроют!

А курсистки кричали:

— Так этого оставить нельзя! — выразить протест!

Какая-то «нестоющая» курсистка — «барышня», начиненная курсовыми дамами, особенно горячо возражала: голос ее раздавался и в аудитории и в коридоре.

— Это личное дело, — говорила она, — Мизюкина и должна выразить протест. И никакого общественного значения не имеет.

— Не трепайте фамилию! — крикнула ей Оля.

Окрик Оли произвел некоторое впечатление и на время барышня замолчала. И осталось единодушное: «выразить протест».

По обыкновению на Курсах появился любимый профессор Воркунов, но в аудиторию он не пошел.

— Удивляюсь, — говорил он в коридоре, — ведь надо видеть Мизюкину: как еще ее городовой не поцеловал!

***

И на третий день было не меньше крику, чем в первый.

Опять выступила «барышня», доказывая, что этот поцелуй общественного значения никакого не имеет и что Мизюкина должна сама выразить протест.

— Не трепайте фамилию! — по Олиному, только тоненько крикнула Соня Ефимова.

— А зачем же вы, как выражается Ильменева, трепаете имя Дадыкина!

Но тут вступилась Варя Финикова: она дошла до последнего ожесточения и уж сама с собой повторяла —

«так этого оставить нельзя!»

— «Выразить протест!» — откликнулась аудитория.

И вынесли постановление:

1) на курсовой вечер Дадыкину почетный билет не посылать ;

2) при первом удобном случае освистать;

3) все книги, какие взяли у него, вернуть.

И написали коллективное письмо:

«считаем оскорбительным для себя брать книги и возвращаем».

И все подписались: Варя Финикова, Оля, Зина, Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина — и те, кто никогда никаких книг не брал у Дадыкина, просто из протеста.

Вот какой вышел лист!

**
*

Федор Иванович только смеялся над всей этой историей с «поцелуем».

— Это не в первый раз, — говорил он, — это, когда я был на втором курсе, Дадыкин тоже курсистку поцеловал, и тоже были беспорядки!

ПОД СТУК

Шпалерная: камера на 4-м этаже № 23.

Дверь захлопнулась — и Оля осталась одна.

Первое: стук — стучат со всех сторон —

Оля сняла ботинок и каблуком стала колотить в стену.

— — — — — — — — — — — — —

В коридоре поднялся шум, вбежала надзирательница:

— У нас стучать не позволяется! Пойдете в карцер!

Оля надела ботинок и стала прислушиваться:

стучали со всех сторон — стук глухой, а сверху ясно:

— Кто?

— — —

«Конечно, надо стучать чем-нибудь легким!» — поняла Оля, вынула шпильку и шпилькой постучала обыкновенной азбукой медленно:

— И-л-ь-м-е-н-е-в-а

И стуком ей ответили:

— Разделите азбуку на шесть частей — в каждой части по пяти букв.

И уж по-новому выстукала Оля и совсем просто:

— Кто?

И просто разобрала ответ.

— Игнатьева. Сегодня большие аресты.

Так Оля и научилась и стала стучать-разговаривать азбукой, которой перестукиваются.

И пошла ее тюремная жизнь — дни и ночи под стук.

Оля была арестована совсем неожиданно — впрочем, ожиданно ничего не «случается»! После Шевченковского вечера, на котором была и Зина, Оля вернулась домой поздно. А дома: жандармы — уж обыск сделали. Так прошла ночь. Утром повезли на Шпалерную в Предварилку. Везли на извозчике два жандарма. Весна — март — солнце. Встречаясь, незнакомые студенты махали шапками и провожали особенным взглядом: всякому было понятно, что арестованную везли в тюрьму.

Через несколько дней стучит Игнатьева:

— Вам кланяется Рашевская.

— Она здесь?

— Да. От меня через камеру.

Игнатьева перечислила всех — все были здесь: Лида Алексеева, Маня Сажина, Нина Мавлютина, Варя Финикова.

Оле хотелось поговорить с Зиной, но как это сделать: на другой этаж через камеру в угол — далеко.

Соседка Лаптева:

— Вы можете стучать по водопроводной трубе, когда тихо. Надо в углу стучать. Через камеру слышно. Можно разговаривать со всей тюрьмой.

Оля пробовала и сначала было трудно — очень

стучали! — но и эту премудрость одолела.

И стала перестукиваться с Зиной.

⁂

Первое время Оля разговаривала с соседками:

наверху — с Игнатьевой,

слева — с Лаптевой,

(справа сидела Федорова, не любила разговаривать: работала — вязала),

внизу через камеру — со Степановой, но главное — с Лелей Корн — прямо под камерой.

И со всеми подружилась, а с Лелей особенно.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

Каждый вечер Степанова выстукивает Оле:

— Крепко целую и горячо обнимаю.

— И вас! — отстукивает Оля.

А когда Степанова захворала и ей разрешили вино, она стучала:

— Пю за ваше здорове.

(В азбуке, которой перестукиваются, нет ни ъ, ни ь).

Все соседки — с.-д., а из с.-р. близко: Маня Сажина и Лида Алексеева.

Маня Сажина все болела — мало разговаривала; и не долго ее держали — выпустили. Но уж воля не для нее — так и померла.

Лида Алексеева тоже хворала — ее в лазарет перевели. В лазарете окна большие, Оля ее в окне увидала. И стали они переговариваться палочкой: Оля махала палочкой буквы — и Лида ей отвечала также.

— — весна — пароходы на Неве стучат — на воле веселое время — —

О весне, о Неве, о пароходах, о воле — Оля и разговаривала с Лаптевой.

И вдруг стук быстрый:

— Меня освобождают!

Оля всего раз ее за месяц видела — издали, а привыкла, как год годовали вместе!

уж потом Оля ее увидела — на ту весну, когда также пароходы на Неве свистели, когда Олю выпустят.

***

Вся весна, лето — до осени прошли под стук Лели Корн.

Из всей тюрьмы лучше всех стучат: отчетливо, мягко и быстро —

Оля и Леля.

— Попросите у дамы ножницы и делайте дырку в полу около трубы: там есть щелка! — постучала Леля.

(«Дамами» называли курсистки тюремных надзирательниц, на манер курсовых дам).

Ножницы Оле выдали и весь день она трудилась.

А вечером после поверки стучит Леля:

— Лягьте на пол.

Оля легла — —

и вдруг слышит настоящий человеческий голос:

— Вы меня слышите!?

А Оля только смеется от радости:

настоящий человеческий голос!

— Да, да слышу.

— Давайте разговаривать!

И с тех пор всякий вечер после поверки Оля с подушкой укладывалась на пол (Леля научила: «на пол головой не ложитесь, пол асфальтовый, можно простудиться, а подложите подушку!»)

а Леля становилась на стол, на книги.

И разговор был самый близкий, только что друг друга не видят.

Леля рассказала всю свою жизнь — она тоже из-под Киева, отец немец, принял русское подданство,

и она русская. И Оля ей рассказала о себе и самое сокровенное свое — о своей вере.

— Давайте я вас буду называть Олей, а вы меня Лелей. И как в брудершафте: обнимем — — трубу.

Оля согласилась: Оля поднялась с пола и обняла трубу (радиатор) —

Леля спрыгнула со стола и тоже обняла радиатор.

И теперь всякий вечер после поверки стучит Леля:

— Я иду к тебе!

И вспрыгивает на стол на книги —

а Оля с подушкой укладывается к радиатору.

— Давай, Оля, передавать друг другу из передачи. И книжками меняться.

— А как?

— Разорви простыню, сделай веревку, привяжи и спускай в окно.

Оля разорвала простыню, скрутила веревку, привязала конфетов и — в окно —

Леля веревку поймала, конфеты отвязала, а привязала яблоко —

Оля потянула — яблоко очутилось у нее в руках.

Так и передавали.

И что принесут Оле, она отделит и вечером на веревке Леле —

И Леля тоже бережет к вечеру свое для Оли.

— Есть у тебя, Оля, Леонид Андреев?

— Есть.

— Дай мне. И напиши: «отречемся от старого мира» — все слова.

Оля написала Марсельезу, вложила в книгу, дождалась вечера, отворила форточку и стала спускать на веревке книгу — — и тут что-то произошло: не то книга тяжелая (в переплете!), не то рука дрогнула —

веревка выскользнула —

тррах!

Оля с окна — бац.

Леля на пол — цаб.

Да скорее на кровать, улеглись — и словно спят давным давно.

А всю ночь не спали:

известно — такая книга находится у Оли, и Олин почерк — записка «отречемся от старого мира».

Часовой ли попался хороший — все обошлось: и о книге никто не хватился.

Леля выдумщица — для развлечения затеяла представлять музыку: стучать враз по-разному — стучала Оля, стучала Степанова, стучала Леля и совсем слабая больная, переведенная из лазарета, Лида Алексеева; ее попросила Оля и она, хоть и трудно было, Оле не могла отказать.

Лида: раз —
Оля: раз-раз —
Леля: раз-раз-раз —
Степанова: восемь раз — раз —

И такая музыка гремит до тех пор, пока надзирательницы с ума не посойдут — и сразу все обрывалось.

Или скуки ради Леля с Олей представляют, будто новых привезли арестованных —

обыкновенно, когда привозили новых, слышно было, как хлопали двери, все настораживались и начинали стучать по-стенам.

Хлопать дверью ни Оля, ни Леля не могут, но вызывать стук — можно:

они нарочно стучали неумело обыкновенной азбукой и часто зачеркивали (резкий стук поперек), что означало «не понимаю».

И все, конечно, думали, что привезли новых, верили — и тюрьма оживала.

Всякий вечер Оля разговаривает с Лелей —

они слышат настоящий человеческий голос!

— Почему бы, Оля, не разговаривать нам, сидя на стульях!

— А ты можешь себе представить, Леля, выйти на прогулку без дамы?

— Ты согласилась бы, Оля, повенчаться: после венчанья три часа можно сидеть вдвоем, такое правило.

— Только-то три часа — — !

— А ты знаешь, — вдруг обрадовалась Леля, — форточку в двери на день не запирают. Пойдешь на прогулку мимо, толкни.

И на следующий день после прогулки, проходя мимо Лелиной камеры, Оля, к ужасу надзирательницы, крепко толкнула форточку —

Форточка расскрылась — и Олину руку резко пожали тоненькие пальцы.

А это такое счастье: пожать живую человеческую руку в одиночной тюрьме!

Оля ходила по двору на прогулке и видит:

кошка погналась за воробьем и задушила его.

Оля подняла воробья — нигде ведь, только в неволе так жива жизнь, и все погубленное близко, как свое! — вырыла ямку, закопала воробья и цветы положила —

каждый раз, как Оля на прогулке, Зина ей бросала цветы.

Оля, конечно, простучала Леле о воробье, как погиб, и о могилке воробьиной.

Лелю это очень растрогало и она написала стихи: у Лели душа такая и вот просится, а слов-то нет и ничего не выходит.

Оля ей Кузмина прочитала:

Воробушек, птичка малая,
О чем щебечешь в плену?
Тоска небывалая
Приводит все песню одну.

И каждый вечер Оля ей стихи читала — Оля знает на память много.

А Леля ей рассказывала сказки — русских она не знает — Гримма, Гауфа.

А это такое счастье: в неволе слово — стихи и сказки!

И только раз поссорились из-за какой-то мелочи самой мелкой.

И днем Оля ей не стучала, Оля перестукивалась с соседкой Лели — Струковой.

Струкова стучала топорно — —

И вдруг ворвался легкий, мастерской стук Лели:

— Тише, начальство!

А когда в тюрьме все стало по-обыкновенному, Леля:

— Я иду к тебе!

Так и помирились.

На Олю напало: как ночь, не спит, а утром до одиннадцати в кровати.

Леля:

— Я придумала: ты обвяжи себе ухо ниткой и протяни нитку в окно, я в шесть за нитку дерну, ты и проснешься. А на следующую ночь заснешь крепко.

Но Оля не согласна: очень мудрено.

И опять Леля — еще выдумала:

— Давай мыть пол: от этого сон хороший.

— Я не хочу мыть, — сказала Оля.

— Ну, я еще что-нибудь придумаю.

— — —

Тюремные надзирательницы делились на «дам хороших», как Екатерина Ивановна: такие предупреждали разговаривать тише — не стучать, когда появлялось в тюрьме начальство; и никогда ни о чем не предупреждавших, напротив, это «дамы гадкие», «ведьмы».

И однажды гадкая ведьма застала Олю и Лелю за разговором.

Что только было: крик и гроза —
«донесу!»

А хорошая ведьма после и говорит:

— Вы хоть бы поосторожней были, когда дежурит Марья Петровна. Мне тоже попало: опоздала я на дежурство и всего-то на одну минуту — так она на меня, будто я виновата, и что вы разговариваете.

Леля и по этому случаю стихи написала:

о злой ведьме, которая стережет арестантов.

Только у Лели вышло, что нет злых ведьм, есть одни добрые, а злыми они становятся:

потому что, если исполнять устав при таком нарушении всегдашнем — эти стуки-разговоры! — то и самый добрый человек озлится.

Как-то сейчас же после поверки Леля неспокойно простучала:

— Я иду к тебе.

Еще рановато, но Оля взяла подушку и к радиатору.

— Оля, меня завтра выпустят.

— Откуда ты знаешь?

— Мне сказала Екатерина Ивановна.

(Екатерина Ивановна — «добрая ведьма».)

И всю-то ночь проговорили.

— Оля, будешь ли ты вспоминать меня — мой голос из могилы? Ведь я под тобой, как в могиле!

— Буду, Леля, всегда.

— И я никогда не забуду твой «с неба». Мне, Оля, страшно хочется жить. Я люблю всю жизнь. Всякую травку. Я и дождик люблю, Оля.

— Вот на воле ты завтра —

— Я знаю... Но мне чего-то горько. В лесу я смотрю на корни, на листья — осенью особенно, когда в лесу тихо. Осенью особенно. И так бы все всосала в себя... Зажмуришься и не шевельнешься. И чего-то горько.

— Это ты в тюрьме, а как выйдешь —

— Нет, Оля, это что-то другое.

— А какая ты, Леля, расскажи!

— Завтра увидишь.

— А почему у тебя такие худые руки?

Леля не сразу ответила.

— Такие уж — — А ты сильная, Оля, я знаю. По голосу, по шагам. А какие у тебя глаза?

— Меня, когда я была гимназисткой, называли «совой».

— Да, да, я вижу... Я тебя, Оля, никогда не забуду.

Леля приготовилась к завтрашней воле. Оля дала ей всякие поручения: и куда пройти и что сказать. А прошел день — не выпускают. И неделя — Леля сидит. Месяц кончается —

Когда Лелю повели на прогулку, она улучив, минуту, спросила «хорошую даму» Екатерину Ивановну:

— Почему вы сказали, что меня выпустят?

— Да возле вашей камеры ножницы упали!

— — —

И еще прошел месяц. Начался сентябрь.

Лелю выпустили внезапно — крепкий стук к Оле в неурочный час днем:

— Я иду к тебе.

Оля взяла подушку и к радиатору.

— Меня выпускают.

— Леля! до свидания!

— До-свидания! — и Леля спрыгнула...

А Оля стала на стол к окну: с четвертого этажа ей виден тюремный двор —

подъехал извозчик,
вынесли вещи,
вышла Леля —

Так вот она какая! Оле показалось:

— — тоненькая, мордочка остренькая, лисичка!

И она стала ей махать.

А Леля — тоненькие руки свои так крестом
и к Оле от самого сердца, точно хотела
все сердце отдать маленькое Оле —

Оля никогда не забудет.

В первый раз она ее увидела и больше не
увидит: вскоре после тюрьмы Леля померла
от туберкулеза.

Извозчик скрылся.

Один пустой тюремный двор.

Оля осталась одна.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Воробушек, птичка малая,
О чем щебечешь в плену?
Тоска небывалая
Приводит все песню одну.

Оля очень горевала, так горевала, точно кто помер близкий. Безумная была тоска. И никак не могла успокоиться.

Поздно вечером все ей кажется, кто-то кашляет в камере — в «могиле», где сидела Леля.

— Леля?

А в ответ ей только смотрят пустые, непреклонные стены.

— — —

Обыкновенно время в тюрьме шло быстро: от понедельника до понедельника — не заметишь. В понедельник моет пол «уголовная», переводят в пустую камеру и оттуда можно стучать, этим стуком и начинается неделя.

А теперь от понедельника до понедельника дни бес-ко-нечные!

⁂

В «могилу» на место Лели посадили Смолину: ее уж во второй раз сажали, теперь по приговору на два месяца.

Смолина научила Олю передавать записки в переплете.

И еще посоветовала:

что хорошо в тюрьме изучать какой-нибудь иностранный язык

А когда подошел срок ее тюрьмы, Оля дала ей поручение к Федору Ивановичу.

Ф. И. Котельников тоже был арестован по «делу» Оли и, как всегда, его подержали несколько месяцев и выпустили. У него ничего не нашли, как и у Оли ничего не нашли, и улик не было, а против Оли были показания Хвостова, в которых он много чего напутал.

Чтобы поверил Федор Иванович, Оля дала Смолиной такой признак:

пусть она напомнит, как Оля ночевала у них, когда жили они в Лесном, в той комнате, где солнце с пяти светит.

— А когда выпускают, — спросила Оля, — что же бывает?

— Везут в карете в Жандармское, там подписать надо бумагу об освобождении, и на извозчике с вещами домой. И кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости.

Смолину выпустили.

И вскоре Оля получила от нее бутылку супу, а в супе — записка. А от Федора Ивановича учебники: французский и немецкий.

⁂

За одинокие месяцы без Лели Оля много передумала.

Оля вспомнила Соню Ефимову и приняла ее —

ее слова, как она сказала, что «ей мила Оля, как человек, и не важно, с.-р. или с.-д»

Соне Ефимовой она тогда и письмо написала, просила не сердиться.

— Да, важно, чтобы в человеке был человек.

Ведь все, кто ей помогали, были с.-д:

> и Игнатьева, которая научила ее азбуке,
> и Степанова — «крепко целую и горячо обнимаю»,
> и Лаптева, с которой Оля первое время перестукивалась,
> и Смолина,
> и Леля —

Единственная Белкина, она сидела вместо Лаптевой —

> ей на свидании сказали, что ее выпустят на днях, и об этом она постучала Оле

— Можете передать на волю зашифрованное письмо? — спросила Оля.

— Если там не будет с-р‘ского содержания.

— Лежачего не бьют, — резко простучала Оля, — у нас тут не такой порядок: все друг другу помогают, не рассуждая, кто с.-р. и кто с.-д.

— Нет, дайте, я передам! — спохватилась Белкина.

— Ни-когда.

Да, в тюрьме не было различия: с.-р. и с.-д. Никогда никто не отказывал друг другу.

Больше всех помогала Лаптева:

> она сидела два года, каждую неделю у нее было два свидания; кому угодно, она помогала, все ей стучали, безразлично — какие шифры, все, что хочешь.

Оля не помирилась с «материализмом», но с человеком — —



В начале зимы приехала из Ватагина Ирина: ей дали свидание с Олей в Жандармском.

«Дело» Оли вел тот самый полковник Струнский,

о котором у Оли осталась неприятная память — разговор его тогда по поводу ее ареста, и как он отпустил ее, потому что «она очень молода и не боится жандармов». Тогда Оле было шестнадцать лет, а теперь девятнадцать. Тогда Оля даже не знала, «чего надо знать», а теперь она знает.

После свидания с Ириной, полковник Олю допрашивал и, как всегда, без толку.

— Я думал, — сказал полковник, — на вас хоть свидание с сестрой подействует!

И еще раз дали свидание с Ириной, но уж в Предварилке.

И полчаса — срок свидания — показались Оле за минуту.

Все земляное — черная ватагинская земля, сад — густой заросший с грушами, с вишнями, с яблонями, с барбарисными кустами, все кровное, крепкое, как эта теплая черная земля, ощутилось так близко, так захватывающе — до боли.

От Натальи Ивановны долго скрывали. И лето прошло, а Оли все не было. Выдумали, будто Оля к кому-то на урок поехала. Олины письма из тюрьмы, что желтым перечекнуты — цензурованные жандармами не передавали. И только те, где жандармы забывали перекрестить желтым, показывали. Но скрыть уж нельзя было.

Беспокоилась и любимая бабушка Татьяна Алексеевна, что нет и нет ее Оли. И в один прекрасный день, не выезжавшая век из Меженинки, она собралась и вместе с Анной Павловной, нагрянула в Покидош к Марье Петровне Вольской.

«Покажите мне газету, — сказала Татьяна Алексеевна, — не написано ли там, что Олю арестовали?».

«Вот еще что выдумали! Да разве про это пишется?»

> Татьяна Алексеевна в тот же день уехала в Меженинку. Да, больше невозможно было скрывать. И сказали: и Наталье Ивановне и бабушке.
>
> Наталья Ивановна очень тревожилась: ей представлялось, что Оля сидит в арестантском халате, в подвале, как рисуют на картинках. А бабушка, тетушка и Анна Павловна — молились.

Перед Рождеством и еще раз дали свидание с Ириной и она уехала в Ватагино.

Оля, захваченная памятью о доме, думала, что никогда уж она ни с кем из домашних не поссорится: уступать будет — никогда ничем не огорчит ни Наталью Ивановну, ни бабушку, ни Ирину, ни Мишу, ни Лену.

И вспоминая всех — все обвиняла себя, что мало любила их.

Душа ее горела и жестоким судом над собой и любовью к ним.

И, когда под Рождество от Котельниковых с передачей принесли ей карточку Наташи, она так обрадовалась и порывистым стуком простучала соседке:

— Я умерла — —



Трудно было стучать к Зине на верх через камеру.

Оля ей всегда стучала, и когда Леля была, стучала, а теперь, когда Лели не было, все — для Зины.

Ведь Зина понимала Олю, как сама говорила, по движениям ресниц, и всегда говорила, что любит Олю больше, чем Оля ее. Так и все говорили. Так и сама Оля думала.

И теперь Оля часто об этом думает и обвиняет себя, что меньше любит ее, и всегда меньше любила, а когда ссорились, первая подходила Зина. И раз после такой ссоры карты подарила, игрушечные кар-

ты, чтобы что-нибудь подарить, на большее денег не было.

А отчего ссорились?

Или отого, что душа ее как-то по другому? Вот Леля и с.-д., а по душе куда ближе. Нешто Зина скажет, как Леля, «что она — — и дождик любит»! Зина иногда говорила такое, отчего было досадно на нее: очень как-то грубо и не в слове, а в самой мысли — —

Трудно было стучать Зине — только по трубе.

Оля выдумала особенную азбуку —

чтобы никто не понимал их разговор.

Стучит она по вечерам, как когда-то Леле.

Зину раньше должны выпустить: ее и меньше обвиняют и меньше ей придают значения.

— Я, Оля, не хочу, чтобы меня выпустили.

— Почему Зина?

— Что ж я на воле без тебя буду делать? Если ты будешь сидеть, то мне и воли не надо.

И однажды после такого разговора Оля спросила себя:

согласилась бы она быть на воле, когда Зина сидит?

И ответила:

«Согласилась бы».

И стала обвинять себя.

Но что же поделать-то, когда ясно говорится в душе:

да, согласилась бы!

«А Зина вот говорит, нет!»

Летом Зина всякий раз, когда Оля гуляет, цветы из окошка бросала ей.

Если на прогулке случалась надзирательница «добрая ведьма», Оля поднимет цветы и унесет в свою камеру. А когда «гадкая ведьма», Оля только смотрит и улыбается от радости:

Зина помнит, это слова ее — как цветы.

— Ты, Оля, тоже в две косы волосы заплетай и ходи так, чтобы мы с тобой были одинаковы. И кофточками давай поменяемся: ты в моей кофточке, а я в твоей.

Оля заплела две косы и ходила так — как Зина.

В пятницу Олю водят в баню и она оставляет там, припрятав, свою кофточку для Зины. А через неделю — в пятницу находит, тоже спрятанную, кофточку Зины.

И они, как одна, одинаково ходят — в две косы:
на Зине — красная кофточка Оли,
на Оле — голубая Зины.

В разговоре часто вспоминают Сергея, брата Зины: проводы до Серпухова, метель и как потом ждали письма —

Зина была тогда уверена, что Сергей напишет или ей или Федору Ивановичу, и ходила всякий день к Федору Ивановичу справляться, а получила-то первая Оля: «Многоуважаемая и милая Оля!» — начиналось письмо. «Кто получил первое письмо?» — задорно спрашивала Оля. «Да ты, ты!» — как детям, отвечала Зина, глядя с восхищением на Олю.

Как-то под вечер, когда зажгли электричество, раздался по трубе сильный стук.

— Прощай, Оля, — стучит перепутывая буквы Зина, — меня выпускают.

— Пр — — Оля только и успела простучать две первые буквы и услышала резкий звук крест-на-крест: значит вошла надзирательница, собирают вещи.

А вот и дверь стукнула —
шаги по лестнице.

Оля к окну —
зима — темно на дворе, едва различает:
карета — это для Зины, в Жандармское

повезут!
карета пропала —
И темная темь закрыла окно.

Оля представляет себе:
как Зина в Жандармском —
подписала бумагу —
отдали вещи —
извозчик — едет домой.

«И кажется, — вспоминаются слова Смолиной, — все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, и дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

А в камере пусто и одни стены сурово.

Оля нет-нет да и подойдет к трубе, послушает: не стучат ли? — нет, не стучат! Постучит — нет, никто не отвечает. Вот будто она закашляла... нет, это показалось.

По ночам часто снится Зина:
то будто через Неву переезжает с ней Оля,
то будто Шевченковский вечер, и опять они
вместе, и очень весело.

Оля получила передачу от Зины и в передаче записка:
« — для меня нет воли, пока ты сидишь в
тюрьме!» —

А прошла неделя и нет ни передачи, ни писем.

— Значит, Зину выслали!



В тюрьме все знали, что делается на свете.

Постоянно входили новые — через расспросы да через передачи все и узнавали.

К концу зимы всех выпустили, кто был с Олей, и только одна осталась в тюрьме Оля.

Оля занималась французским и немецким, как ей

посоветовала Смолина, и это помогло ей заполнять длинные одинокие дни. Времени было очень много — на перестукивание уходило все меньше и меньше, и только книга: Оля читала и думала.

«Вот у меня все отняли, что есть жизнь, — думала Оля, — а за то, что хотела отдать себя для воли других. Тюрьма не несчастье, тюрьма только неприятность, надо вынести эту неприятность и тогда еще светлее и радостнее будет начатый путь. А Хвостов на воле: он достал себе волю тем, что других лишил ее надолго!»

— — — — — — — — — — — — — — —

На тюремном дворе лежит снег.

Стоит недоделанная снежная баба:

эту бабу Оля давно делает и не может окончить: прогулки коротки.

Оля взяла полную пригорошню снегу и взглянула вверх —

небо!
кусочек неба и звезды!

«Вот чего от меня не отняли! Неба не отняли! И никто не властен его отнять. А вот Хвостов сам от себя отнял: для предателей нет неба!»

— — — — — — — — — — — —

Оля вернулась в камеру.

В глазах ее было небо и звезды.

Она его видела и такое звездное еще в детстве: также снег лежал, стояла снежная баба, а она с отцом шла в церковь ко всенощной.

«Оно вечное. Его люди не могут отнять. Только сам человек может его уничтожить. Да, тюрьма не несчастье, а несчастье — вот когда неба не будет».

— — — — — — — — — — — —

Оля стала молиться.

На воле редко она молилась, а тут целыми часами выстаивала на коленях.

Не по молитвеннику, своими словами она выговаривала свою молитву:

и благодарила — за волю,
и просила — о воле.



По обыкновению Оля встала в семь, до десяти убиралась, села заниматься.

Неожиданно вошла надзирательница;

— Собирайте вещи, вас освобождают!

— Передайте это в № 16! — Оля показала на книги, и еще кое-что было у нее из передачи.

— Я не могу.

— А тогда я не выйду! — Оля сказала твердо.

— Хорошо, хорошо, я передам.

И пошла, а Оля стала одеваться.

И стены вдруг как осели, просетились — не узнать, и не поймешь: и было и не было, как во сне.

Олю повезли в Жандармское.

И когда она подписала бумагу и вышла: у подъезда ждал извозчик с вещами — —

«Когда выпускают, — вспомнилось, — кажется, все тебе улыбаются, только о тебе и думают, будто все радуются, и, если и дождик, солнце светит, а дома такие ласковые, хочешь слово сказать и не можешь, захлебываешься от радости».

Но где же? где же все это? — и такая весна, а из души угрюмо смотрят серые каменные стены — ст...

И Оля заплакала.

ПРОЩАНЬЕ

Оле разрешено было остаться на месяц в Петербурге:

держать выпускные экзамены.

Выхлопотал любимый профессор Воркунов: Олю считал он коноводом всех курсовых историй и бес-

порядков, но горячность ее и убедительность и как говорила она — «всегда на суть и во всеоружии» — покорили его, он смотрел на нее с улыбкой, прощая ей все ее выходки.

А не Воркунов, Олю тотчас бы выслали.

За месяц — Оля была убеждена — к экзаменам она подготовится и, когда кончится «дело» и выйдет приговор, поедет она в ссылку с дипломом.

Этот месяц Оля жила у Котельниковых.

Книги, о которых так беспокоилась Оля, к великому ее счастью, оказались все целы: сберег Федор Иванович.

> «Куда пропали мои книги? — писала она из тюрьмы, — это ужасно! самые дорогие для меня книги пропали: Некрасов, П. Я., Гревс, Николай — он, Ключевский, может быть, и еще пропали какие-нибудь. Нина не пишет, с ее стороны это просто варварство, ведь она знает, как я дорожу книгами, знает, как беспокоюсь о них, особенно здесь в тюрьме, где у меня одна отрада — книги, и она мне не пишет. Ужас! Я считала ее добрее, но теперь вижу, что и в ней так же, как во всех людях, ошиблась. Все люди гадкие, только малая крупица хороших. Это я умом знала уже давно, но только здесь, в тюрьме, я это поняла, потому что почувствовала, насколько мерзки, мелки, изменчивы, самолюбивы люди, о, как я их ненавижу!»

— Ну, вот видите и нечего было так сердиться и тревожиться!

А когда Оля рассказала о Леле и о других своих соседках, с которыми она перестукивалась за свой тюремный одиночный год, а рассказывала Оля с любовью —

— А вы писали, что и людей ненавидите, — заметил Федор Иванович, — нет, если вы и ненавидите,

то лишь мелкие черты человеческие: трусость и самолюбие. А ведь это и сам человек в себе ненавидит!

**
*

После тюрьмы Оля никак не могла успокоиться.

«Что же это такое она оставила в тюрьме и чего не было на воле?» — спрашивала она себя.

«Там хорошо думалось, это первое, и еще — — , и она долго не могла себе сказать, какая там еще отрада была? — — а вот в чем: не знаешь ведь, как жить, а там ждешь освобождения. А теперь — чего ждать?»

Экзамены шли хорошо.

Не экзамены, а вот это мучило Олю:

«чего ждать — чем жить?»

«Буду ждать приговора, — решила Оля, — а выйдет приговор, буду думать, что дальше делать?»

На этом и успокоилась.

Но тут опять все перевернулось.

В день своего освобождения Оля послала телеграмму Зине: «здравствуй, родная!» — это и означало, что Оля вышла на свободу. И вот получился ответ — трудно было поверить, что писала Зина.

Оля перечитывала и глазам не верила:

сухое официальное письмо!

Что же такое произошло?

— Да какие-нибудь мелочи, — сказал Федор Иванович, — что-нибудь такое передали ей: на самолюбие ее. Помните, еще Орлова удивлялась ей, что она безропотно принимает от вас всякую резкость. Ну, и тут что-нибудь сказано было. А она поверила.

Возможно, что Федор Иванович был прав.

Да, там так хорошо думалось: там я думала — судила себя — обвиняла и оправдывала, там мне сны снились веселые, там я молилась... а на воле опять будет стыдно молиться. Я скрывала от всех свою веру в Бога и очень редко молилась, а в тюрьме... свободно целыми часами стоишь на коленях и молишься. И

еще не умею сказать, какая отрада была в тюрьме, почему мне ее так жаль. Один голос говорит: «жаль тех, кто там остался». Я радуюсь этому голосу, он меня подымает в собственных глазах. Но другой голос против: «Не в этом дело, говорит, жить, как, ведь не знаешь, а там ждешь освобождения; чего теперь будешь ждать?»

Ночами она ходила по комнате, как в своей тюремной камере, не могла спать.

— — —

«Так, стало быть, она меня не любит? А казалось то, все так думали, и она сама так думала и я так думала, что она меня любит гораздо больше, чем я ее. Как же это так? — — И значит, не любила? А если не любила, то кто же любит-то? Или правы неразлучные Лида и Ира, когда объясняют свою неразлучность, «не потому что любовь, а привычка — с детства жили, дом против дома».

Письмо Зины больно ударило, сильнее всех бедовых тюремных дней, вскрывавших и предательство и трусость — все те мелкие черты человеческие, что и сам человек в себе ненавидит.

«А ведь будто и любила? А может, и любила, да верности не было!»

Оля страшно мучилась, ночей не спала.

— Мне важно, как Бог все видит — сказалось у ней и успокоило: — я верю только Богу.

***

Оля вернулась с экзамена поздно.

А без нее приходила Лаптева: Лаптева, узнав, что Олю выпустили из тюрьмы, непременно хотела ее видеть. Но ждать не могла:

> она сегодня уезжает с отрядом «на голод» и очень просила Олю притти на Николаевский вокзал в одиннадцать часов.

Оля никогда не видала Лаптеву, только перестукивались. В тюрьме Оля многому от нее научилась.

И все, кто сидел за эти годы, много добра от нее видели.

Оле непременно захотелось ее увидеть.

— Какая же она? — допытывалась Оля у Людмилы Николаевны.

Людмила Николаевна последние недели все дома: Наташа лежала больная. Людмила Николаевна разговаривала с Лаптевой.

— Очень хорошая, только измученная.

— Еще бы: сидела два года!

— А сколько человек поднять может! — заметил Федор Иванович, — после тюрьмы и на голод: а это не легко.

«А ведь это все вера, которая движет и творит, вера — помочь другому — что-то пересадить, кого-то поднять вот этими руками, этой волей, в мире, устроенном судьбою непреклонно раз и навсегда — великое человеческое сердце, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона!» Так этого не сказалось, но так прошло сквозь мысли, и стало бодро и надеянно в комнате, где помирала Наташа, которая так недавно еще, на Рождестве Коляду пела, вспоминая Олю.

Оля очень усталая, а пошла на вокзал.

И они узнали друг друга, поздоровались.

— А я думала, вы гораздо больше! — сказала Оля.

— Это я в тюрьме так изменилась.

Оля дождалась третьего звонка. И пока поезд из глаз не скрылся, все стояла, провожая: вместе с Лаптевой укатило с огоньками и еще что-то — тюрьма — тюремное —

самые первые дни тюрьмы были связаны с ней.

И больше не с кем уж встретиться и вспомнить — все давно разъехались.

И у Оли — последние дни: скоро кончится срок — месяц, последние экзамены.

⁂

А последние дни — была такая необыкновенная весна — весна ведь только в России, потому такая и Пасха только в России — уж ночи забелели, белая ночь над Петербургом и маленькие звездочки.

Померла Наташа.

Наташа померла от туберкулеза в три недели: трудное очень было время, Людмила Николаевна ходила на работу, а Наташа у соседей, а там больной был. Как потом выяснилось: подбирала она конфетные бумажки и в рот, — так и заразилась. Как из тюрьмы Оля вышла, подарила Наташе Э. Т. А. Гофмана, Щелкунчик, с картинками. И читала ей — Наташе очень понравилось. И в самые последние дни все разговаривала, все мышиного царя поминала и какую-то еще мышку: мышка к ней приходила с огоньком, как голубая веточка. А совсем перед смертью она вдруг вспомнила, как Оля говорила ей — Оля, прочитав у Толстого, что в наше время человек порядочный только в тюрьме и может быть со спокойной совестью (и это ей очень понравилось!), сказала Наташе, что все хорошие люди сидят в маленьких комнатах, и будет ли она, Наташа, сидеть в такой маленькой комнатке — в тюрьме? — «А что такое, в тюрьме»? спросила тогда Наташа. «Такой большой дом гадкие люди построили». «Из кубиков?» — и вспомнив все эти слова, сказала, точно хотела Олю обрадовать: «Буду, Оля, буду, в маленькой комнатке вот — — в такой». И растопырила пальчики, как кубик представила. А такой — оказался для нее гробик, Оля его цветами

убрала и, как птичку положила ее, как того Лелиного воробушка на тюремном дворе. И с ней любимого ее лягушенка — — единственную ее игрушку.

И с Наташей отошло от Оли и еще что-то— какая-то жизнь до-тюремная, какой-то Петербург — Курсы, дни, когда Оля еще не знала, чего надо знать, и всем верила.

На другой день после похорон, получив диплом об окончании Курсов, Оля уехала из Петербурга.

Котельниковы и на возкал ее проводили: одни они оставались в Петербурге — и Наташи нет и Оля надолго: когда-то вернется!

Федор Иванович хотел было крикнуть: «да здравствует революция!» — а сказал кротко:

— Не забывайте, Оля, пишите!

И Оля долго видела, как они стояли, прощаясь, одни на земле с своей верой и сердцем, для которого нет никаких граней, никаких стен, никакого закона, — память о них Оля сохранит на всю жизнь.

ЧУПЕРАДЛО

Не заезжая в Ватагино, Оля проехала прямо в Покидош —

ей надо было получить в Полиции временное «проходное» свидетельство, по которому она и будет жить до приговора.

Когда Оля вышла на станции и садилась на извозчика, она вдруг увидела Черкасова: он стоял у выхода из вокзала — тоже увидел Олю, снял шляпу и кланялся.

Оля очень обрадовалась: и потому, что здешним повеяло, и видно было, он нисколько не сердится на нее — а ведь Олю мучило: как тогда в лечебнице на Таврической она отворила дверь, «заманила» его и дверь за ним захлопнулась! — и еще показалось ей,

как будто чем-то был он занят, и ей подумалось, что старого не повторится.

И с извозчика Оля с ним ласково поздоровалась.

Оля поехала к тетке Марье Петровне Вольской: Оля знала, что Марьи Петровны нет в городе, квартира пустая и только что прислуга осталась. И это хорошо, Оля может тихо прожить неделю, а потом и домой в Ватагино:

о Ватагине — о доме Оля думала, зажмурившись, и особенно сад — так бы сейчас и прошла по дорожке —

Оставив вещи у тетки, Оля вышла неподалеку — к Марине Заветновской.

Марина Заветновская была первая подруга Оли: все первые гимназические годы жили они вместе, все страхи и все проказы вместе — это Марине, живя в пансионе Линде, Оля затеяла сделать длинные ресницы и вымазала мазью по рецепту Веры Сахаровой и княжны Шах-Булатовой, так что и последние выпали.

Марина уж вышла замуж за студента Соловьева, товарища Черкасова, и ожидала ребенка. Она была одна в доме. Как обрадовалась Оле!

Марина все знала о Черкасове — больше, чем весь Покидош знал! — она знала его еще черненьким гимназистом, у которого была «симпатия» Оля. И когда Оля рассказала ей, как встретила Черкасова, как с извозчика поздоровалась —

— Что ты, Оля, ведь он же мог подумать — — !

И только что за стол сели чай пить, звонок.

Марина постеснялась выйти, пошла отворить Оля.

А это Черкасов —

Совершенно случайно, так объяснил он, он и не думал встретить тут Олю!

И голос его подтвердил Оле ее первое чувство, что Черкасов здоров, совсем оправился и о старом не может быть помину.

На расспросы Оли он отвечал толково и ясно:

он рассказал о смерти Федора Фалалеича, как это все случилось необыкновенно.

— Чудак, вообразив себя журавлем, отказался от обыкновенной еды и по-немногу навострился клевать зерна, как сам журавль, но голод не тетка, соблазнился блинчиками, ел блинчик, вилкой попал в нёбо, прикинулось болеть. Так и помер с одним носом и глазами.

И еще рассказав и уж не такое происшествие, а обыкновенное из Бобровской жизни, стал расспрашивать Олю о тюрьме, о Рашевском.

Слушал он внимательно, горячо и только, когда Оля рассказала, как вместе с Зиной провожали Рашевского до Серпухова, он вдруг переменился: насупился, подавленный мыслью.

И скоро вышел.

За разговорами с Мариной прошел весь день: весь год Оля никого не видела, а за этот год много чего случилось — сколько подруг Олиных вышли замуж: —

> и Катя Козловская и Лида Оленина и Маруся Иванович и Лиза Милорадович и Шах-Булатова.

— А ты помнишь бабушку, на Бабу-Ягу похожа?

— Помню, конечно.

— Померла в день свадьбы: от огорчения, говорят, очень любила внучку, а другие говорят, на зло.

Да, много чего было и помянуть и узнать.

Оля и обедала у Марины и после обеда пила чай и только под вечер вышла.

И только что она вышла, смотрит, а за углом Черкасов: стоит, ждет.

— Я вас все время тут ждал, — сказал он, и стал просить Олю пройти с ним в Казенный сад соловья слушать.

И, как когда-то, Олю охватила ненависть: опять какие-то права следить за ней.

— Нет, я не пойду! — резко ответила она.

Он проводил ее до дому.

И уж совсем по-другому, не как встретя, Оля простилась с ним — и это так само собой вышло.

А с тех пор всякий день Черкасов караулил Олю: он выстаивал часами, дожидаясь у ворот или за углом, и всякий раз провожал ее до дому:

он опять говорил ей, как ее любит, и как еще гимназистом, когда она была совсем девочка, он в первый раз увидел ее в церкви и с первого взгляда полюбил ее, теперь он понимает, и чего ни захотела бы она, он все для нее сделает.

И, как тогда летом, в глаза ему было жутко смотреть.

На Олю это страшно действовало и однажды она ему сказала, сама переменившись, как когда-то в Петербурге, когда он всякий вечер заходил к ней:

— Лучше, я думаю, нам никогда не встречаться.

От постоянного раздражения — и так после тюрьмы расстроенная — Оле стало чего-то страшно в пустой квартире у тетки, и она перебралась к Нине Мавлютиной.

Черкасов, верно, уехал в Бобровку — больше Оля его не встречала.

Другая беда: всякий день к Мавлютиным стал приходить студент Оводов — «Чуперадло» —

это так, как Фрид — Бедненький, Ильина — Идеал, Бордонос — Колода, а Оводов — Чуперадло.

Оводов не раздражал Олю, как Черкасов, но надоел с разговорами ужасно. И не было минуты остаться вдвоем с Ниной.

Оле хотелось, хоть последние дни, провести тихо и спокойно, и она упросила Елену Ивановну:

когда явится «Чуперадло», сказать, что ее дома нет.

Елена Ивановна согласилась. А чтобы все хорошо вышло, решили, не предупреждая Олю, сделать репетицию:

за Оводова звонила Катя, а отвечала сперва Елена Ивановна, потом стала Нина.

Оле это слышно — и раз поверила и другой раз поверила, а потом не обращает внимания, думает: репетиция!

И вот слышит: опять звонок — и голос Елены Ивановны:

— Оли нет дома.

А Оля, не придавая значения, правда это или неправда, распахнула дверь и — отступила:

в прихожей прямо против нее стоял «Чуперадло».

«Чуперадло», дико взглянув на Олю, замотал головой и, бормоча какую-то ерунду, скрылся.

Елена Ивановна напустилась на Олю.

— Вы меня лгуньей выставляете! Я больше никогда не буду за вас. Как хотите, так и делайте. А то я: «дома, говорю, нет». А вы тут — высунулись. Это невозможно.

Елена Ивановна очень сердилась.

И хотя Нина и Катя уверяли, что «Чуперадло» ничего не заметил, но Оля-то была убеждена, как и Елена Ивановна, что он видел и, должно быть, обиделся.

На другой день Оводов пришел уж безо всяких.

Нет, он не обиделся, хуже:

— Я кажется, схожу с ума. — сказал он, — у меня начались галлюцинации: я всюду вижу вас, вчера я заходил к вам, говорят, нет дома, и вдруг стена раздвинулась и вы появились на пороге. Я хотел крикнуть, а вас уж нет. А сегодня, иду мимо каланчи, задрал голову посмотреть и опять вы, отчетливо вижу, но тут кто-то окрикнул, и все рассеялось, никого нет.

— Вы не должны меня так часто видеть, — сказала Оля.

А вечером весь Мавлютинский дом помирал от смеху: и кто больше смеялся — Катя, Оля, Нина или сама Елена Ивановна.

Елена Ивановна пересердилась и готова была что-нибудь еще сделать такое же для Оли.



Последний вечер Оля провела с Ниной.

Оля узнала от Нины такие покидошенские новости, какие не могла ей передать Марина:

Фрид — «Бедненький» уехал с женой заграницу; гостила Ильина и куда-то опять поехала, очень хвалила Олю за то, как в тюрьме себя гордо держит на допросах, и думает, что Олю вышлют куда-нибудь на север — в Архангельскую губернию или в Вологодскую, куда подальше, и одно ее смущает, она боится, что из Оли не выйдет революционерка до конца: «червь у нее есть мистический и это помешает!»

— Рашевский из Сибири убежал, — рассказывала Нина, — и как ведь все вышло: добрался до самой границы — сколько месяцев! — а там его и арестовали; теперь назад по этапу идет, но не как Рашевский, имя он скрыл, а как бродяга Иван Непомнящий. Вот это настоящий революционер!

— И опять убежит, — уверенно сказала Оля.

— А как нам — что делать?

— Надо дождаться приговора, — сказала Оля и словно чего-то не договорила, — и тогда решить.



— — — Оля отворила калитку. И очутилась в саду. И пошла по дорожке к дому. Дома за деревьями не видно — дорожка привела ее к дому. Она растворила дверь и остановилась —

— — в углу под лампадками у образов си-

дела старуха в черном. Окна раскрыты: тихий теплый яркий день. И от яркости дня еще изможденнее и бледней показалось лицо старухи. Старуха подняла глаза — о чем-то думала — глаза посмотрели на Олю такие большие и такой жгучей тьмой.
«Что ты, Оля, боишься, — сказала старуха, — или не помнишь?»
И по голосу Оля все припомнила: да ведь это бабушка княжны Шах-Булатовой! И в памяти прозвучали слова, как тогда сказала старуха: «ты должна посвятить себя Богу — — »
«Ну, здравствуй, Оля, а я тебя как ждала! Когда-нибудь пожалеешь».
«Я хочу жить по правде!» — сказала Оля. И сделала шаг к старухе — — и костлявая рука старухи опустилась ей на плечо: пуды легли.



— — — по лугу шла Оля по цветам. Тихий теплый яркий день. По дороге яблоня в цвету и в каждом цветке огненный язычок. И вдруг по небу стая лебедей. И все ближе. И один лебедь отделился от стаи и прямо к яблоне. Коснулся крылом, и, вспыхнув, понесся вверх. И горящий — крылатый огонь! — плыл по небу — — —
— И упал.



Чуть рассвело — поезд подошел к Хомутам.

На станции Олю встретил Миша.

Оля от радости горела и, как когда-то, она всем улыбалась; и не могла слова выговорить, спросить Мишу, но сразу же почувствовала, что все, все ждут ее.

Вещи взял Миша на телегу — их повезут отдельно. А Оля с ним в бричке.

— Ну, как ты теперь? — спросил Миша.

— А на, посмотри!

Оля вынула из сумочки свернутую четвертушку — свое «проходное» свидетельство:

> — — — что Ольга Ильменева «обязана нигде не находиться, а в случае неисполнения этого требования будет отправлена по-этапу».
>
> А в особых приметах значилось: «лицо приятное».

— Нигде не находиться! — рассмеялся Миша.

Оля уселась в бричке и смотрела по сторонам, здоровалась: и с тополями и с тем бесконечным полем, над которым серый еще копошился рассвет.

— А знаешь, Оля, — Миша подобрал возжи, — застрелился Черкасов.

И в ответ — она почувствовала, как прошел холод — и на миг все пропало и тополя и поле —

— — —

Оля глубоко перекрестилась.

Лошади тронулись —

бесконечное поле!

А в копошащий серый рассвет чиркнул луч — и все зашумело, и какая-то птичка зачивикала, неугомонная из всех шумов земли и травы, и всех ближе, птичка-пересметушка.

ГОЛОВА ЛЬВОВА

КАК УЛЕТАЛИ ПТИЦЫ

> «В сумерки, он шел по пыльной улице, я видел, как его воздушное тело, перевитое дымом, бросало от тына к тыну, от осокоря к вишне, от вишни к тыну. «Нет ли тут колыбельки?» — спрашивал он. И просит у Бога указать ему маленькое сердце: «и самое беспокойное я успокою». Его жалобный голос выблескивал из черных коп выплывавшего месяца: «вот я дую и вею — и мои веки отяжелевают; я подымаю звезды — звезды летят, и когда последняя серебряная в моих глазах погаснет, я тихо засыпаю». — «Сон, — позвал я его, — иди к нам: у нас есть колыбелька и в колыбельке Оля».

Так нашептывала над Олей вещая, как сама черная земля, ее старая нянька, Татьяна — Фатевна. Но Оля этого не помнит.

Самая давняя память у Оли — первая — ощущение тепла и ласки: любимая бабушка берет ее, сонную, к себе на руки и несет на кроватку.

Ближе — память о страхе: Оля помнит зимний вечер, в доме у них гостит любимая бабушка, с чего-то Оля посмотрела в окно и видит — снег и там, ей кажется, где-то волки, и стало вдруг страшно; и еще: все дети — и сестры и брат Оли — сидят на ковре, и нянька, не Фатевна, а молодая, младшей сестры нянька, Маруся рассказывает сказку, — и тоже ощущение страха, как от тех призрачных волков, которые ходят где-то там по снегу вокруг дома; и тот же самый страх

чувствует Оля, когда ночью не спится, и слышно, как в окно ударяет ветка, или вдруг покажется, будто кто-то стоит за спиной. Потом уж — и это тоже из ранней памяти — это ощущение первого страха сказалось словом: «страх смерти» и «страшный суд».

Оля помнит вечер, все сидели на диване в столовой, брат Миша играл со стульями в «лошадки»: стулья стояли как раз под стенной лампой. Взмахивая кнутом, он ударял по лошадям, и вдруг раздался странный звук и вспыхнул огонь. И Оля подумала, что это «страшный суд»: потому что огонь и этот треск и отец всплеснул руками и сказал: «сын мой!» — так необычно торжественно обратился отец к Мише.

После «тепла и ласки», после «страха» память о первом возникшем вопросе: «откуда люди?» И с этого начинается «мысль». И как тайный гнетущий страх станет неотвязчив, так мысль — беспрерывна. Оля помнит, как, держась за руку с братом, такая еще была она маленькая, она спросила отца: «откуда люди?» И отец рассказал о Адаме и Еве.

Черниговская бабушка Анна Михайловна рассказывала детям о Робинзоне; любимая бабушка — костромская — Татьяна Алексеевна, про серого волка. Если бы любимая бабушка рассказывала не о сером, а о тех, которые выходят из ночи и бродят по снегу, было бы нисколько не страшно, а Робинзон — любимый рассказ: Оля постоянно просит бабушку повторять о том, «кто жил один». Оля помнит вечер: бабушка сидит у стола, а она рядом, в руках у нее горшочек из ее игрушечной посуды, и она спросила: «такой ли горшочек делал тот человек, что жил один?» — «нет, — смеясь сказала бабушка, — гораздо больше».

Кто-то из взрослых рассказал о войне, и этот рассказ вызвал страх, куда волки, страшная Марусина сказка, ночью стучащая в окно ветка и огонь и треск разбитой лампы. Оля, чтобы утешить брата, а напе-

ред утешить самое себя, сказала себе и потом брату, что «все это было при Адаме и Еве», и уж само собой разумелось, что никогда такого не будет.

Начавшаяся вопросом мысль не замедлила, показала себя.

За обедом мать сидит на одном конце стола, бабушка Анна Михайловна на другом; к киселю подали молоко, налили Оле в тарелку, и у бабушки полная тарелка. Ложка у бабушки не такая, как у других, а круглая с золотом. Бабушка вдруг говорит Оле: «дай мне молока из твоей тарелки!» Оля своею ложкой ей дала — несколько ложек — и не поняла, почему это надо? А вот она и понимает: она заметила, что мать и эта бабушка не любят друг друга, и бабушка, подозревая мать, хотела проверить, — то ли молоко ей дается, что и детям, или снятое?

Как-то поздней осенью Оля влезла на комод и увидала на яблоне-кислице — не было ни одного листа — на голой ветке яблоко. Не зная, как достать, Оля принесла палку и ударила по ветке — яблоко упало. В саду в груде желтых листьев Оля нашла это яблоко, — оно было очень вкусное. И Оля подумала:

«Значит — и кислица бывает вкусная, если так долго висит».

В сумерки залаяли собаки, как на чужого. Мать, глядя в окно, сказала, как это говорится всегда, когда никого не ждут: «кто это там?» А отец, проходя по комнате, сказала «это за моей душой!» И Оля подумала: «кто же за душой пришел?.. может быть, ангел? собаки лают на ангела?» А отец вышел в «хозяйскую» и там говорил с кем-то. Потом Оля услышала, что это приходили просить отца на свадьбу посаженным отцом: невесту звали Машей.

Оля помнит, как Маша пришла к ним — и показалась такой красивой в малорусском костюме, и отец ей дал золотых денег — и деньги показались красивыми. А скоро после свадьбы Маша умерла: Фатевна сказала — «от непосильной работы». И эти слова

няньки, как выжглись в памяти Оли, и со временем ее беспокойная мысль зацепит их и вынесет на свет.

К Ильменевым в Ватагино приехали Краснопольские — Лиза и ее мать, которую Оля называла «тетей»: она была двоюродная сестра отца. Лиза только что окончила институт. Они приехали вечером, чтобы переночевать и на следующий день уехать в город. Лиза показывала свои платья — вынимала из чемодана: Оле особенно запомнилось шоколадное. А тетя рассказывала, что у Лизы был жених, сватали ее, но она не вышла. И Оля с ужасом подумала: «как можно жить после того, как сватали?» С этим словом «сватать» почему-то соединялось у ней какое-то позорное дело, или она и не то, что поняла, а только почуяла все унижение для человека, которым торгуют, как вещью. Наталья Ивановна, занимая гостей, затеяла показать альбом и сказала тихонько Оле: «не говори, где Ирина, узнают ли?» Старшая сестра училась в институте и ее не было в Ватагине. Оля и хотела сделать так, как просила мать, но всякий раз, как открывали страницу, где была карточка Ирины, Оля, обрадовавшись, кричала: «Ирина!» И когда показывался альбом тете и когда Лизе, она не могла удержаться и своим громким радостным восклицанием предупреждала. На утро, проснувшись, Оля узнала, что отъезд Краснопольских отложен до завтра, потому что в соседних Лубенцах живет бывший тетин жених в очень плохом положении, и тетя хочет его видеть и помочь ему. Это рассказала нянька Фатевна и не Оле, а при Оле. Фатевна ворчала, что «пьяницам и сумасшедшим нечего помогать». Когда стало смеркаться, тетя предложила Мише и Оле поехать с нею в Лубенцы. Ехали в экипаже Краснопольских на их лошадях с их кучером. И это было очень интересно. Лиза осталась дома. По дороге Оля увидела двух в белом с огромными ушами и носами: они показались ей очень страшными — они сидели неподвижно в одних длинных рубахах. Они и вправду бы-

ли страшные, потому что тетя сказала: «не смотрите, дети». Оля подумала: «может быть, это волки переоделись в людей — очень длинные носы и уши!» В Лубенцах остановились перед избой и тетя туда вошла, а Оля с Мишей остались в экипаже. Тетя не долго пробыла и вышла, плача, а за нею, кланяясь ей в пояс, маленький седенький в эполетах. И всю дорогу тетя плакала. А этих страшных на дороге больше не было, а Оля очень боялась, что опять увидит. Дома Оля все рассказала Фатевне: и про страшных и про старичка в эполетах. А Фатевна объяснила, что страшные — вовсе не переодетые в людей волки, а два сумасшедших брата, тихие, по дорогам ходят, а старичок — пропоица.

**
*

Оля росла «задумывающейся» — мечтательной. Первая это заметила мать. Обыкновенно, уезжая в город и не сказываясь, что едет, иначе поднялся бы крик, мать сажала Олю около ее кроватки — такая желтая с ящиком, где хранились игрушки. Наталья Ивановна пробудет в городе с час, но могла бы и дольше: вернувшись, она найдет Олю на том же самом месте у кроватки — весь этот час Оля «продумала». Весь этот час ее мысли шли от предмета к предмету увлекательно, иначе бы стало скучно, и она подала бы голос — закапризничала. Потом уж эту свою способность к сосредоточенной мысли Оля назовет: «думать до конца».

Оля росла непохожая ни на сестер, ни на брата. Рано пробудилась ее мысль — слишком рано стала она замечать и, различая, уж не мыслью, а каким-то сердцем расценивала. Оля давно заметила, что много говорят «неправду», и оценила: «так не надо» — и когда она сама выростет, никогда так не будет делать.

Непохожее вызывает удивление, но чаще насмешку. И это тоже из первой памяти: когда Оля была маленькая, над ней всегда много смеялись, и Олю

это очень обижало — хотелось ей спрятаться. А спрятаться — охраниться — ей было никак и некуда.

***

Этот день был особенный, точно все сговорилось.

В столовой сидела мать за самоваром и с ней гости — две соседки. Когда вошла Оля, одна из говоривших, поджав губы, заметила:

— Потом скажу, здесь печка.

А Наталья Ивановна, взглянув на Олю, приказала:

— Ольга, выйди.

Оля не знала, о чем шел разговор, но поняла, что «печка» — это про нее; а не говорят при ней — боятся, что она расскажет.

«Я никому ничего не расскажу, мне надо верить!» — поднялось в ней из ее самого сердца крикнуть и так, чтобы все знали, но она, приглушив в себе этот крик, молча вышла:

«Как бы она хотела... никогда не вернуться!»

Оля вошла в комнату к отцу. Отец читал книгу. Оля постояла, но отец не обернулся. И она поняла, что она лишняя, и сейчас же вышла из комнаты. Пошла в сад.

На воле было свежо по-осеннему, деревья без листьев, но еще очень тепло на солнце. На скамейке сидела старшая сестра Ирина с двоюродной сестрой, своей подругой.

Ирина и ее подруги всегда над Олей смеялись. Они потихоньку расплетут ей косу и очень довольны, глядя, как Оля ищет ленту. Когда Оле дарили конфеты, она, не тронув коробку, положит в свою шкатулку к другим подаркам: она все бережет и совсем не из скупости, а потому что ей хотелось иметь с в о е, — и вот тихонько вытащат у нее из ее шкатулки коробку, Оля хватится, а им того только и надо, очень довольны, думают, что Оля не понимает. Но Оля все понимала, только не могла сказать: стеснялась.

Оля села возле них на скамейку. И, боясь их на-

смешек, вспомнила свою любимую бабушку, которая никогда не смеялась над ней и никогда не прогоняла от себя. Оля вспомнила эту бабушку и, как бы ограждаясь, сказала:

— Я похожа на бабушку Татьяну Алексеевну.

И на это поднялся хохот: и сестра и ее подруга со смехом стали уверять Олю, что она нисколько не похожа на бабушку Татьяну Алексеевну, а похожа — как две капли воды — на портрет, висит в гостиной: это какой-то прадед Ильменев — нос крючком вниз и рот изогнутый — Оля не любила этот портрет.

Едва сдерживая слезы, Оля поднялась и пошла из сада на сенокос:

«Как бы она хотела... уйти навсегда!»

И вдруг увидела: высоко, на самой высоте, над головой стая птиц — их было много, и одни летели быстрее, другие отставали.

И глядя, как улетали птицы, Оля говорила:

— Птички дорогие, прощайте!

И до какой глуби ее сердца был ей в эти покинутые минуты близок — и этот прозрачный воздух и эта воля — она следила, провожая далекими глазами: одни летели быстрее, другие отставали.

С тех пор Оля очень полюбила птиц.

СУПИРЧИК

Первую «неправду» Оля почувствовала в очень раннем детстве.

В Ватагино приехал из Киева дядя, брат Натальи Ивановны, с сыном, сверстником Оли. Играли в саду. Оля привыкла лазить по деревьям и быстро влезла на яблоню, где должен быть «наш дом». А Костя не может за ней: цепляется руками, а все на одном месте, ему непривычно. Оля давно сидит на яблоне. К Косте подошла гувернантка, подсадила его. И, когда он с ее помощью влез, сказала:

— Вот герой нашего времени!

— И все говорили, какой Костя ловкий — как на яблоню влез.

«Почему говорят и судят не по правде, — думала Оля, — и какой же это герой, когда без подсадки влезть не мог? а уж если кто герой, это она — но ее никто так не называл, а все говорили про Костю, какой он ловкий».

С пяти лет Оля начала читать книги. И в семь лет много прочитала из всяких приложений — и романов и повестей и рассказов без выбора, что попадало под руку — никто из старших не обращал никакого внимания. Оля прочитала Лермонтова «Герой нашего времени» и Пушкина «Евгений Онегин». Чтение было для нее упражнением мысли и слов. В стихе о Ленском: «поклонник Канта и поэт» — имя Кант она принимала за «кант» — выпушка на кофточке.

К этому времени относится одно загадочное явление, описанное Гоголем: окликающий голос, который преследовал Олю.

«Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя — рассказывает Гоголь из своего детства, — день обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду». А страх этого «таинственного зова» был ни с чем не сравним и только встреча с живым человеком изгоняла «страшную сердечную пустыню». Народное поверье, по Гоголю, объясняет этот окликающий голос тем, что «душа стосковалась по человеку и призывает его, и после которого неминуемо следует смерть». Такой голос слышит перед смертью Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках».

Но Оля была девочка здоровая: зубы у нее крепкие, ровные, белые — и чистить незачем, и ноги крепкие, и ногти розовые ровные, и никогда никакой золотухи не было, уши никогда не болели.

«День был тих и солнце сияло» — Оля шла одна

по саду и думала, а думать ей всегда было о чем: и свои ранние наблюдения над повадкою живых людей и все эти романы из приложений и только что прочитанный бесконечный «В двух частях света», а думала она так, что и живой оклик часто могла не услышать — «Олю не дозовешься!» — и вдруг слышит, кто-то окликнул:

— Оля — Ольга, — и с двойным вздохом протяжно: — гха — гха...

Оля вздрогнула от этого жуткого пробудившего ее зова и обернулась — в саду никого не было.

— Боже тебя сохрани, никогда не отвечай, — сказала Фатевна, — или молчи, или скажи: «Фатевна, это ты?»

И когда вскоре после этого, проходя по саду в такой же безоблачный полдень, Оля снова услышала окликающий ее голос: «Оля — Ольга» — и с этим душу выворачивающим двойным вздохом, она сделала так, как учила нянька, — «Фатевна, это ты?» И понемногу привыкла: не обертываясь, откликалась она окликом, называя то Фатевну, то сестер и брата, и спокойно продолжала итти со своей не отпускавшей ее никогда мыслью.

От черной ли земли исходил этот призрачный зов, как немые лунные призраки у Океана от красного, завеянного лиловым вереском, каменного поля в Карнаке? Только ли знак «смерти» эти голоса, как и зеленые огоньки вкруг выветренных вековечным ветром менгиров и дольменов? Фатевна знает тайну своей черной земли — своей черной дышащей жирной земли в жарких красных маках, по которой ходит ковылевый степной ветер, — «и не только — говорит она, — этот голос к смерти...» — и что «не всякому дается этот голос слышать» — и не все своим откликом-окликом имеют власть развеять «сердечную пустыню». Так что Оля испугалась: «стало быть, не всегда можно и Фатевной огородиться?»

К этому времени относится и первая острая оби-

да — первый безответный вопрос: «за что и для чего?»

Наталья Ивановна подарила Ирине браслет, а тетка, жена ее брата, часы. А Оле очень хотелось кольцо и она сказала матери: как ей хочется иметь колечко.

— Ты еще маленькая! — сказала Наталья Ивановна.

А любимая бабушка, которая это слышала, говорит:

— Я поеду в Киев и куплю тебе супирчик, ты его будешь носить.

Оля была уверена, что бабушка непременно исполнит, и все мечтала, какой это будет у нее супирчик.

И вот бабушка собралась и поехала в Киев к своему сыну, пробыла там с месяц и вернулась, не забыла, привезла Оле супирчик: это было тоненькое золотое колечко с эмалью — черной и синей.

Оля была в восторге и не расставалась с колечком. Оно ей было широко и она очень боялась потерять.

По случаю каких-то именин всем домом поехали к соседям Лупичевым на бал. Старшие танцовали, а Оля с Леной Боровой, ее подругой, занялись играми — играли в учителя и ученицу: задавали задачи, экзаменовали, ставили друг другу единицы — ни Оля, ни Лена еще не поступали в гимназию.

И захотелось им выйти. И Оля подумала, что это никак невозможно итти туда с супирчиком, и сняла его, положила на скамеечку перед дверью. А после хватилась: колечка на скамеечко нет.

Оля плакала и всех тормошила. Только это и слышалось: где колечко? И где-где ни искали, и в доме по всем комнатам, и в саду по дорожкам — нигде не было супирчика.

Оля вернулась домой в отчаянии. И не могла ничего придумать и ничем утешиться: куда мог деваться ее супирчик? А в воскресенье за обедней Оля увидела его на мизинце у Марьи Викторовны и глазам

не поверила. Всю обедню Оля глядела, проверяла: нет, не ошиблась, ее был супирчик — черное с синим.

Была такая старая дева из дворян, нигде не учившаяся, очень некрасивая с огромными толстыми губами и почти без волос, она везде втиралась, была и у Лупичевых в тот вечер на именинах. Никаких супирчиков у нее не было, а вдруг появился.

Оля не сомневалась, что ее супирчик у Марьи Викторовны.

И вернувшись с Фатевной из церкви, Оля рассказала матери: Оля была уверена, что Марья Викторовна вернет ей ее любимое единственное колечко.

Мать сказала:

— Смотри, Ольга, если ты такую вещь напрасно возводишь, я тебя накажу.

Но Оля твердила:

— Мой, мой супирчик, я его видела.

Наталья Ивановна поехала к этой Марье Викторовне и спросила ее: не нашла ли она как случайно Олин супирчик? И по ее ответу поняла, что врет, и Оля права: супирчик ее украли.

— Да, она украла твой супирчик, — сказала Наталья Ивановна Оле, — но ничего нельзя поделать.

И Оля, содрогаясь, думала, что вот можно взять у человека самое его любимое — и ничего нельзя поделать. И из ее терзаний выходил безответный вопрос: «за что же и для чего понадобилось отнять у нее ее единственное любимое колечко?»

Оля долго помнила: перед ее глазами навязчиво подымалась безволосая толстогубая и стояла, как за обедней стояла тогда, поддразнивая супирчиком — ее обида.

БУКЕТ

У Миши каждое лето был репетитор: Миша плохо учился.

На Пасху приехала из Меженинки любимая бабуш-

ка. Бабушка сказала Наталье Ивановне, что один богатый меженинский крестьянин просит, нельзя ли взять на лето репетитором его сына восьмиклассника-гимназиста: отлично учится; а просит взять его репетитором, — «чтобы сын научился господским привычкам».

Оля не знала, как решит мать, а когда вернулась после экзаменов в Ватагино, увидела в доме этого гимназиста: его звали Максим Федорович.

Максим Федорович ходил в серой гимназической форме, робкий, очень стеснялся, особенно за обедом. У Ильменевых часто за обедом бывали чужие — гости, и тогда жалко было смотреть на него. Все над ним подсмеивались и в глаза, но больше за глаза: легкая тема для разговора, когда не о чем говорить.

Оля заступалась. И тогда стали смеяться над Олей: «уж не влюбилась ли она в него?» Оле было тринадцать лет. И Оля перестала заступаться: молчала, когда смеялись над ним. А смеялись, как он много ест — он и действительно больше всех ел, ведь он не привык к цыплятам! — и как он вилку держит и как он кланяется.

Миша его совсем не слушался. Заниматься с Мишей ему было трудно. Оля видела, что он смотрит на нее, будто понимает, что Оля не смеется над ним и жалеет его.

На Олины именины много съехалось гостей. И обед был особенный: были пирожки с говядиной и со свежей капустой — любимое Олино, а на закладку самое любимое — мороженое: земляника на сливках. После обеда пошли гулять в поле — в это время складывали снопы в копны, хорошо было в поле.

— Максим Федорович хороший, он только вас, Оля, одну не боится, поговорите с ним! — сказал двоюродный брат, Саша Краснопольский.

Максима Федоровича на прогулке не было. После обеда он ушел домой в Меженинку и вернулся только вечером, принес Оле огромный букет: там были

ромашки, колокольчики, пионы и много разных красивых трав.

Оля поставила букет у себя на столе. И долго он у нее стоял — какие красивые колосистые травы!

С этого вечера Оля стала разговаривать с Максимом Федоровичем. Бывало, увидит его в саду на скамейке с книгой и понимает, что он хочет убежать, окрикнет: «Максим Федорович!» — он и останется.

Оля не знала, о чем с ним разговаривать. Она спрашивала его, что он знает по-латыни и по-гречески. И он ей наизусть говорил из Цезаря и из Гомера. Научил Олю шараде: «es ra-ra-ra (es terra) et in ram-ram-ram (in terram) ibis» — «земля ты и в землю пойдешь». А однажды, когда Оля разговаривала с ним об уроках, он поднес ей лодочку: сам сделал из древесной коры; и другую — поменьше.

Осенью Оля уехала в гимназию и за весь год ни разу не вспомнила о Максиме Федоровиче. А летом, когда вернулась домой в Ватагино, — Оля перешла в шестой класс, — у Миши был другой учитель.

На рожденье любимой бабушки все были в Меженинке.

— Тот Максим Федорович, который у вас жил в прошлом году, умер от чахотки, завтра его хоронят, — сказала бабушка, — говорят, что заучился, оттого и помер.

Оле вдруг стало жалко. Она вспомнила стесняющегося гимназиста в серой курточке, над которым все посмеивались, — Максима Федоровича, стихи из Гомера, и Цезаря, шараду «земля ты...» и две лодочки.

На другой день, не сказавшись, Оля пошла в церковь, — а сначала в бабушкином саду нарвала цветов: ромашки, пионы, колокольчики, только трав тех красивых в ее букете не было. И этот букет положила в гроб.

Максим Федорович показался Оле еще больше стесняющимся: лицо сморщилось в кулачок, а воло-

сы были примазаны, как крестьяне себе мажут в праздник.

Только Олины — больше не было цветов.

Его мать голосила: в ее словах было — что от учебы умер, что не крестьянское дело учиться. Так всю обедню — в торжественные молитвы с обещанием жизни — бесконечной, без печали и без тревоги, этот точащий, безутешный человеческий вопль о погибшей, и печальной и тревожной, но единственной и неповторимой погубленной жизни — «не крестьянское дело учиться!»

Когда гроб вынесли из церкви, Оля хотела идти домой — и вдруг его мать, вдруг утихшая, подбежала к Оле и поклонилась ей до земли:

— Спасибо, барышня, что принесли моему сыну цветочки.

И Оля не знала, что и ответить: и от неожиданности, и какое-то чувство, как от стыда, смутило ее — за этот глубокий до земли поклон. И уж не могла идти домой. Пошла за гробом — проводила до кладбища.

Перед раскрытой могилой, когда опускали гроб, Оля заметила: его отец стоял суровый, крепкий.

«И неужто это правда, что от ученья сгинул?» — думала Оля, глядя на этого непохожего человека.

Оле было жалко Максима Федоровича, и она очень мучилась: ее терзала вина перед ним, что не заступалась — молчала тогда... и, терзаясь, всем существом своим, восчувствовала, поняла всей ясной своей мыслью и повторила твердо из сердца вышедшим словом навсегда, что никогда — «никогда нельзя молчать и ни из-за чего, когда надо заступиться за человека».

СВЯТОЙ

Из русских святых Феодосий Углицкий для Оли особенный: с детства с чистым сердцем она ставила ему свечи.

Обычно называлось: «идти к святому».

Редко кто знал хоть что-нибудь о его жизни и даже то церковное «житие», из которого ровно ничего не узнаешь, — и это общее имя «святой» было значительнее собственного. Болен ли кто, уезжает ли, — всегда надо пойти к «святому» и поставить ему свечку. А главное — экзамены.

Если для взрослого человека в минуты покинутости и неизвестности не было другой дороги, как к святому, то можете себе представить, чем этот святой был для детей — каким добрым волшебником жил он в их сердце, живое продолжение любимых сказок.

Перед каждым экзаменом идут к святому все — и гимназистки, и гимназисты: если экзамен страшный, ставится толстая свеча; если экзамен легкий, ставится тоненькая свечка, — но непременно ставилась.

Однажды перед экзаменом русского языка Оля зашла поставить тоненькую свечку — Оля по-русскому первая, она, наверно, знала, что получит высший балл. И вот она пришла в собор и ставит тоненькую. А рядом ее двоюродный брат Саша Краснопольский ставит огромную, толстую свечу. Оля сразу сообразила:

— У вас сегодня греческий экзамен?

— Да, — ответил Краснопольский, — а у вас русский?

Так по свечкам безошибочно определяли.

Плохие ученицы, ставя свечку, громко выговаривали:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец, дай мне вытянуть пятый билет!»

И случалось, что этот единственный и вытягивали. А если проваливались, шли перед переэкзаменовкой с такой же свечкой и той же просьбой. И если и тут ничего не выходило, шли на второй год — — ведь без чудесной силы или веры в чудесную помощь

и не только плохие, а и самые хорошие ученицы и первые ученики могли так ни за что срезаться.

Олины именины летом. И всегда Оля досадовала, что не во время учебного года: именины — законный повод пропустить уроки. Идет Оля в гимназию и встречает какую-нибудь именинницу: счастливая, возвращается она от святого и в гимназию не пойдет и скрываться не надо; а когда вернется именинница домой от святого, тогда ей дарят именинные подарки.

С Олей в одном классе была очень бедная гимназистка Люда Резилова, ее мать служила надзирательницей в пансионе Пенкиной. С этой Людой, когда она была совсем маленькая, совершилось чудо: умирающую принесли ее и положили к святому, и у нее, как говорили, «пленкой подернулось отверстие на шее», — она почувствовала себя лучше и поправилась.

Оля смотрела на Люду с удивлением, как на особенную — «чудесную»: тоненькая с длинной, тонкой шеей — шея с перевязочкой, больные глаза — изнутри измученные, как бывает от перенесенной боли или от большого горя, большой голос, но неприятный, как скрипка, и очень робкая. Люда участвовала с Олей в одном гимназическом кружке, много читала и больше всего исторические романы, и потом поехала за Олей в Петербург и поступила на Медицинские курсы. В Петербурге еще больше оробела и Олю стала бояться — боялась, что вышлют за знакомство с Олей. И в Петербурге умерла от чахотки.

Тетка Марья Петровна говорила, что и с ней тоже было «чудо».

Марья Петровна подлинно все знала, все видела и даже предвидела, и было бы неестественно, если бы чудо ее миновало. Марья Петровна очень хотела иметь детей, но из-за необыкновенной пронырливости и непоседливости все ее ожидания оканчивались несчастно. И доктор, приглядевшийся к ее нетерпе-

ливому характеру, посоветовал ей, как единственное верное средство, чтобы все девять месяцев она лежала. И она лежала. Можете представить, какой это был подвиг! — и уж без движения она и сна лишилась. И вот приснился ей сон:

«Вижу, — рассказывала Марья Петровна, — говорит мне святой, чтобы ребенок обязательно был крещен у него, и тогда будет жить».

Двоюродную сестру Оли крестили в соборе. И она жила себе, поживала, хотя, по словам тетки, — «родилась Леночка едва живая». Ну, за Марьей Петровной не угоняешься! К Марье Петровне сам губернатор с визитом ходил, и святому, по правде сказать, к ней совсем не путь, но без «святого» и ее жизнь не была бы полна — и вот эта живая ее единственная дочь Леночка подлинно чудо с Марьей Петровной. Ведь у нее за девять-то лежачих месяцев внутри все ходуном ходило — такая ее беспокойная природа, и уж тут доктор ничего не может! Марья Петровна тогда, по случаю чуда, заказала образ святого в рост новорожденной, образ она всем показывала: так незначительных размеров, но ничего особенного. Впоследствии свою чудесность Марья Петровна перенесла на Леночку; по мнению Марьи Петровны, чудесная Леночка была неотразима: если молодой человек ходил к ним в дом, значит, влюблен; если же, познакомившись, не приходил, то означало, что влюблен, но борется с собой.

Город маленький, все друг друга знают, и всякий все о тебе знает, и если не мытьем, то катаньем друг друга изводят и подсиживают, и никому нельзя верить, так и жди, или подведет, или обманет, и уж по одному этому «святой» был как-то особенно близок всем. А больше всех детям — гимназисткам и гимназистам: и к кому было обратиться им со всеми своими тревогами, ведь большим только в смех, а, кроме того, от больших-то и шла гроза, и вот шли они к святому — в именины, пропуская уроки по

уважительной причине, и перед экзаменами, и ставили тоненькие свечи и толстые, — нет, это не была торговля, и как же иначе выразить степень трудности и верную свою последнюю надежду!

Когда Наталья Ивановна, побыв в городе, уезжала назад в Ватагино, а Оля оставалась в городе, она, крестя Олю, говорила:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец, тебе поручаю, сохрани ее!» И всегда оставляла Оле образок святого.

И это осталось неизгладимо. И потом в самые тяжкие и в самые радостные и в путанные минуты жизни, вдруг вспоминая, Оля говорила:

«Феодосий Углицкий-Черниговский-Чудотворец!»

Оля знала, что этот святой ее детства считает ее своею: столько ведь было мольбы к нему от самого чистого и совсем непорочного сердца.

БАРРИКАДНЫЙ

В одиннадцать лет Оля много прочитала всяких книг, в доме у них большая библиотека, а за чтением никто не следил. Из Достоевского она прочитала рассказы, изданные для детей, про Толстого часто слышала от отца. Слышала имена и других писателей, но про Чехова ничего.

Перед Рождеством отец приехал в город за Олей. Радости ее не было конца, а пуще нетерпению: поскорее домой. Вместе с Олей отец взялся отвезти и соседнюю девочку Марусю: Маруся старше Оли, ей было лет четырнадцать, а по классу на один выше: и поздно отдали в гимназию и неспособная; Оля ею командовала, как старшая.

Дорогой поднялась метель, долго плутали, наконец, выбрались в какое то село, и пришлось остановиться на постоялом дворе. Оказалось, что не их только, а и еще какого то загнала метель на этот постоялый двор и надолго загородила путь, а может быть,

и на всю ночь. Это был высокий, таким он показался Оле, и в пенснэ.

Когда подали самовар, отец пригласил его чай пить. За чаем он разговаривал с отцом, расспрашивал и Олю с Марусей, но больше обращался к Оле. И что особенно занимало их — и не как он, морщась, отхлебывал чай, а то, что часто вынимал записную книжку и что то записывал. Маруся, разливая чай, тихонько подкладывала в его стакан сахар, да и сам он, конечно, положит, и получается не чай, а чайный сироп. Перемигивались друг с дружкой. Или он отвернется, а они за его спиной такие гримасы сделают и потом примутся хохотать. Стал и он с ними смеяться.

А уж близко к ночи, и надо бы ехать. А метель словно только-только что началась. И как ни смотрели в окно, ничего не видно. Пришлось остаться ночевать.

— Как же мы будем ночевать: комната одна! — сказала Оля.

И на это смешной спутник, записавший что-то в свою записную книжку, может быть, о сахаре, который в метель бывает слаще, чем обыкновенно, нашелся.

— А мы сделаем баррикаду! — сказал он.

О баррикадах ничего еще не знала Оля, а Маруся и подавно. И сначала не поверили, но когда разъяснилось, обеим страшно понравилось: оказывается, веселое это дело — строить баррикады!

Натащили стульев, передвинули столы, на столы взгромоздили стулья, а стулья заставили чемоданами и шубами, и такое получилось загорождение, разве что мышка проскочит. А что творилось во время стройки: не то пожар начался, не то постояльцы повздорили; хозяин человек строгий и благочестивый, не раз тихонько приотворял дверь и в полноса заглядывал, но не разобрать было, кто больше дурачился, дети или этот — в пенснэ.

Баррикада готова — спать пора! — и улеглись.

А долго не могли заснуть: и смех не сразу унимается и разговор никогда не кончишь. А говорили о «баррикадном», как назвала его Оля. Услышат, кто то кашлянул.

— Нет, это не папа! — скажет Оля.

— Ну, значит, баррикадный, — отзовется Маруся.

И снова начинается смех.

А как бы им хотелось узнать, что такое он записывал в свою книжку!

На всяких догадках и застиг их сон, тихо заснули и не заметили, как и ночь прошла, а за ночь, перебесившись, и метель успокоилась.

А когда на утро Оля проснулась, видит: отец один за самоваром.

— А где же баррикадный? — первый вопрос Оли.

— Это писатель Чехов, — сказал отец, — чуть свет уехал, а я пожалел вас будить.

С этой метели Оля знает имя: Чехов.

И потом, когда читала она Чехова, ей всегда вспоминалось: и ее счастье и ее радость и ее нетерпение ехать с отцом домой на Рождество; метель, постоялый двор и «баррикадный», записывающий в свою записную книжку; и как она и Маруся, куда то потом пропавшая, слившаяся в общей деревенской жизни, потешались над ним, — и было такое чувство, что не из книги она читает, а слышит, как сам он ей читает из своей таинственной записной книжки.

А догадывался ли когда-нибудь Чехов, как однажды в метель на постоялом дворе, каким был он развлечением для детей и скоротал неизбежную их скуку, а главное нетерпение, когда так бы, кажется, поднялся на воздух и в самую метель с самой метелью улетел домой!

ИЗДАЛИ

Самое счастливое время для Оли Пасха, которую она проводит дома в деревне.

И в эту Пасху Оля была счастлива.

На Страстной она говела, в Пасхальную ночь была у заутрени, потом у обедни. А какая весна! В саду птицы — их Оля всегда любила, распускаются деревья — крохотные «клейкие» листочки, на дорожках еще лужи, надо надевать калоши, но солнце греет и все горячее, а петухи поют по-весеннему, будто вздыхают.

Наталья Ивановна собралась в гости и берет с собой Олю: навестить соседей — сын у них болен.

— Наверно, умрет Ваня, — сказала Наталья Ивановна.

Ехали по нарядным улицам: по обе стороны разряженные дивчата и парни — бусы, ленты, цветы, венки; или поют, или лущат семечки. При их приближении, христосуются — и Оля, и Наталья Ивановна всем отвечают: «воистину воскрес!» Оле было ехать очень весело.

У соседей встретила сама хозяйка Марья Николаевна Сахновская. И сидели одни в столовой. Вани не было.

Не Ваней, а Иван Васильевич зовет его Оля: он студент, хорошо играет на рояли и «бунтарь» — сидел в тюрьме за студенческие беспорядки. Олю называет он Олей, как и все: Оле пятнадцать лет.

Оля знает, что всю зиму Иван Васильевич прожил дома, в университет не поехал, что у него чахотка и его поят кровью, когда режут курицу или теленка, — и для этого режут. Оля всегда с ужасом думает, как это он пьет кровь!

Оля одета была по-праздничному: голубое легкое платье, украшения вафлями: материю подарила любимая бабушка, а шила портниха Ольга Павловна. И в этом нарядном платье, сшитом не как-нибудь, а на любимую Олю, Оля еще цветущее и еще светлее.

Оля не заметила, как вошел Ваня — Оля вдруг взглянула на него, и стало ей совестно и за свое голубое платье, и за свой румянец, и за всю свою весен-

нюю радость: в комнате было натоплено по-зимнему, а Ваня — в шубе, худой, одни кости, и бледный. Но особенно поразила шуба...

Он подал Оле руку—холодная и влажная. И, обратясь к своему товарищу, с которым вошел, — Оля раньше никогда его не видала, — сказал, представляя Олю:

— Ольга Александровна.

И от этих слов Оле стало жутко: это в первый раз он ее так назвал. Оле показалось, что он издали откуда-то говорит — где нельзя произносить уменьшительное имя, а можно только полностью: «Ольга Александровна».

Просидели с полчаса и домой той же дорогой — нарядными улицами.

Но Оля была не такая: на душе было больно и совестно. Все ей вспоминался прерывистый голос, звучащий откуда-то издали — где ничего нет обычного, домашнего, никакой весны, ни песен, а только важное, как в церкви. А это значит, что Ваня, если еще и не умер, то и не живой в своей шубе, он перешел грань жизни, и оттуда этот его голос. И одно утешило Олю, что когда-то и Ваня воскреснет.

Ваня помер через неделю.

ЗАКРЫЛА ОКНА

У ватагинского батюшки о. Евдокима две дочери: Маня и Саня.

Старшая Маня — про нее говорили, что она что-то вытворяет, и осуждали ее всегда; смеялись и осуждали, например, за то, что она венчалась не в белом, как полагается, а в голубом шелковом платье. Строили, по этому случаю, какие-то двусмысленные догадки — но Оля никаких намеков не поняла. А сама Маня ни с чем не считалась и даже, может быть, нарочно иногда делала наперекор. Маня много читала. А замуж вышла по-любви. Она была гораздо старше Оли и с Олей во-

зилась, как с ребенком, выбрав ее из всех детей, из которых ни на кого Оля не была похожа.

Совсем другая Саня. Простоватая, без, всяких стремлений, она и училась мало, взяли ее из четвертого класса гимназии; она еще училась на рояли, но ничего не вышло. С тех пор, как Маня замужем, а тому десять лет, Саня жила неотлучно с родителями и была к ним привязана, и они явно ее любили больше Мани, которую они, как и все, тоже осуждали.

Саня никогда не сделает наперекор, всегда поступит так, что ее и попрекнуть не в чем и осудить не за что, тихая, покорная и очень домашняя: любила вышивать и вязать — этим заполнялся день. И замуж она вышла, потому что надо, — ей двадцать шесть лет, нельзя же оставаться старой девой. А вышла замуж за кандидата в священники, — она его совсем не знала.

Свадьба была летом, когда Оля проводила каникулы дома. После свадьбы Саня с мужем жили у родителей месяц, и вот она уезжала далеко навсегда: муж ее получил богатый приход.

Саня старше Оли на десять лет: Оле шестнадцать, и Оля ей никак не подруга. Саня привязалась к Оле и любила ее, как сама не раз говорила, за ее «веселость», от которой всегда бывает хорошо и мирно. К Оле всегда тянулись простые люди, слепо их вело на ее свет, и даже таких, совсем не подозревавших в ней и никогда бы не разделивших с ней ее самого главного, чуждых и ее тревоге и закипавшей в ее сердце тайне, высвечивающейся словами — потом она их встретит у Достоевского в устах совсем непохожего, но в духе и не чужого ей Коли Красоткина: «о, если б я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду!»

Саня просила Олю непременно придти вечером — в этот последний вечер: и хочется ей проститься с ней и еще потому, что своей «веселостью» Оля хоть немного развлечет ее родителей.

⁂

У о. Евдокима, кроме Оли, в этот прощальный вечер были гости: родственники — тетки и двоюродные сестры Сани, и соседи. Ужинали и пили чай. Очень было грустно. Особенно грустила мать, худенькая старушка, она в этот вечер называла дочь то Саня, то Саша; а раньше всегда Саней.

После чаю к крыльцу были поданы лошади. По обычаю, все присели, потом поднялись, перекрестились; родители стали благословлять и крестить Саню; мать от слез не могла произнести слова.

Все вещи вынесены и уложены. Саня перецеловалась с гостями, еще подошла к отцу и к матери,—долго ее обнимала. И выбежала на крыльцо.

И вдруг через минуту Саня вбежала опять и стала закрывать окна, — окна выходили в сад, оттуда смотрели деревья, и воздух был наполнен летним жужжанием. Она закрыла все окна и, не оглянувшись, выбежала из комнаты, села в экипаж — и лошади тронули.



Что-ж тут особенного: Саня вдруг вспомнила, что без нее, может быть, окна всю ночь не закроют, ведь это она всякий вечер их закрывала. И вернулась закрыть. — — — И как она их закрывала, в ее движениях с головы до ног было столько тоски и такая любовь.

После отъезда еще с час сидели с закрытыми окнами, не расходились, старались говорить о постороннем — развлекать стариков.

Когда Оля вернулась домой, гостившая у них в Ватагине тетка Марья Петровна набросилась на нее, как на халву.

— Рассказывай, Ольга, скорее, что было: страсть как я люблю душураздирающие сцены.

Оля сказала:

— Она так закрыла окна.

И на это тетка откачнулась, как от коробки, где,

вместо халвы, муравьиное гнездо. И потом Оля слышала, как тетка говорила:

— Ольга ужасная чудачка, и ничего не добьешься от нее: про какие-то окна.

Но ведь эти окна, в которые смотрели деревья, под чьим глазом прошла вся жизнь Сани, теперь навсегда их покидавшей, были в этот ее прощальный вечер все — Саня так сама не подумала, закрывая окна, что-то глубже думалось в ней, вдруг вернув ее с крыльца и бросая от окна к окну с такой отчаянной тоской.

Но ведь эти захлопнутые окна — Оля не знала еще никакой горечи расставания — окна загорелись перед ней, как самый жгучий, жуткий образ разлуки.

И ВСЕ ТАК

Во время обеда Оля пришла в пансион Сверчковой к своей однокласснице Анюте Силич. Анюта выскочила из-за стола раскрасневшаяся, продолжая не то спорить, не то возмущаться с другими гимназистками: крик стоял на всю столовую. Анюта, запыхавшись, набросилась на Олю: такой необыкновенный случай —

— Вера Аларева проглотила булавку! доктор сказал, чтобы ела много хлеба!

Оля с тревогой осматривала выходящих из-за стола гимназисток, Оля думала, что эта Вера Аларева ест хлеб и сейчас умрет.

— Да вот она! — показала Анюта.

У окна стояла высокая гимназистка и спокойно ковыряла в зубах булавкой, — это и была Вера Аларева.

Такой увидела ее в первый раз Оля.

Вера Аларева дочь Клинковского батюшки о. Алексея, в гимназию поступила из духовного училища по настоянию своего брата-семинариста, она была старше Оли классом, а по летам года на три. В гимназии скоро она сделалась знаменитостью: «зна-

менитая певица, — говорили про нее гимназистки, — «си!» вытягивает, без нот берет», — и это был высший аттестат и силе голоса, и умению петь. Валя Шалаурова — «абсолютный слух» дирижировала гимназическим хором, а Вера Аларева — солистка. На гимназическом вечере она пела арию Марии из «Мазепы», а на гимназическом утре, устроенном для высокопоставленных лиц, «Матушку-голубушку»; начальница гимназии Марья Ивановна, считая неприличным слово «сосет», велела заменить словом «щемит», Аларева должна была петь, «словно змея лютая сердце мне щемит», и отлично справилась с этим невыпеваемым «щ».

Вскоре после случая с булавкой, Аларева перешла от Сверчковой в пансион Линде, где жила Оля. В пансионе Линде на четырех отводилась комната, и Аларева, поместилась с Олей. Аларева была старшая в комнате, и перед ней Оля, Марина Заветновская и Катя Осмакова казались еще моложе. Аларева любила рассказывать и рассуждать, а слушательницами ее были Оля и Марина. Катя не считается. Катя, заткнув уши, всегда что-нибудь зубрила, — как-то Оля тихонько подошла к ней проверить: Катя надсаживалась, повторяла одно и то же по-зубрильному, — «сражение при Риме», а в учебнике-то оказалось «сражение при Рымнике», — вот как она зазубривалась, да и лежа в постели, все еще что-то губами шевелила, не слыша и не слушая.

О. Алексей привозил Вере из Клинков яблоки. И на ночь она оделяла ими своих младших подруг. Сразу после яблока не заснешь, тут и начинались рассказы. Вера рассказывала о своем отце, о матери, о двух бабушках и о своем брате-семинаристе, который был самый умный, — «и когда окончит семинарию, поедет в университет». А еще рассказывала сказки — очень длинные. А то просто рассуждает: можно ли, например, поссориться с человеком? — нет, она ни с кем не поссорится —

— Но, если бы кто-нибудь мне сказал «дрянь», я с тем навеки поссорилась бы.

Сделавшись знаменитостью, как первая в хоре, Аларева в пансионе Линде сблизилась со старшими гимназистками — с Верой Сахаровой и княжной Шах-Булатовой, которые считались первыми красавицами во всей гимназии и самыми озорными. А озоровали эти «красавицы» не только в гимназии и на улице, но и в пансионе. Самым их любимым занятием было изводить младших гимназисток: они мешали заниматься — вырвут из-под носа тетрадь или книгу или пристают с вопросами. Аларева очень была им под руку, уж по одной своей способности без конца рассказывать.

Оле было очень тяжело: ей мешали думать — ее непрерывно дергали всякими вопросами, перебивая ее мысли. Оля никогда не любила, когда ее допрашивали, и когда это делали большие, она ничем не могла защититься и только молчала, но когда свои, хоть и старшие, лезли и тормошили ее, она не хотела уступать. Оля писала переложение к завтрашнему уроку, а Вера Аларева стояла над ней и задавала ей, в который раз, повторяемые вопросы, в роде — «отчего у тебя такие белые зубы?» — «чем ты красишь брови?» — и Оля хорошо понимала, что все это делается, чтобы мешать и, скрепя свои мысли, сначала отмалчивалась, но вдруг, вспомнив рассуждения Веры после яблоков, что такое ее может поссорить с человеком навеки, подняла глаза от тетради, положила ручку и, глядя в глаза Вере, сказала:

— Дрянь.

И Вера тотчас замолчала.

Или и вправду это слово, сказанное в упор, но без всякого сердца, а только чтобы Вера отстала, было самой Вере не булавка и вошло в самое сердце.

С этого вечера они не разговаривали друг с другом.

Оля очень мучилась, что обидела Веру, но что

же ей было делать: если не остановить и все терпеть, на голову сядут, а так побоятся.

Да так оно и было.

Оля хорошо училась и хорошо играла на рояли — на гимназических вечерах она играла Мендельсона. Но стала известна на всю гимназию и попала в знаменитости, как Валя Шалаурова с «абсолютным слухом» и Вера Аларева «знаменитая певица», за свою смелость: на уроках Олю вызывали при всяких ревизорах, и никакие «значительные» лица, ни самые головоломные вопросы ее не смущали, — учителя Олей гордились: не подведет. И старшие гимназистки в пансионе Линде, отчаянная Вера Сахарова и озорная Шах-Булатова, больше не мешали ей заниматься и ее, единственную из всех младших, допускали к себе в свою комнату.

Ссора с Верой началась с осени, а после Рождества сердца уж никакого не было. Какое уж там «навеки»! — Вера понимала, что только с Олей и можно ей рассуждать, ведь другие глупые, ничего не понимают или не задумывались ни над чем, и рассказать Оле всегда интересно. А Оля, как услышит, как поет Вера, всегда схватывалась: ведь столько она мучилась, что обидела, — и зачем же так: «навеки»? Если случалось идти парами, — на молитву ли или на прогулку, они всегда друг друга внимательно оглядывали и, если кто-нибудь из них заметит непорядок, — «вот вам булавка, приколите!» или тихонько снимет с платья пушинку, а в пансионе сколько раз Вера, подойдя к Оле: «у вас есть перочинный ножик?» И обе только и ждали, когда это, наконец, случится, и снова заговорят друг с другом.

В этом маленьком мире было все так же, как и в нашем: чего-то не достает человеку, — подойти друг к другу и сказать прямо все, что на сердце, а ведь на сердце была только любовь, или есть какие-то сроки, по которым люди — и иначе нельзя — разойдясь, снова встретят друг друга.

Весной, по случаю царского дня, в городе была иллюминация: пускали ракеты. Все гимназистки пансиона Линде высыпали во двор смотреть. Оля стояла с Верой.

Оля в первый раз видела ракеты и искренно была поражена, глядя, как летали разноцветные шары.

— Вот как странно, — сказала Оля, — и там люди летают!

— Ты думаешь, люди? — и Вера стала хохотать. Так-вот и помирились.

Вера переехала из пансиона Линде к родственникам. Но с Олей у нее навсегда осталось: Оля была для нее единственная, кому бы могла она доверить и самое свое заветное.

Оля никогда не видала брата Веры семинариста, но от него Вера передавала Оле книги из семинарской библиотеки. Оле осталось в памяти «Некуда» Лескова: ей очень понравилась Лиза — этот чистейший образ мятежной души, может быть, самый близкий русскому сердцу.

Вера кончила гимназию. А Оля перешла в восьмой. После летних каникул Оля приехала из Ватагина, но, по случаю эпидемии, — дифтерит, занятия в гимназии были отложены. Вера пригласила Олю к себе в Клинки, — Клинки в двадцати верстах от города.

И, как еще в пансионе Линде после яблок на ночь рассказывала Вера о доме, об отце, матери и о бабушках, так все оно и оказалось, только брата не было, уехал в Томск в университет. Обе бабушки, — как бы сказать, не то, что каждый уголок, а и каждую щелочку в доме, как гнездо, свили. Пахло уж очень хорошо.

По случаю именин Веры, был у батюшки «бал». Приехал и соседний Понуровский молодой священник со своей матушкой. Вере было неловко встречаться.

— Хотел на мне жениться, но я отказала, очень неловко: ведь человек тебе жизнь предлагал!

— Это неважно, — сказала Оля, — ведь он женился.

О. Алексей все шутил с Верой, а Олю называл «будущая курсистка». В доме у них было очень мирно и большой порядок, да эти бабушки, — какую они благодать развели — с молитвой и по-солнцу, несомненно, да тут жизни, казалось, на тысячу лет было! Хороша была и осень, гуляли по полям.

— У меня есть жених, — сказала Вера, — я его очень люблю: студент Яворский — в Нежинском институте кончает.

Перед Рождеством Оля получила от Веры письмо. Должно быть, это от сказок, которые еще в пансионе Линде любила она рассказывать после яблок на ночь, усвоила она такой склад.

«Ко мне теперь применима пословица, — писала она, — дела и случаи совсем меня замучили. И, правда, мои дела, как сажа бела, а тут еще один случай, ты мне можешь помочь, я приеду».

А на другой день и сама явилась. И ведь что оказывается, совсем она растерялась, никак не может решить, в чем дело: стала она получать странные письма от своего жениха, и думает, что единственный способ проверить, ехать в Нежин и объясниться. И чтобы ехать, вместе с Олей.

Брат Натальи Ивановны, Алексей Иванович — доктор в Нежине. Оля могла остановиться у дяди. Оля бывала в Нежине, дала адрес гостиницы, где остановиться Вере. И поехали вместе.

В Нежин приехали вечером. А через день рано утром Вера подняла Олю. Вера переложила ее платье на диван, села в кресло и заплакала.

— Я была у Яворского в общежитии, он вышел — не может со мной — все кончено. Потому что он болен. Я говорю, ну, что-ж, я буду ухаживать. Он страшно побледнел и все повторял: я болен.

И из ее глаз слезы так и лились, и не было больше слов, — слезы душили ее, — и голос пропал. Оля принесла воды. Вера понемногу и успокоилась.

— Ну, как ты думаешь, как понять: он хочет отделаться?

— Да, наверное, чтобы отделаться, — сказала Оля.

Оля рассуждала так же, как и Вера: болезнь не может изменить чувства, и ссылка на болезнь только предлог. На этом и решили. И Вера сегодня же уедет домой. Оля обещала придти проводить ее.

За обедом Оля спросила дядю, чем болен студент Яворский. Дядя, как всегда, все обратил в шутку: здоровых вообще нет, а есть только больные, и все больны одной болезнью — любопытством, а в возрасте Оли, это — эпидемия. А тетка полюбопытствовала, почему Оля спрашивает, — этот студент, ее знакомый? Оля сказала, что и не знает его, а что он жених Веры Аларевой.

— Яворский? — переспросил дядя и, словно вспомнив что-то, нахмурился.

И стал пространно рассуждать о легкомыслии современной молодежи, и сколько так зря гибнет честных и способных. И Оля подумала, что у Яворского чахотка.

Вечером Оля пошла к Вере в гостиницу. Еще в коридоре она услышала пение: пела Вера. Оля без стуку отворила дверь. Вера стояла над раскрытым чемоданом, — обернулась и, глядя на Олю сухими переплаканными глазами и руки так прижимая к груди, — она была в белой кофточке, — продолжала петь, и ее прижатые руки на белом пламенели, точно этими крепко сжатыми руками она хотела погасить вырывавшееся пламя, — «я любила его жарче дня и огня», — какой огонь был в ее голосе и какое горе!

Оля подошла и поцеловала ее — и белым жарким пламенем своей непреклонности погасила ее жгучий огонь.

— Вот что, Вера, поедем вместе на Курсы, — сказала Оля, — так все это отвратительно, там будет другая жизнь. Будем учиться.

— Да, хорошо, я поеду.

И Вера опустила руки.

И тихие слезинки вырвались из ее глаз.

***

В восьмом классе Оля считала месяцы, потом недели, потом дни, когда поедет в Петербург на Курсы. С Верой ей не приходилось встречаться. Вера жила в Клинках с бабушками. И как-то так случалось, что когда она приезжала в город, не заставала Олю. И только раз весною. Вера сказала Оле, что писала брату в Томск, и он ответил, что никогда не думал, что она собирается в Петербург на Курсы, и что жизнь там «идейная».

Больше всех возмущалась тетка Марья Петровна: со всей своей неиссякаемой энергией и решительностью, она готова была на все, лишь бы помешать Оле; а будь она на месте правительства, она запретила бы и самое слово «курсы» и вычеркнула бы всякие «идеи», сохранив, пожалуй, и то для назидания, лишь бледные «понятия». Перепробовав все воздействия, как-то уж в конце выпускных экзаменов, она, с неподдельной радостью, объявила Оле:

— Вот твоя подруга Вера Аларева, — ты говорила, что она хочет ехать на Курсы. Я ее спросила: «поедете ли вы на Курсы?» А она сказала: «нет, не хочу расстраивать маму...»

— Стало быть, она не очень хочет ехать, — ответила Оля.

***

Из примечательностей города, в котором не последнюю роль играла всевидящая и всезнающая «чудесная» Марья Петровна, следует отметить семейство Скорохвостовых как по количеству детей, так и по

качественному подбору, — все, как с картинки, а уж глаза, — то, как самые разнебесные, то, как море, глубокие, синие, а, в смысле «умственного развития», или просто говоря, по глупости, образцовые: несмотря на всякие протекции, гувернанток и репетиторов, никто из Скорохвостовых дальше четвертого класса не пошел: Петя, Лиля, Маня, Шара, Ляля, Любочка, Окочка и Жокочка (близнецы), Танечка и Тунечка. Оля училась с Лялей и заметила еще во втором классе, что никогда эта фамильная природная глупость так ярко не обнаруживалась, как во время молитвы, когда Ляля смотрела своими синими бездонными глазами в никуда. И все они говорили как-то снисходительно и, вместе с тем, возвышенно с растяжкою в роде тех актрис, что произносят «мошный», вместо «мощный». А еще замечательны Скорохвостовы были тем, что не только в городе, а и в гимназии говорили, что у мадам Скорохвостовой с батюшкой Аристотелевым роман, и ссылались на то, что видели их вместе в Городском саду. И Скорохвостова и сам Скорохвостов по картинности не уступали детям, а батюшка Аристотелев, законоучитель и в женской, и в мужской гимназиях, все его знали, и при самом отчаянном воображении, какое было у Вали Шалауровой, влюблявшейся буквально во всех, немыслимо было представить себе влюбиться в батюшку, да просто этого слова не существовало, когда произносилось его имя. Но что поделаешь, тетка Марья Петровна повторяла свое излюбленное авторитетное «говорят», и всякий должен был поверить, «потому что говорят».

Скорохвостовы устраивали у себя вечера. На одном из таких вечеров была Оля, — это было в последний ее гимназический год. За Олей ухаживал Есимовский, какой-то важный чиновник, Оле было очень неловко, и она не знала, что с ним говорить, он ей казался очень старым, ну, ему было лет тридцать. Он и за ужином сидел с Олей, а с другой стороны Оля посадила с собой Лялю с самыми разнебесными гла-

зами. Ляля угощала Есимовского вином, повторяя в растяжку по своему, что вино «терпткое», и что она очень любит «терпткое». Оля не понимала, какое это значение «терпткое», она была рада, что сосед ее занят, и не надо поддерживать чужого и совсем ненужного разговора. Был за столом и батюшка Аристотелев, и вокруг батюшки повторялось с такой же растяжкой «терпткое», и батюшка, услышав, как Ляля, обращаясь к Оле, назвала «Ольга», — вдруг каким-то неурочным сладеньким голосом заметил: «равноапостольная Ольга великая княгиня Киевская» и, прихихикнул, что было для Оли совсем неожиданно. В это время Есимовский упомянул какую-то Катечку.

«Катечка, — с растяжкой ответила Ляля, — была два года в связи со студентом Ставровским, а потом разошлись».

А после ужина сама Скорохвостова, она сидела близко и все слышала, заметила Ляле при Оле, что так нельзя говорить, что это очень нехорошо, а надо было сказать, что Катечка и Ставровский были два года женихом и невестой и потом разошлись. «Да я это и хотела сказать!» — оправдывалась Ляля, глядя своими самыми разнебесными глазами, как на молитве, в никуда.

Когда Оля приехала из Петербурга незадолго до своего ареста и зашла к тетке Марье Петровне, тетка ей напомнила этот «терпткий» вечер, рассказав последнюю городскую новость: Ляля Скорохвостова вышла замуж за Есимовского.

— И еще приходила Вера Аларева, оставила свой адрес, она очень хочет с тобой повидаться.

В этот приезд, точно предчувствуя и прощаясь со старым, Оля много видела всякого народу и даже таких, с кем и не думала встретиться. А с Верой ей было любопытно. Прошло три года, Оля жила своей новой жизнью, такой чужой и далекой от этой, что же сталось с Верой?

Они встретились, как и прежде, нет, еще горя-

чее. Оля сразу заметила перемену, но, может быть, это оттого, что Вера была в темном.

— Ты довольна, что на Курсах? — спросила Вера.

— Да, — сказала Оля.

— А я вышла замуж.

— Влюбилась?

— Второй раз нельзя полюбить, — сказала Вера, — я хорошо отношусь к мужу, но любить... да и все так!

Оля ничего не сказала. Но ее серые глаза, как сталь, кипели, но она не смотрела: ведь это «и все так» — это то — то самое, что слышала она еще с детства, и было ей с детства как последняя грубость, это опорачивание всего, что есть лучшего и человеческого в человеческом сердце, это «и все так», т. е. «все равны», т. е. «все подлецы», нет, не все! нет, и не все так! да, это то самое растлевающее, что убивает человеческую душу, — гад! и если бы был камень, она расплющила бы этого гада, — вот когда дышать человеку нечем.

— Но мне так скучно жить, — сказала Вера, — если бы у меня были дети, я бы занялась детьми, а то и на кухню нельзя войти, я бы и пирог испекла, не принято, — говорят, не мое дело, хоть об стенку головой! — и она прижала руки к груди, как тогда, и, крепко прижимая, глядела на Олю, но эти руки были на темном мертвые.

— Помнишь Катю Осмакову — «Рымник», она тоже приехала с мужем. Я сделала ей визит, пять минут просидела, и она была у меня тоже с визитом. Может быть, что нибудь и выйдет...

— Какой это ужас, — сказала Оля, — так выходить замуж! — и в первый раз посмотрела на Веру, на ее мертвые, прижатые к груди руки, — впрочем, совсем не надо выходить замуж. Я никогда не выйду.

И Оля ничего не спросила, ни кто ее муж, ни где они живут, ни города, ни фамилии, и ничего о себе.

И простилась с Верой, как с мертвой, — холодным, осторожным поцелуем к ледяным губам.

ТРИ ПЛАМЕННЫХ СЕРДЦА

К любимой бабушке в Меженинку приходила из Киева монашка. Все ее звали Александра Амосовна. Трудно было отличить ее от мужчины: усы и какие-то волосы на подбородке, очень большой нос, и в очках. Александра Амосовна всегда вязала чулок, ухаживала за больными, и что-нибудь помогала по хозяйству.

Оля любила слушать, как она рассказывает про угодников — тихим тонким голосом. Этот тихий тонкий голос при усах производил особенное впечатление. Оля думала, что она «святая».

Когда Оля просилась в Петербург на Курсы, ее не пускали.

— В Петербурге такой плохой климат, — сказала как-то Наталья Ивановна, — получишь чахотку и умрешь, как твой дядя.

Этого дядю Василия Павловича, брата отца, Оля никогда не видала, но из всех он больше всех ей нравился: с детских лет сложилось у нее убеждение, что он «ничего не боялся», и с детства, как помнит себя Оля, ей приводили его в пример, — «как не следует делать», или ее «самовольство» сравнивали с ним; а известен он был тем, что в одну ночь проиграл в карты какой-то Трокский замок, родовое Ильменевых.

И Оля ответила, — ей показалось, что мысль ее, точнее нельзя, выражена стихами:

— «Что жизнь для нас, когда там гибнут братья!»

Мать промолчала: ее ли сердцу не чуять, что на своей воле много встретится горя, и она боялась.

— Вот то самое, что надо говорить! — сказала Александра Амосовна, одобряя Олю.

Оле было очень приятно, что Александра Амосовна поняла своим «святым» сердцем ее заветные желания.

В первый свой приезд из Петербурга домой, Оля, прежде всего, поехала к любимой бабушке в Меженинку. Дома за своевольный петербургский год помирились с Олей, а бабушка никогда на нее не сердилась.

Бабушка позвала Олю вместе с собой к соседям Топоровым. Оле очень не хотелось, но, чтобы не огорчать бабушку, пошла с ней.

Старинный дом Топоровых, Бог знает, сохранившийся с каких веков, хранил в себе вместе с гостиной, с колоннами какой-то ползучий, ничем неистребляемый дух плесени — Оле не нравились эти Топоровы.

Бабушка с гордостью представила Олю. Оля была в своем летнем сером платье и без всяких украшений, совсем не по дому. И, когда пили чай, бабушка старалась вставить об Оле, — обратить внимание.

У Топоровых было трое: старшему восемь. Оля с детьми возилась.

— Лучше чтобы дети оставались маленькими, — сказала хозяйка, — не дай Бог, как ваша внучка, поедут в Петербург на Курсы...

Бабушка поджала губы:

— Моя внучка умница, потому и поехала.

И хозяйка не посмела возразить бабушке да и неприлично: в своем доме.

А Оле было очень приятно, что бабушка за нее заступилась.

А вот на другое лето Меженинка опустела. Бабушка умерла весной. Оля получила от брата письмо, что все они находятся в Меженинке: и у матери, и у бабушки, — воспаление легких. Оля сейчас же поехала. Дорогой из Петербурга в первый раз она видела, как по пути уходила зима, уступая теплу, и на станции ее встретила весна. Не давая знать к бабушке, наняла лошадей и приехала в Меженинку. Но бабушку не застала, — бабушку похоронили. И почему-то все были очень удивлены приезду Оли: зачем? —

Как?! — — как была Оля одинока... ее любимой бабушки не было. И Александры Амосовны не было: она жила в монастыре в затворе, и нельзя ее было видеть.

На всю жизнь осталось Оле: и как заступилась за нее бабушка и как одобрила ее монашка, — теплая и беззаветно любующаяся любовь и это тихое и тонкое, как голос, святое сердце, благословляющее, — и на крест.

НЕ СЧИТАЕТСЯ

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии...» — с этого начинается Гоголь. С этого начинает свой день Василий Антонович Боровой или капитан Боровой, которого выгнали постоять на крылечко, потому что Варвара Петровна затеяла какое-то такое нежное тесто ставить, что даже присутствие в комнатах Василия Антоновича, который вообще «не считается», может помешать, и тесто не подымется. А от последней ступеньки лестницы Борового крылечка до верхушек тополей, карауляющих дом — выше Василий Антонович заглядывать не решается, щадя глаза,— стоит тысячеголосый звон, и это звенящее улетает туда поверх тополей и разливается струящимся на весь мир солнцем.

О Гоголе Василий Антонович ничего не слыхал, но его чувства к этому «упоительному и роскошному» дню Гоголевские. А о Толстом слышал от о. Евдокима, что граф Толстой в Бога не верует. И удивительно Василию Антоновичу, как и почему это граф, когда и простому человеку явственно, что без Хозяина никак не управиться в таком преизбытке и изобилии, и кому-то надо ведь и погодой распоряжаться, и кто-то дает тепло и посылает такие дни «и упоительные и роскошные».

Василия Антоновича могли бы забыть на крылечке, да тетка Варвары Петровны Александра Алек-

сандровна, непременно хватится. И Василия Антоновича возвращают в дом неизменным окликом, напоминающим хозяйский, не то на кур, не то на свиней. И на весь день ему занятие — играет с Александрой Александровной в дурачки. И совсем незаметно «усталое солнце, пропылав свой полдень, уходило от мира и угасающий день пленительно и ярко румянился»: самая пора посидеть у ворот на лавочке.

Проезжая вечером через Ватагино, вы непременно увидите Василия Антоновича на лавочке у ворот в своей неизменной тужурке с золотыми пуговицами, и он с вами раскланяется и, если даже вы незнакомы, с кем-нибудь вас спутает и посмотрит, как на знакомого. Прогонят по улице коров, пробегут овцы, холодком с поля повеет, а там, глядишь, выглянет звездочка. А как легко дышится после знойного дня! И опять Василий Антонович задумается, как и почему с графом такое затмение и не спутали ли Толстого с другим графом: ведь, небось, тоже сиживал у себя в Ясной Поляне на лавочке и видел это небо, когда Хозяин удаляется на покой, а «ангелы Божии поотворят окошечки своих светлых домиков и глядят на нас, на нашу землю».

Окликом, как всегда, куриным или свиньячим, переходит Василий Антонович с лавочки в комнаты, и наступает единственный час, когда ему разрешается подать голос. И он этим пользовался: за ужином он рассказывает новости — не проехал ли кто и куда и зачем, не говорил ли о чем прохожий, или сосед шел и сообщил что-нибудь. Рассказы Василия Антоновича принимаются лишь к сведению, так как слава путанника за ним твердо установлена и без проверки ни одна из его новостей не имеет никакой достоверности; капитан часто просто занимался сочинительством — Гоголь в нем сидел неподдельный.

Василий Антонович — отставной капитан из кантонистов, ранен в бедро или, как говорили, «сидел в кукурузе». Раз в месяц ездил он в город получать

пенсию. На Новый Год в мундире и во всех орденах приезжал поздравлять к Ильменевым и всегда из кармана давал детям конфеты — конфеты известны были под названием «этих конфет есть нельзя» — и это Оля запомнила со своей первой новогодней памяти. Все остальные дни Василий Антонович проводил дома, лето и зиму днем играя в дурачки с Александрой Александровной, теткой. А Варвара Петровна целый день суетилась, перебегая из дому на кухню и из кухни в дом: она умела делать необыкновенные коржики и еще славилась куличами, но секрета никому не говорила, и все, что она ни делала, все у нее было «лучше всех».

В саду у Боровых были замечательные яблоки. Сад сдавался «русским» из-половины, и это считалось и самым выгодным и самым надежным — «русские» крепко караулили и опасаться воров нечего было. Свою часть яблок Варвара Петровна продавала в Нежин; обыкновенно возила яблоки экономка Катя. Но однажды повез Василий Антонович: еще дорогой стал он хвастать замечательными яблоками и раздавал на пробу, а на месте окончательно все роздал да и сам полакомился и вернулся из Нежина без яблок, без денег и весь расстроенный.

Над Василием Антоновичем свои постоянно смеялись и в доме он «не считался». Торжественно праздновались именины и рождение Варвары Петровны, Кости и Лены, и не так торжественно тетки Александры Александровны, и даже экономки Кати как-то выделяли именины, но Василия Антоновича никогда. Как-то Василий Антонович не то, что обиделся, а просто спохватился — слава Богу, достиг до капитана и в боях участвовал и большую пенсию за бедро получает, а именин никаких — — ?

— Не считаются, — заметил кадет Костя, — ваши не считаются.

И Костя и Лена в глаза отца никак не называли, да и вообще не разговаривали, а за глаза называли

«батько», что равнозначуще здешнему выражению «предки» — я не раз слышал от избалованных единственных изнаглевших сынков и от холеных беспардонных дочек.

Когда устраивались какие-нибудь торжественные вечера, на которых Варвара Петровна показывала свое печеное, слоеное, сдобное или заварное искусство, Василия Антоновича прятали. А если он все-таки появлялся, все только и ждали, когда он скроется. Дети затевали игры: в «море волнуется», «веревочку», «рубль искать», «свои соседи» с ходячим соседом и сидячим — и обыкновенно Костя или Лена говорили: «батько уйдет, подождите!»

Варвара Петровна все делала для детей — детям все позволялось, дети — ее страсть и гордость. И удивительное дело, они были похожи на отца: нос Василия Антоновича, который различишь и сквозь самую густую коровью и овечью вечернюю пыль, когда рассаживается Василий Антонович на лавочке по сбору новостей, перенесен был и на Костю и на Лену: Косте достался он в еще больших размерах, а Лене поменьше. И единственная Маня в мать, но померла трехлетней к великому горю Варвары Петровны, которая в первую Пасху после ее смерти всю ночь пролежала на свежей могилке.

Для развлечения детям, чтобы посмеяться, Варвара Петровна любила рассказывать, как она вышла замуж; а было ей тогда лет за тридцать и уж выбора не могло быть.

«Прошу вашей руки и сердца», — рассказывала Варвара Петровна, представляя Василия Антоновича, — а я говорю: « у меня ничего нет!» — а он: «да чорт его бери!» Так и повенчались».

Василий Антонович безропотно принимал свою участь, никакой злобы, никакой обиды не было ни в его лице, ни в словах — рассказах, разрешаемых ему за ужином. И только раз за всю свою жизнь, да и то это было так давно, что только Варвара Петровна

помнит и, чтобы посмеяться, детям рассказывает, как Василий Антонович возвысил голос.

Постоянные насмешки и в глаза и за глаза и на глазах пробрались и кольнули и такое забитое муштрой сердце.

«Мой пансион!» — сказал Василий Антонович, вызывающе глядя на Варвару Петровну, готовый и на еще, а на что, неизвестно, но уж кричать.

«Моя худоба!» (имение) — оборвала его Варвара Петровна и посадила на место.

С тех пор Василий Антонович, как шелковый.

Никто никогда не слыхал, откуда он взялся и как попал в Ватагино. Говорил он по-московски, но ничего не имел общего с теми «русскими», съемщиками сада — такая кротость, уступчивость и добродушие не в московском укладе хитром и жестоком. Никому он не писал писем, а у него оказались родственники в Рязанской губернии — через много лет дошло до них, что Василий Антонович женился, и они о себе известили, но письмо их осталось без ответа.

У Василия Антоновича было общее с Афанасием Матвеичем Москалевым из «Дядюшкина сна» Достоевского: заробелость и подчинение. Но у Варвары Петровны, первой по кулинарии в Ватагине, и у Марьи Александровны, первой дамы в Мордасове, разве только это первенство. Варвара Петровна суетливая или, как называли ее в Ватагине, «торопленная» ни над кем не командовала, только на кухне, и думала и жила детьми, а Василий Антонович просто не считается.

Лена Боровая подруга Оли. Оле всегда было неловко, когда Лена пренебрежительно отзывалась о отце. Оля давно поняла, что Василия Антоновича не любят, и не могла понять, как можно и как это живут люди друг с другом, не любя.

Варвара Петровна приходила к Ильменевым с Костей. И сначала этот Костя был просто носатый ка-

детик, а с каждым летом он подымался все выше, перерос отца, потом мать, потом стал верстаться с тополями. И уж один без Варвары Петровны появлялся у Ильменевых: он не входил в дом, а шел прямо в сад и ложился на траву: голова у амбара, а ноги в сажалке. Проходя садом, непременно наткнешься, и он всегда скажет:

— Так сказал граф Толстой.

Однажды Наталья Ивановна спросила его, почему он не входит в дом, а лежит в траве.

— Я дома не могу лежать, — ответил Костя, — потому что мне не нравится нос моего батьки.

Впрочем, належавшись в траве, иногда он входил и в дом, но не с крыльца, а через балкон, собаки его знали и не лаяли, он проходил прямо в гостиную и садился в глубокое кресло. И к этому тоже привыкли, никто не обращал внимания, да и он не беспокоился. Всем, кто появлялся в гостиной, он говорил одно и то же и оно звучало так же, как из травы «так сказал граф Толстой»:

— Так - перетак — растак. А - перea — разъа...

Еще носатым кадетиком в Киеве Костя влюбился в сестер Коровиных. И об этом он всем рассказывал: сестры по его словам были больше чем взрослые, две сестры. И рассказ его производил впечатление самым соединением слов: «сестры Коровины». Потом он влюбился в гимназистку, потому что у нее было «удивленно-глупое лицо», потом в дочку единственного Ватагинского лавочника Улю. И с Ули начинаются его романы.

День належавшись в траве или насидевшись в кресле, Костя шел к соседям Манковским. Дом Манковских был самый богатый в Ватагине, с бесконечным садом и бесчисленными комнатами — хозяину предписаны были доктором ежедневные трехверстные прогулки: чтобы не выходить из дому, был вымерен ковер в столовой, — и по этому ковру и совершались прогулки. А славились Манковские необыкновенным

вареньем и частыми пирами: хозяева были помешаны на всяких именинах, рожденьях и свадьбах. И всегда гости. Костя танцовал, влюблялся и ухаживал.

Костя влюбился и в подругу Оли, гимназистку Катю Рогачову, которая в последнее гимназическое лето гостила у Ильменевых. А когда Оля приехала в первый раз из Петербурга курсисткой, Костя влюбился в Олю.

Костя кончил кадетский корпус и собирался в Петербург, в военное училище. Оля его пропагандировала.

— Разве можно так жить, — говорила Оля, — надо все переделать.

— Да чего-ж беспокоиться, — отвечал Костя, — ведь комитеты за-границей работают.

— Каждый должен, — сказала Оля, а сама подумала: «ну, и дурак!»

И все-таки продолжала — Костя смотрел влюбленными глазами и со всем соглашался; он называл имена своих товарищей, среди которых он может организовать кружок.

Осенью, когда Оля уезжала в Петербург, Костя приехал на станцию провожать. Но Оля была со студентом Черкасовым, который ехал тоже в Петербург, — какие уж там разговоры с Костей! И Костя обиделся.

В Петербурге Оля получила письмо от матери: Наталья Ивановна наказывала Оле быть осторожней — Костя рассказывает о ней всякие небылицы, вроде того, что она сидела в Петропавловской крепости, и там ее остригли, но главное, как Оля его пропагандировала; Наталья Ивановна приводила Оле ее слова.

Олю это страшно возмутило: рассказы Кости очень могли помешать ей.

Идя с лекции к себе, Оля рассказала Жене Шубиной.

— Неудавшееся миссионерство! — сказала, улыбаясь, Женя: Женя Оле сочувствовала.

Оля никак не могла успокоиться: если бы это была сплетня, но ведь в письме матери приводились слова Оли, сказанные Косте! — и возмущению не было конца. По дороге Оля и Женя купили хлеба и сыру. И за чаем, продолжая возмущаться, Оля стала резать сыр и отхватила себе кусок от пальца — след на всю жизнь.

Оля жила на Васильевском острове у Берты Федоровны. Эта Берта Федоровна добрая и тихая, и когда топит печку, любила рассказывать: она за вторым, и от первого мужа детей у нее не было, а как вышла за другого, у ней «кожный» год, и всегда умирают. А ходил к ней «кожный» день Herr Pappendick — и утром и днем и вечером. И однажды на звонок, когда Берты Федоровны не было дома, Оля отворила, и вошел не Паппендик, а Костя — расфранченный в форме и с саблей.

Оля ему все и сказала.

— Да это не я, — оправдывался Костя, — это все Ольга Павловна.

А на эту «Ольгу Павловну», на которую так неумно свалил Костя всю свою болтливость и бахвальство — Ольга Павловна, Ватагинская портниха, могла сочинить какую угодно любовную историю, но о революции... да она такого и слова не слыхала! — Оля, вспыхнув, объявила Косте, что прекращает с ним всякое знакомство. И вгорячах хотела сказать само собой навертывавшееся «вон!» — но, вспомнив всю ту праздную и пустую жизнь и издевательства над этим забитым добродушным стариком, над отцом Кости, Василием Антоновичем, не удостоенным даже имени отца, а «батьки», сказала то, что подумалось:

— Знакомство с вами не считается.

Это было последнее слово Оли, а сказано так, что Костя сию же минуту вышел — и эта его дурацкая сабля хлопала за ним вдогонку: «не считается».

Больше Оля никогда не видала Костю.

А судьба ему выпала своя, да так оно и надо было ждать, и все это не по каким-нибудь соображениям и высшим мотивам, а вроде возгла́са из травы «так сказал граф Толстой», просто, что очень зорко заметил Достоевский, «с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут». Костя был за что-то разжалован и опять произведен в офицеры; домой он никогда не писал — в отца, узнавали с запозданием через других. Так узнали и о его конце: становой привез бумагу много спустя — где-то далеко от своих мест повесился.

НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ

Пансион Линде — огромный дом с огромным двором, а дальше большой сад, — Оле, вспоминавшей свой Ватагинский, не казался таким, но всегда говорилось: большой. В конце двора флигель, во флигеле живет хозяйка дома Вера Харитоновна. Всякое утро из окон пансиона видно, как идет она, пересекая двор: злая, рыжая старая дева.

В пансионе была гимназистка Машенька Фитингоф, племянница начальницы гимназии Марьи Ивановны. И Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна, начальницы пансиона, ухаживали за Машенькой: они и ее фамилию произносили, не как других, а с именем: не Фитингоф, а Машенька-Фитингоф. И выходило много путаницы и смеха.

Гимназистки затеяли сниматься. Снимались каждая отдельно. Фотограф, сняв, спрашивал фамилию, а отвечала Паулина Викентьевна, сопровождавшая гимназисток. И все было хорошо: Ильменева, Аларева, Осмакова, — но на Машеньке Фитингоф фотограф посмотрел, как снимающийся смотрит в аппарат: «не понимаю». И Паулине Викентьевне пришлось не раз повторить и она повторяла нераздельно, как какую-то мудреную арабскую фамилию или замысловатую составную на манер старинных французских: «Машенька-Фитингоф». Жаль, что очередь Машеньки бы-

ла последняя, а то бы какие вышли смешливые лица — ведь открыто смеяться никак нельзя было.

Машенька-Фитингоф училась хорошо, но откуда в ней была такая плюгавость, и совсем не вязавшаяся с ее немецкой фамилией: маленькая, белобрысенькая, а глаза, как две волчьи ягоды, и не красные, а белые, которыми медные тазы чистят, Машеньку называли «тунгус в юбке». Находясь в привилегированном положении, — Машенька и спала в одной комнате с Розалией Викентьевной и Паулиной Викентьевной, — знала она много такого, что для других оставалось скрытым. Да и мизерность ее помогала ей быть во всех комнатах одновременно и совсем незаметно; и в доме и на дворе и в саду и во флигеле она все видела и все слышала.

От Машеньки-Фитингоф Оля узнала, что Вера Харитоновна очень скупая, прислуги у нее нет, а вся работа лежит на ее племяннице — гимназистке Сане Мавольской, а эта Саня в четвертом классе, но совсем большая — в каждом классе сидит по два года. А вскоре Оля встретила в гимназии Саню: и вправду, она была совсем большая и показалась Оле очень хорошенькой: такие длинные сросшиеся брови.

От Машеньки-Фитингоф Оля еще узнала, что Вера Харитоновна плохо обращается с Саней, а заступиться некому: нет у Сани ни отца, ни матери. И Оля представила себе, как это было бы, что никого нет: ни любимой бабушки, ни мамы, ни папы, а живет она у тетки, и стало ей жутко, и пожалела она эту Саню, за которую заступиться некому.

От Машеньки же стало известно после экзаменов, что Саня Мавольская так и не перешла в пятый класс и ее исключили из гимназии.

А как-то осенью, в самую дождливую пору, когда по ночам холоднее чем в самые морозы, Машенька-Фитингоф объявила, и все это слышали, что Саня сегодня утром прибежала босиком от Веры Харитоновны. И с этого дня Саня стала жить в пансионе: она

помогала по хозяйству. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна звали ее Сашенька, а гимназистки — Александра Григорьевна.

Как и чем изводила Саню Вера Харитоновна, Оля не знала, но в пансионе жизнь Сани была у всех на глазах. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна — живое воплощение аккуратности и точности — требовали работу, а пансион большой — без дела не посидишь, да и на минуту присесть не было времени, и так всякий день с утра и до позднего вечера без перерыва, ну, конечно, не обходится и без замечаний, ведь и машину захлестывает, как другой раз не ошибиться. И эта непрерывность тоже может очень извести человека и без всяких криков и попреков и понуканья.

И однажды вечером Саня вошла в комнату к гимназисткам и без слов заплакала. Все притихли, а она плакала. Потом сквозь слезы стала читать: «я молился сейчас пред иконой святой»...

— Вот и я так! — сказала Саня, окончив стихотворение, прочитанное отчетливо и с чувством — в чувство поэта, на словах которого отводили душу столько страждущих и обремененных.

Этот вечер с трогательными стихами Надсона — громкой исповедью перед всеми, ведь исповедь не только покаяние, а и жалоба; этот вечер с долгим плачем без слов на глазах у всех, ведь плач на людях это тоже жалоба, как исповедь, был прощальным вечером Сани.

Приехала какая-то дама и взяла к себе Саню в качестве бонны. Оля слышала, как Розалия Викентьевна, прощаясь, сказала:

— Сашенька, двери нашего дома всегда открыты перед вами.

И эти напутственные слова были хорошим знаком: Саня расставалась мирно. Оле очень было жалко Саню, и никогда не забыть Оле своего жуткого чувства: некому заступиться.

А, должно быть, жизнь, в качестве бонны, оказалась не слаще пансионской: не прошло и месяца, как Саня опять появилась в пансионе, и началась с утра и до позднего вечера работа по хозяйству непрерывно.

На Рождество приехал сын Паулины Викентьевны, доктор Виктор Густавыч, и скоро стало известно, что Саня выходит замуж. О замужестве Сани только и было разговору — весь пансион обсуждал судьбу Сани.

Гимназисткам Виктор Густавыч показался очень некрасивым — «рожа», а Саня была для всех «хорошенькая». И все говорили, что по другому она поступить не могла: и не согласись она, не стали бы держать ее в пансионе, не велика нужда, ведь вот с месяц и без нее управлялись, найдутся и другие Сашеньки —

— Сане некуда деваться, оттого и выходит.

— Я бы никогда не вышла, — сказала Оля, — и пусть бы меня выгнали, я бы ушла и на холоде умерла — замерзла. И это лучше.

Машенька-Фитингоф, от которой и шли все новости и которая была голосом своей благоразумной тетки — начальницы гимназии, не соглашалась с Олей: Саня поступает правильно, и в ее положении так и следует.

— Сане некуда деваться и другого выбора у нее не может быть.

До лета Саня оставалась в пансионе. Летом должна была состояться свадьба. Саня теперь называла Паулину Викентьевну — мама, а Розалию Викентьевну — тетя, и продолжала попрежнему свою изводящую работу с утра и до позднего вечера непрерывно.

И все-таки эта непрерывная работа была тишиной и миром сравнительно с тем, что было у тетки во флигеле. Вера Харитоновна в свое время намудровалась над Саней — это теперь понимали все подросшие гимназистки. С Верой Харитоновной, встречаясь, никто больше не здоровался, все равно, она никогда

не отвечала, она смотрела так, будто всякая встреча была ей поперек. А ведь это все были дети, и ни у кого не было никаких злых мыслей, они и здоровались весело и приветливо — от души.

Валя Шалаурова пригласила Олю к себе на вечер. Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна разрешили, но чтобы вернуться в десять. Оля и вернулась точно в десять. Но калитка-то оказалась заперта. Олю провожал брат Вали: и Оля и Петя стучали без конца. И тогда Петя перелез и с другой стороны открыл калитку. Стук слышала Вера Харитоновна, но не отозвалась: она вышла только посмотреть. И потом донесла. И за это Олю не пустили на вечер к Берсеневым. Это случилось на масленице и Оле очень хотелось. Каким длинным ей показался вечер! Был мороз и звезды. Подходя к окну, Оля видела эти предвесенние ясные звезды, но и эти самые ясные застилались, Оля видела, как простоволосая рыжая ходила по двору под окнами Вера Харитоновна и что-то вкусное пережевывала — маковник ли это медовый, или сладкая смоква.

Да, это был живой «ананасный компот», о котором рассказывает Достоевский, исповедуя в Лизе Хохлаковой свой тайный злой помысел, да, это было повторяемое у Достоевского злорадство, испытываемое человеком при виде беды другого человека, да, это было — бывает и такое человеческое сердце, для которого отыскать вину в человеке безвинном — удовольствие, а наказание за эту мнимую вину — наслаждение.

За эти последние месяцы Саня привязалась к гимназисткам и часто выручала.

Вера Аларева и Катя Осмакова потихоньку ушли из пансиона. Розалия Викентьевна шла с Саней, а навстречу извозчик, а на извозчике эти самые гимназистки. Розалия Викентьевна остолбенела: «Аларева и Осмакова»?! — «Что вы, тетя, — сказала Саня, — это губернаторские дочки, посмотрите, и калоши с

опушкой!» Но уж смотреть не на что было — проехали. И ведь до чего Саня уверила этими «опушками», Розалия Викентьевна потом сама при всех рассказывала, как она губернаторских дочек приняла за Алареву и Осмакову.

И Розалию Викентьевну и Паулину Викентьевну легко проводили и сами гимназистки, но бывало, как этот случай с «опушками», без Сани никак не прошло бы. В Сане много было расположенности, все издевательства ее тетки и эта дергающая непрерывная работа не озлобили ее истерпевшегося сердца, и беззащитного.

Все понимали безвыходность Сани и жалели. И Оля, жалея Саню, не переставала свое думать и на своем стоять, что лучше замерзнуть, но никогда не соглашаться.

«И разве может такое пройти так человеку?» — но это не Оля, за Олю, над Олей кто-то спрашивал и тайно бередил беззащитное сердце покорившейся перед безвыходностью Сани.

После летних каникул Оля не вернулась в пансион Линде. И больше не встречалась ни с Розалией Викентьевной, ни с Паулиной Викентьевной, ни с Саней. А потом как-то слышала, что пансион закрыли, а Розалия Викентьевна и Паулина Викентьевна переехали в маленькую квартиру и с ними Виктор Густавыч и Саня.

Оля жила у тетки Марьи Петровны. От тетки она и узнала, что умерла Паулина Викентьевна. Оля пошла на панихиду. Паулина Викентьевна лежала на столе и с тем самым выражением, с каким повторяла когда-то непонимавшему ее фотографу: «Машенька Фитингоф». С Олей стояли гимназистки, все смотрели на Паулину Викентьевну, но смешливых лиц не было: Паулина Викентьевна была добрее Розалии Викентьевны. Розалия Викентьевна и Саня плакали.

Это была последняя встреча из той жизни, которая для Оли кончилась с гимназией, а начавшаяся в

Петербурге новая на курсах была занята и деятельна, и даже вспомнить было некогда.

И вот совсем-то не думая, а думая о своем, Оля вошла в трамвай и увидела Саню: по бровям узнала — такие длинные сросшиеся, и Саня узнала Олю. И затащила Олю к себе.

Саня жила с мужем, который был теперь Петербургский доктор, и с ними Розалия Викентьевна. Виктора Густавыча не было дома. Розалия Викентьевна еще больше согнулась. А Саня — хотела ли она рассказать о себе или спросить Олю... ничего не выходило: Саня беспомощно, безнадежно заикалась — понять ничего нельзя...

Оля, глядя на ее мучительную безвыходность — слова судорожно бились на языке, а никак не выговаривались! — вдруг живо по своей резвой памятливости представила ту жизнь, и ту, отчетливо говорящую стихи Саню, и свое непреклонное «скорее замерзнуть, чем...», а то, что когда-то спрашивало за Олю, над Олей, заговорило в Оле, и она все поняла.

И разве может что-нибудь на свете пройти бесследно!

НЕ ДОЖДАЛАСЬ

Жили-были две подруги, как в сказке, Олеся и Гуня. Обе учились в гимназии в одном классе и однолетки: и той и другой двенадцать исполнилось. Одна была очень богатая, другая очень бедная. Если бы они были взрослые, такого различия никогда бы не случилось: из любви и дружбы, какой были связаны подруги, — Олеся помогла бы Гуне, ведь это только в нашем холодном мире, встречаясь, ничего-то друг в друге не замечаем! Или не так: будь они взрослые, и совсем бы не могло быть никакой дружбы — да и где бы им встретиться! а если-б и встретились... но это не зря сказано: «легче борову свиному проткнуться в игольное ушко, чем богатому проникнуть к сердцу бедного».

У Олеси все: и дом и сад и лошади — единственная она — и для нее все, и по фамилии-то Олеся — Цвет, первые купцы в городе. А у Гуни — — отца она не помнит, давно помер; отец ее итальянец, мать русская; ее мать — заведующая городской школой, и заработок ее — все.

Гуня Польлио, но считает себя русской, хоть и никак она не похожа на вздернутую белую, узкоглазую Олесю: Гуня в отца — темная, не по северному солнцу открытая, и как клюв у нее над полным розовым ртом. Многое уж за эти розовые годы понимала Гуня в холодном синем мире и, гордая, никогда не ходила по гостям к богатым подругам, и только к Олесе. А Олеся ничего еще не понимала, ей и в голову не приходило хотя бы спросить у Гуни, почему это ее мать все одна и никогда нигде не бывает?

Гуня жила с матерью в школе. И гимназистки любили бывать у ней: гимназисток занимала школа — можно было скакать по пустым партам, разрисовывать рожами доску или про учителей вымелить на доске такую надпись, не поздоровится, и за это не попадет. Но ни с кем не чувствовала себя Гуня так, как с Олесей, и когда мать уехала в Киев — операцию ей будут делать — Гуня только к Олесе и только одной Олесе она могла рассказывать самое свое заветное — она уж понимала, и что одинока мать, и всю их бедность, — и вот как она любит мать: «больше всего и всех на свете!»

Это случилось осенью, когда Гуня в первый раз осталась одна без матери. Невыносимо было ей одной — «точно не жила она!», — а по ночам страшно: прислуга, которой наказано было спать с Гуней, и не думала, а с вечера уходила на ночь со двора. С отъездом матери, Гуня начала дневник: и как мать вернется, не рассказывать ей, что без нее было, а дать прочитать — ее дневник всякая мелочь, и всякая мелочь, не забудется.

В дневнике она рисовала картинки из «Тысячи и

одной ночи», ей особенно нравились волшебные сказки про джиннов, и она рисовала и «правоверных« и злых — «маридов», и всегда у нее выходило, что все «правоверные» были, как Олеся, со вздернутыми носами, а мариды, как она сама, горбоносые; еще рисовала она талисманы — красных и белых змей, белых петухов с раздвоенным гребнем, и оборотней — облезлых обезьянок, которые неожиданно чем-то напоминали Олесю. Гуня мечтала встретить такую обезьянку — марида из маридов — и чтобы полететь на ней к звездам — «и неужто, — думала она, — это правда, эти мерцающие наши звезды на глубоком синем небе такие грозные, раскаленные горы, тесно прижатые друг к другу, а выше — еще не видно, но слышно, как ангелы поют?» — и полететь бы еще в медный город, над которым не восходит солнце! Гуня рисовала, и как летит она на мариде, крепко ухватившись за его шершавую, как у обезьянки, с теплым перекатывающимся горлом шею, и самый медный город: в этом городе она с матерью будет жить, туда переедет и Олеся, втроем — она уж поняла, что в их городе, над которым восходит солнце, люди... нет, люди совсем не злые, а успокоенно-равнодушные: сколько раз она слышала, как говорили про ее мать и про нее, что они устроены, что мать получает жалованье, и что «чего-ж им еще нужно?» — и редкое утро, чтобы не видела она согнувшуюся мать над починкой белья, — ведь, на них ничего нет целого, все-то заштопано и в заплатах, только что не видно! — и редко, чтобы ночью не просыпалась она вдруг, как уколотая, от тяжких вздохов матери — днем, при свете, многое можно скрыть, а ночью и без слов все наружу и все узнаешь, — и эти ночные вздохи стояли у нее в ушах, но чем она могла помочь? — или только своей наперекор всеобщему успокоенному равнодушию беспокойной любовью? своей мечтой о медном городе, над которым не восходит солнце.

Я не знаю среди книг, с какой еще можно срав-

нить — ничего нет более грустного, чем эти сказки «Тысячи и одной ночи», и этот грустный свет их проник из Алеппо в веках по всему миру, отсвет его я чувствую и в безумном отчаянии Достоевского, и в сияющей вере Толстого, и в единственной бедности среди волшебного Божьего мира кругом покинутого Гоголя.

Кроме «Тысячи и одной ночи», Гуня рисовала Робинзона, но не приключения среди людоедов, как «диких», так и «недиких», а его брошенность и мечта о свободе, вот что ее трогало, — ведь, это было так близко ей, когда она осталась одна, и ждала мать: Робинзон в воображаемой одежде, хоть и с длинными усами Тараса Бульбы, похож выходил на даму; подпись: «Робинзон на необитаемом острове питается черепашьими яйцами».

Осень — дождик, а выпадают удивительные дни — и тепло, и ясно, и в такие дни не надышешься и не насмотришься, — в эти последние дни, в которых гораздо больше значенья, чем думается, и что открыто только несказываемому чувству — живым лучам древней памяти человека. Накачавшись на качелях или набегавшись на гигантских шагах, Гуня рассказывала Олесе о своей матери.

Гуня получила письмо из клиники: операция прошла, но еще три недели мать должна оставаться в клинике для поправки и тогда вернется домой; она привезет Гуне подарок, она заказала: тоненький золотой браслет с двумя шариками — заказала через сестру милосердия, чтобы к отъезду был готов; и еще купит что-нибудь — из клиники она выйдет утром, а поезд уходит вечером, вот перед поездом — целый день! — что-нибудь сама выберет и купит; а заказала бы она и не такой тоненький и не с двумя, а с пятью шариками, да денег не хватит: ведь еще три недели!

У Олеси много всяких браслетов и серег и брошек — она слушает Гуню и понимает, как любит мать Гуню, ее тоже любит ее мать и отец, но никак не может понять, как это, если болен человек, и ему не хватит

на поправку... И Гуня понимает, что Олесе не понять, но Гуня чувствует, что Олеся что-то чует, и, самое главное, сочувствует, — как ждет она мать.

Гуня написала на листке дни и числа, и всякий вечер вычеркивает — так скорее время проходит. А время, вот когда она поняла, как медленно идет время. И все-таки не три недели, а восемь дней осталось. И страшно ей по ночам — не спит, и от нетерпения еще: ждет — всякий день прибирает комнату, готовится к встрече и, хоть продолжает дневник, но есть у нее и еще, чего никак не напишешь и никакими картинками не нарисуешь, и что она, глядя в глаза, тихонечко скажет — она скажет, как любит, и как всегда любила, но только теперь особенно поняла.

Это так — как другой раз поймешь и не от своей, а от чужой беды, как это я теперь понял, и вдруг вся моя жизнь осветилась, и точно в первый раз я увидел мир: «и в самой тягчайшей беде есть выход для человека — служение миру — всем страждущим в этом холодном синем мире!» И вот уж стала для нее неправдой горчайшая правда: «кто другому помочь может?..»



Жили-были две подруги, как в сказке, Олеся и Гуня. Одна была очень богатая, другая очень бедная. А судьба их была одна, как их любовь — одна и неразлучна.

Гуня пошла узнать к Олесе: что случилось, и в гимназии не была, и не известила. Но Олесю она не могла увидеть. Встретил ее отец, и сидела Гуня в столовой: к Олесе нельзя — захворала. Гуня заметила, что в доме большая суетня: ждали доктора. И Гуню не задерживали. А, когда она проходила двором, подъехала пролетка, и Гуня догадалась, что это доктор. А через два дня все узнали, что у Олеси скарлатина.

А еще через день, что Олеся умерла.

Гимназию закрыли: боялись — в городе эпидемия.

Гуня была совсем одна — эти три дня, как была

она в последний раз у Олеси, ей показались томительнее всех дней и, как тогда, по отъезде матери, поняла она, как любит мать, так теперь поняла, как любила Олесю. Места не находила себе, и ни на чем она не может остановиться; все валилось из рук, и сама она валилась.

Вечером, как всегда, она хотела записать в дневник, но не могла ухватить и высказать мыслей и, вместо букв, у нее выходили крестики, и из этих крестиков, как вырвалось, одно только слово: «поскорее». Она вычеркнула день — остается пять дней: еще пять дней! И легла спать, но не спала она. И не от страха — ей больше ничего не страшно, но не может она остановиться: она все вычеркивала дни, чтобы «поскорее», — и тогда вернется мать! — но сколько ни вычеркивала, оставалось пять дней. Время остановилось. И тогда на нее нашло то, чего с ней никогда не бывало: страшная злоба поднялась в ней — и углем, горящим углем она стала выжигать дни, но сколько ни жгла, оставалось пять, и эти огненные пять красными и белыми змеями горели здесь — над бровями, и здесь, — но не змеи, горячие руки обняли ее сзади за шею и душили, и, задыхаясь, она вдруг узнала, что эти, горящие змеями, тугие руки — Олеся.

И тот же самый доктор, которого Гуня встретила, возвращаясь в последний раз от Олеси, приехал к ним в школу, но Гуня его не узнала: задыхаясь, она не подымала глаз, — трудно ей было смотреть на свет, и только схватывалась, как в бреду: «поскорее!»

А когда приехала мать, Гуню уже похоронили.

Гуню похоронили накануне — в тот день, как она померла: нельзя было ждать — боялись. И никто из гимназисток не провожал ее. Так и похоронили — похоронил отец Олеси на дорогом кладбище рядом с Олесей, и крест на ее могиле, как у Олеси, и на этих двух одинаковых крестах такие разные карточки...

А мать Гуни привезла ей, кроме тоненького золотого браслета с двумя шариками, еще черные часики

— мечта Гуни, и несессер: нитки, иголки, наперсток, ножницы, — только в медном городе, над которым не восходит солнце, там этого ничего не надо. И самой бедной девочке — ведь всегда найдется кто еще беднее тебя! — отдала она в память единственной, самой любимой «больше всего и всех на свете». И тем, что она вспомнила в своем горе о чьей-то чужой беде, она, как воскресла, — это свет чужой беды согрел ее оледенелое от тоски сердце.

НАПЕРЕКОР

Оля дружила со всем классом, а с Зиной Разумовской особенно. Почему-то друг другу понравились. Зина училась хорошо, как и Оля. И обе считались смелыми — на уроках их вызывали при всяких ревизорах: никакие «значительные» лица, ни головоломные вопросы не смутят их. Обе принадлежали к «задумывающимся» — по Достоевскому и к «убежденным» — по Блейку. Такими они на свет зародились.

Оле хотелось сидеть с Зиной на одной скамейке, а рассаживали по росту — и Зина всегда сидела впереди Оли: Зина маленькая, меньше всех, а по глазам—огромные черные — ни у кого таких, и нельзя от таких отвернуться. Оля всегда с Зиной: на большой перемене обыкновенно дети бегают, ловят друг друга и визжат, а Оля и Зина, обнявшись, скакали по залу. У Зины распущенные волосы, завязанные бантом.

Дружба началась со второго класса, когда Оля жила в пансионе Пенкиной. В пансионе на завтрак ничего не давали, и Оля покупала себе за три копейки ватрушку. Зина из дому приносила бутерброд с ветчиной и яблоко. И стала приносить другое яблоко — для Оли.

У Зины почерк косой, буквы слитны, Оле трудно было разбирать ее записки: Зина писала Оле, когда пропускала уроки. Однажды Зина просила прислать русскую тетрадку с объяснениями: в гимназию она не

придет, — «у меня камень и насморк». Оля много раздумывала об этом загадочном «камне», который оказался просто «кашель».

Разумовские самые важные в городе, значительнее всяких губернаторов и попечителей. Дом их, как дворец, и простому смертному никак не попасть. Оля была всего раз. Ее пригласили с другими гимназистками, жившими в пансионе Пенкиной: у Зины Разумовской две сестры — одна в восьмом, другая в шестом.

Пили чай в столовой. Оле запомнилось: высокие стулья и мать Зины — большая и черная. Были и гимназисты. Но Оля и Зина после чаю ни разу не заглянули в залу, где старшие танцовали: Оля и Зина были заняты игрой в гостей — приглашали друг друга, угощали конфетами и всякими сластями, которых им много дали. А когда наигрались, захотелось спать. Но Оле одной без старших, которым ее поручили, никак нельзя было уйти. И они устроились тут же, где играли: поставили стулья и, каждая на своем, одна свернулась ежичком, другая калачиком, и крепко заснули.

И такой это был сон, как Божий рай, тихий и безмятежный, никогда уж так не спала Оля, да и Зина не помнит. Когда Олю разбудила одна из танцовавших гимназисток, она долго не могла понять, где находится, точно провалилась во что-то сыпучее и никак не выбраться — сон не отпускал ее. И едва шла она по улице — непреодолимо клонило, и все сердились на Олю.

И потом Оля вспоминала Зине этот вечер, а Зина потом уж, вспоминая свое детство, писала Оле из ссылки все так же неразборчиво, косо и слитно, что «такой дорогой подруги у нее никогда не было».

И еще раз, но не в доме, была Оля у Разумовских. Оля шла с экзамена и по дороге ее окликнула Зина: «Зайди хоть в сад!» — позвала Зина. И Оля зашла в их сад, а сад этот был, как Божий рай. И Зина среди высоких деревьев и густых кустарников и всяких цве-

тов такая маленькая с огромными черными глазами — светящимися, как зверек.

На уроке французского языка вошла классная надзирательница и позвала Зину:

— Идите, за вами пришли из дому.

Зина вышла, и за ней учительница мадам Вьеяр. А вернувшись без Зины, мадам Вьеяр сказала:

— Ее отец умер.

Тетка Марья Петровна, любительница раздирательных сцен и всяких скандалов, рассказывала по городу, и про это слышала Оля, что на похоронах мать Зины, большая и черная, показывая на какую-то серенькую женщину, стоявшую тут же за гробом, громко сказала: «Дети, смотрите, вот виновница смерти вашего отца!» Оля ничего не поняла, только было ей очень страшно.

После смерти отца Разумовские переехали в деревню. Зина захворала, говорили, что у нее «анемия мозга», и год она пропустила в гимназии. А когда снова вернулась, дружба с Олей пошла по-старому.

Обе читали книги и передавали друг другу. Зина дала Оле «Ниву» за несколько лет с романами Саллиаса и Соловьева, а Оля прежде всего свою любимую в шоколадном переплете золотыми буквами — «Русским детям Достоевский», прочитанную еще во втором классе в пансионе Пенкиной.

Ни Неточка и Катя, ни Нелли, а рассказ из «Подростка», названный в «Барском пансионе», вызвал тогда бурные, изливавшиеся со дна сердца, горячие слезы: в рассказе ничего не было, что хотя бы отдаленно напоминало судьбу Оли, кроме пансиона, но, переговаривая слова Достоевского о униженной матери, Оля представляла свою мать, и это были первые слезы.

Год в шестом классе Оля прожила в странной семье Берсеневых, где после смерти матери отец не говорил с детьми, и где все было странно до жутких зеркал и жутко потрескивающего по ночам паркета. А Зина у французской учительницы мадам Вьеяр.

И Оля и Зина «обожали» учителя словесности Павла Николаевича Соловьева. Оля получила от Зины записку, как всегда, косо и слитно, но все разобрала:

«У мадам Вьеяр будет Соловьев, приходи!»

Пропустить такой случай — такая редкость: поздороваться с Соловьевым за руку, сидеть с ним за одним столом! — Оля едва дождалась вечера и в своем легком сером платье, а в таком неформенном гимназисткам не позволялось ходить по улицам, помчалась к Зине.

И обе с нетерпением ждали, когда мадам Вьеяр позовет их чай пить. А какими счастливыми вошли они в столовую, где уж сидел учитель Соловьев. К чаю, конечно, они не притронулись и ничего не ели.

— Что вы читаете? — спросил Соловьев Олю.

— «Преступление и наказание».

— Вам рано, — сказал Соловьев, — не можете всего понять.

Оля вспыхнула: она — не все понять?!

И Оля была права: большие произведения тем и большие, что есть в них много окон и много дверей, и в какое окно ни заглянешь и в какую дверь ни войдешь, останется, что видел все; это все — в меру каждого глаза, для четырнадцатилетней Оли свое, для учителя словесности свое, но чувство одно: видел и все понял.

Не пауки Свидригайлова, глазатые и тысяченогие, ткущие жизнь и распределяющие долю живому без пощады и милосердия по своим каким-то соображениям; не баня с пауками — этот образ то-светной вечности и того неожиданного и поразительного, что откроется человеку, освобожденному от чувств в его смертную минуту; не разожженный уголек в крови Свидригайлова — этот гвоздь всяких романических трагедий, такое совсем чуждое существу Оли, и надо всеми словами сказать, что не только этот один единственный разожженный уголек светит и цветит жизнь человека, а есть и еще что-то какое-то другое «начало»

жизни, с чем зарождаются люди и проходят свою жизнь и в цвете и в свете! — — — не сыскные фокусы Порфирия Петровича — охота человека на человека — эта душа авантюрных произведений, а бедовая, ничем неоправдываемая судьба погибающих от «непосильной работы» — слова старой няньки, сказанные Бог весть когда, и оставшиеся у Оли живыми на всю жизнь; бедные люди, унижаемые праздными и сытыми. И не убийство старухи процентщицы—вши, не Раскольников, прячущий свою преступную тайну под камень на Вознесенском проспекте, а Раскольников терзающийся, его кругом одиночество; и не ницчшенианские рассуждения Раскольникова о «сверхчеловеке», которому все позволено, а слова Раскольникова перед решением повиниться: перед кем повиниться? — Оля с детства видела и оценила эти суды праздных и самодовольно-легких людей, ищущих денег, славы и покоя ценою лжи, клеветы и помыкательства, суды того круга, в котором она жила и где ей назначалось жить! И наконец прожигающее слово Достоевского «сметь» — посметь взять все это за хвост и стряхнуть к чорту! А ведь это самая сердцевина ее «настойчивой и пламенно-настроенной воли» и самый глубокий и властный голос ее «врожденной любви к правде».

Нет, Оля все поняла — она увидела больше, чем видят четырнадцатилетние глаза. И учитель был не прав. Но Оля не возразила — но ей было обидно.

— Я вас обеих завтра буду спрашивать, — сказал Соловьев.

И Оля и Зина приняли за шутку — как это можно после того, как сидели за одним столом и «разговаривали»? Но учитель оказался выше житейских предрассудков и на следующий день в порядке «педагогической дисциплины» вызвал сначала Олю, потом Зину.

В седьмом классе после каникул Зина сказала Оле:

— У меня есть жених, он был летом репетитором моего брата, необыкновенно умный, он «деятель» (т.е., занимается «революцией»). Прочти «Обыкновенную

историю» Гончарова, там сцена в саду с Наденькой, и у нас тоже было.

Оля прочитала «Обыкновенную историю» и поразилась: в этой сцене Адуев и Наденька целуются. Странно было подумать, что это — Зина! Для Оли казались также невозможными и недопустимыми эти поцелуи, как невозможной и недопустимой представлялась ей в детстве война, которую она и перенесла в допотопное время — при Адаме и Еве.

И это так понятно: Оля по существу своему была «непохожая» и то, что казалось Зине «обыкновенным», для Оли было «неестественным» и «отвратительным», подлинно уходящим корнями к Адаму и Еве в мрак животных зачатий — — всеми словами повторяю, корни жизни человека в этом заложенном в кровь угольке от Адама и Евы, но зарождаются люди, жизнь которых и цветет и светит, от какого-то другого начала.

Оля была поражена признанием Зины — так ей это все было чуждо.

— Как же это бывает? — спросила она Зину.

— Да так — как вот с тобой! — ответила Зина и крепко поцеловала Олю.

Зина не кончила гимназии и наперекор матери, наперекор всем родственникам, вышла замуж за Алпатова, репетитора ее брата, только что окончившего студента, и через год поехала за мужем в ссылку в Сибирь.

А Оля кончила гимназию, наперекор всем уехала в Петербург, окончила Высшие курсы, и, когда после своего тюремного года перед ссылкой приехала на старые места, Зина с мужем вернулась из Сибири. Сколько прошло, а как ничего не было: Зина была та же, те же огромные черные светящиеся глаза.

Алпатовы жили очень бедно: и так было трудно, да еще дети — у Зины было трое.

Зина никогда не думала, что у нее будут дети — ее старшая сестра очень хотела иметь детей, но доктор сказал, что не может быть. Зина думала так и о себе.

— Первого я родила, — сказала она Оля, — с изумлением...

Зина советовала Оле выйти замуж за студента Черкасова. По словам Зины, большей любви она не видала, что он любит «без меры до невозможности», и, когда при нем говорят о Оле, тень проходит по его глазам.

Оля и сама видела, но ее это только мучило. Оля не выдумывала, не представлялась, не лицемерила: она не знала и не находила в своем сердце этих желаний — она не «мечтала», не готовилась к замужеству, а тем более быть матерью, как Зина, которая, хоть и с «изумлением», по существу своему была матерью. Душа Оли была взрощена совсем из другого, а все существо ее было не Зинино.

Что же повлекло их друг к другу с самого детства — чем и почему они понравились друг другу? И Оля сказала себе: «смелость», «наперекор» — да, это было в духе Оли и в духе Зины — и еще: «революция».

Как о двух началах света и цвета жизни — о «разожженном угольке» у одной и о белом — самом жарком и самом пронзительном, свете, окрашивающем помыслы другой, надо всеми словами сказать, что то чувство, которое побуждало «заниматься революцией», исходило из самого высшего источника духа и, если говорить по Евангелию, надо сказать, что «занимавшиеся революцией» и были те «ищущие правды», и горе тем, кто с юности со старым, но не мудрым сердцем, смирившийся, не знал этого пламенного чувства.

БЕЗ ПРЕДМЕТА

(Стихи)

Стихи самое, что есть живое не только в литературе, а и в жизни — сказки Шехеразады расшиты стихами. Пока мир будет стоять, будут выходить стихи. А уж дальше пойдет то самое замерзание — дышать

нечем! — о котором говорится в естественной истории, и, наконец, взвихренная земля сотрется в космический порошок.

Критика — гонители стихов и с ними актеры, «декламирующие» стихи, как прозу, нарушая глубокомысленными паузами ритм, и не защелкивая рифму, подлинно закоренелые изверги — «враги рода человеческого», отворачивающиеся от самого живого в живом. Уж одно необычное расположение строчек в стихах, постойте! — и читать не обязательно: при одном взгляде зазвучит. А этот стихотворный ритм и есть сам звук жизни.

А ведь жизнь — ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь — «это всесильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы» — этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот приземистый, дюжий, косолапый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем — Гоголевский Вий — — для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и не замученного, никогда не «тарантул», никогда — «пузырь с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками», никогда никакой Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все что можно себе представить чарующего из чар, вот оно то и есть, душа жизни.

И есть такие люди, одаренные воздушными песенными чарами — так не пройдешь, не заметив. Мало того, даже не чувствуя в себе никакой словесной склонности, при взгляде на них начинаешь сочинять стихи. И такие люди вовсе не какие-нибудь «роковые» и «демонические» в роде Гоголевской «сверкающей» панночки, и совсем не под стать подмосковной пололке с «инфернальным изгибом» — Грушеньке или Катерине-«хозяйке», и ничего в них мучительного, как в Полине и в Катерине Ивановне, и ничего мучащего от Лизы Хохлаковой, — ничего от Достоевского.

Валя Шалаурова старше Оли классом, подруга

Оли, — Оля больше дружила со старшими. Если про Марину Заветновскую или Зину и про Олю говорят: «два экземпляра», что и было очень близко к правде, трудно себе представить большей противоположности по существу и в духе, чем Оля и Валя.

«У меня все вдруг», — могла бы повторить Валя за Хлестаковым, и это было в самой ее стихии: легкость и бесследно.

Валя никаких загадок не загадывала, и никто никогда из-за нее не вешался, не травился и не стрелялся. Единственный случай: гимназист Бурнашов, бравший у нее Лермонтова, подчеркнул красным все любовные строчки и на полях против стиха: «в любви и злобе я неизменен, я велик» — красным написал: «кровь»; и все поверили. Но скоро обнаружилось, что на пальце размазывается розовым — ясное дело, красные чернила.

Валя была необыкновенно музыкальна — абсолютный слух: она управляла гимназическим хором, пела и училась на рояли. И смеялась она неподражаемо — она как-то «пырскала» так заразительно смешно, что невольно и сам засмеешься, хотя бы и не до смеху. А какие она рожи строила во время молитвы! Сама спиной к начальству, ее не видно, а хор весь на глазах, удержаться невозможно, и за это влетало, а ей никогда; да и не догадаешься — после всех своих рож и гримас она особенно истово крестилась.

Это ее озорство и еще чудачества — не менее увлекательнее ее смеха; вернувшись осенью после летних каникул в гимназию, она перемутила весь класс — она всем и каждой, под страшным секретом пообещала открыть после уроков какую-то важную тайну про себя, и сколько доверчивых и любопытных клялись ей, что не выдадут, все ожидали чего-то особенного, а что ж оказалось? — «привезла целый мешок орехов!» Неловкая — ну, кто это упадет в лужу, ведь о таком только так говорится в иносказательном смысле, а вот она умудрилась: она проходила мимо дома, где

жил гимназист Дарьяльский, ей захотелось показать, как она грациозна, она «вспорхнула» перед его окном, да не рассчитала и шлепнулась прямо в лужу. А ноги у нее крепкие, и уж никак не скажешь, как о Полине, «следок ноги узенький и длинный — мучительный», и руки тоже крепкие — всех поставит на колени а ее никто, и голос крепкий — мальчишеский, без всякой вибринки.

Ей очень шло голубое; голубого платья у нее не было, она всегда в коричневом гимназическом, но платок или шарф — и она казалась еще розовее. И не было гимназиста, который бы в нее не влюбился. И кто ей только не писал стихов! И это ее голубое звучало на ней стихами.

В Валю все влюблялись и потом бесследно забывали, и даже остававшиеся стихи ничего не говорили памяти — как пролетело, или вернее, из головы вылетело. И Валя во всех влюблялась и потом тоже никого не помнила. И ничего мучительного в этой любви, как от нее, так и у ней. Такие бывают мотивы, идешь по улице, прислушаешься — музыка! — и вдруг захватит и, кажется, только этот мотив один и заполняет душу, а вернешься домой и все позабыл.

Брат Вали Петя погиб «случайно», — вот уж судьба! Гимназисты играли с револьвером, думали, незаряженный. Петя наставил себе в рот и вдруг револьвер выстрелил. Страшно было, когда Петю привезли домой —— мать упала на него без чувств. Была осень, убрали Петю астрами и барвинком, товарищи несли гроб, а за гробом ехала мать и с ней Валя и старшая сестра Таня. Мать не могла итти, оттого и ехали. И народ шел — весь город: в маленьких городах все друг друга знают. Мать с тех пор стала седеть, — мать никогда не утешилась, сестра Таня долго помнила, а Валя скоро развеселилась — сердце у нее легкое.

В гимназии Валя получала награды и Лермонтов с искусственной «кровью» тоже награда. На улице ее называли «хорошенькой», в гимназии «чудачкой», а

сама она о себе ничего не думала: она была всегда влюблена.

Когда Валя начинала дружить с какой-нибудь гимназисткой, она, прежде всего, спрашивала: «в кого ты влюблена?». И это она говорила по себе, она не могла себе представить ни одного дня, чтобы не быть влюбленной или, как говорилось среди гимназистов и гимназисток, без «предмета». И «предметов» у нее бывало никогда не один, а по нескольку, и ни одного особенного, как и сама она — для всех и ни для кого вся.



В первый раз Валя влюбилась, когда ей было четыре года. Она влюбилась в большого гимназиста Юру. «Влюбиться» — она слышала от матери и сестры Тани, и поняла, что влюбилась.

Быть влюбленной значит думать про человека, что он лучше всех — лучше всех Вале казался Юра, потому что он был веселый и шумливый и, само собой, красавец. «Предмет» всегда красивый, и никакой другой «беспредметной» красоты нет. Про свою любовь Валя всем говорила, и над нею потешались, но этого Валя не понимала.

Мать Юры, заходя к Шалауровым, всякий раз приносила Вале яблоко или шоколаду и всегда, шутя, говорила: «это тебе Юра прислал». И Валя верила, как верят дети в «таинственного зайчика», который только и занят, чтобы промышлять детям гостинцы. Юра был лучше всех еще и потому — ведь кто еще так о ней заботится: это яблоко и шоколад! Но как бы обиделся Юра, если бы узнал, что в него влюблена такая козявка: сам он был влюблен в учительницу французского языка мадам Вьейяр, старше его лет на двадцать, да он и гимназистку-восьмиклассницу Веру Сахарову считал девченкой, а такую, как Валя — это очень обидно.

Два года длилась любовь к Юре. Самая долгая — первая, но и самая она легкая, бесследная, исключе-

ние у Тургенева в его «Первой любви». А сущность всякой любви: овладеть и... «сожрать», все равно, так или в «высоком» смысле, кому как нравится, но это так. И Валя, влюбленная в Юру, совсем не заботясь, само собой, достигла цели: Юра был ее раб — яблоко и шоколад получала от него Валя, как репарации.

Но и яблоко и шоколад приедаются, и Юра примелькался со своею веселостью и шумливостью. И в один прекрасный день лучше всех и, конечно, самым красивым стал для Вали брат Юры, Ваня. И она объявила, что она теперь поняла, что влюбилась в Ваню. Много над ней потешались, но она не понимала.

Ваня играл на рояли. И когда у Шалауровых собирались гости, Юра танцовал, а Ваня никогда: он усаживался за рояль и играл до тех пор, пока Валя могла смотреть на него, т.е. до тех пор, пока ее не уводили спать.

Любовь к Ване была короче: за зиму Валя взяла от Вани всю его музыку — все мотивы и все приемы, и ей стало скучно. И в первый же свой гимназический день Валя влюбилась в учительницу географии Зинаиду Кирилловну: Валю поразил цвет глаз и светлые волосы учительницы. И она, не отрываясь, глядела на нее, по своему какими-то своими словами вышептывая за Достоевским: «такая красота — сила, с такой красотой можно мир перевернуть!»

У Достоевского всегда все «предметы» необыкновенно «красивые», даже «демонически красивые» или вернее «чарующие» — да иначе и невозможно, ведь только «очарование», сделавшее по Гоголю наш мир адом, только очарование может не только перевернуть этот мир, т.е. нарушить всю математику, а и спасти от «страха и боли» и даже от неизбывной «злой памяти».

Наглядевшись на «красавицу» учительницу, Валя влюбилась в учителя словесности, все чары которого заключались в одном лишь обычае: так повелось, что все гимназистки влюблялись в Павла Николаевича Соловьева. И его «красота» или красота «традиции»,

т. е. сила очарования этой традиции затмила чары «красавицы» учительницы.

Учительница Зинаида Кирилловна очень любила детей и со всеми была внимательна, притом отличая каждого, а это очень важно; Павел Николаевич был со всеми вежлив и никого не отличал, а это уж плохо.

Но и нельзя было винить Соловьева. В чем мог он отличать Катю от Сони, Соню от Веры?

Катя читала «с **Мошей** тащится букашка»; Соня, не без гордости представляя самозванца из «Бориса Годунова», неисправимо заносилась: «царевич я, довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться»; Вера, говоря «тиха украинская ночь», читала вместо «луна спокойно с высоты» — «луна **с покойной** высоты», Вера — дочь батюшки, этим все объясняется. «Моша», «довольно стыдно», «покойная высота» — вот и все отличие: Катя, Соня, Вера. Следует еще упомянуть Люсю: тише ее не было во всей гимназии и говорила она робко с передышкой и всегда в «зреешь ты на солнце, колос наливая», выговаривала вместо «зреешь» такое... начальница, дама благовоспитанная, пришла в ужас и уверяла, что такое грубое слово в первый раз слышит, и не понимает, как могло оно на язык попасть примерной тихой Люсе, а сама Люся ничего не видела несообразного — мало ли чего не бывает на солнце, и что в ее хрестоматии так и напечатано. Соловьев вежливо поправлял и «мошу» и «довольно стыдно» и «покойную высоту» и Люсино «зреешь».

Павел Николаевич Соловьев был самым лучшим, самым «красивым», но ведь только глядеть на него, этого мало, надо чтобы и он посмотрел. Как же овладеть такой бесчувственной стеной?

У Соловьева родилась дочь. Мать Юры, по-прежнему баловавшая Валю яблоками и шоколадом, и всегда с неизменным «Юра-прислал», так что и прозвище ей в доме было «Юра-прислал», рассказывала за чаем,

как была она у Соловьевых и какое у них семейное счастье.

— Сам целует у жены руки, мать целует дочь и тут же на подушке пищит новорожденная.

— А как назовут девочку? — спросила Валя: она вдруг вся преобразилась, точно от этого имени зависела ее судьба.

— Не знаю, — сказала «Юра-прислал».

— Анна Ивановна, попросите, пожалуйста, чтобы назвали Валентиной. Только ничего про меня, просто передайте, что одна гимназистка просит.

Но стена оказалась непрошибаема. Во всей гимназии была только одна Валентина. Соловьеву нечего было и догадываться. И он сказал «Юра-прислал»:

— Передайте Шалауровой, что имя Валентина претенциозно и нарочито.

И скоро стало известно, что у Соловьевых дочь окрестили Еленой.

Все было кончено. И что было еще делать, какие еще чары?.. Но тут произошло одно потрясающее событие, и учитель Соловьев позабыт был до «невоздержанности», т. е. до отрицания всяких достоинств вчера еще первого, лучшего и единственного: на гастроли приехал Шаляпин. И одно это имя — «Шаляпин!» — поразило Валю до сердца. Мне кажется, если бы Шаляпин перестал петь, ему достаточно было бы только выйти на публику — и эффект получился бы тот же, что и с пением: такой величайший заряд его песенных чар.

Традиционный гимназический бал и на этот раз исключительный: на бал приехал Шаляпин. Валя — первая музыкантша, «абсолютный слух» и она по праву из всех гимназисток, хотя и пятиклассница, пригласила Шаляпина на третью кадриль.

Кто из писателей — славы русской литературы — и Толстой и Писемский — не описывал этой третьей кадрили, ее фигур — «полных значенья», где весь Чай-

ковский со всей своей томностью очарованья и щемящей болью неоправдавшейся надежды!

Валя была в восторге. С первых же слов она объявила Шаляпину, что она в восьмом классе — да она и смотрела совсем не пятиклассницей, нет, больше — она никогда так не смотрела. И что такое «претенциозный» Павел Николаевич со своей «нарочитой» Еленой; сам Шаляпин танцовал с ней и, говоря, «стрелял» ей в глаза.

«И времени больше не стало».

А между тем пробило двенадцать.

А по гимназическому правилу после двенадцати имели право оставаться только шестиклассницы, семиклассницы и восьмиклассницы. Среди фигуры подошла классная надзирательница Марья Терентьевна, никогда не расстававшаяся с часами, и объявила Вале, что двенадцать, и ей пора домой. Но главное было то, что, извиняясь перед Шаляпиным, упомянула об этом правиле, что пятиклассницы, как Валя, дольше не могут оставаться. И Валя должна была, не окончив фигуры, и не простившись, уйти.

Какое это было страшное горе — позор!

И на другой день Валя не могла успокоиться, плакала. Это были первые ее слезы и единственные. И эти слезы раскрыли ее сердце. И с тех пор ее раскрытое сердце только и дышало влюбленностью; и оттого, что было неутолимо, оно колдовало — и не было гимназиста, который бы не влюбился в Валю.

Шаляпин уехал в Москву, встретиться с ним не было никакой надежды, но у Вали была его карточка — «Мефистофель». Валя глядела на нее во время уроков и всем показывала на переменах — пока не вышло от начальницы запрещения. И это страшно возмутило Валю.

— Почему Пушкина карточку можно иметь, а Шаляпина нет?

На это ответа не последовало, но и держать на парте Мефистофеля все-таки не позволили.

А и в самом деле, почему нельзя — ведь Шаляпин был для Вали, как разве для какого-нибудь омшелого пушкиниста Пушкин или для песочного дантетиста Данте?

С Шаляпина начинается неистовство влюбления и влюбленных. И в таком головокружении проходит шестой, седьмой и восьмой класс. И только природной беспамятностью и колдующей неутоленностью сердца можно объяснить, что и через три года Вале было все то же — «все вдруг», и сама она все та же чудачка с заразительным пырскающим смехом.

В доме бывало много молодежи, теперь после смерти Пети ходили подруги Вали, но с Валей никто особенно не дружил, а всегда и совсем незаметно сближались со старшей сестрой Таней, непохожей на Валю. Даже и для ни какой-нибудь особенной дружбы Валя была слишком легка, и это всеми чувствовалось с полслова. Но сама Валя не нуждалась ни в каких дружбах: она была всегда влюблена и в нее были всегда влюблены. И о ее влюбленности и влюбленных все говорили, и эти постоянные разговоры еще увеличивали и раздували пыщащий круг ее неутоленного сердца. Да, это была какая-то бесконечная живая мелодия — музыка, которую не можешь не слушать, а прослушал, повторить и не вздумается, забыл.

А влюблялась Валя всегда чем-нибудь пораженная: надо было непременно что-то такое, чтобы затронуло ее. То же бывало и с разочарованием: у гимназиста Кутузова весной появились веснушки, и Валю от него, как отрезало, имени его не могла слышать, а ведь, зиму как была влюблена!

Валя шла в солнечный день по набережной. Гимназисты, поснимав с себя куртки, прилаживали лодку, и один красненький гимназист, что то делая с веслом, пел по-цыгански:

Лови, лови часы любви,
Пока огонь кипит в крови...

И это пение и слова были так неожиданны, Валя сразу влюбилась. И не могла понять, как она раньше не замечала красненького гимназиста. А красненький гимназист только и ждал своей очереди влюбиться в Валю и не в попад повторял: «лови, лови».

Гимназист Лелевич с лошадиным лицом — ведь карикатурно и Блок с лошадиным — танцовал с Валей. И ничего особенного, никакого впечатления. В перерыве он вел ее под-руку по коридору; на ее замечание, что у них очень много уроков задают, он, нагнув к ней свое лошадиное лицо, сказал деловито:

— Какие там у вас уроки, я думаю так: первое — рукоделие, второе — рисование, третье — вдыхание чистого воздуха, четвертый — пустой, вот у нас...!

— Что же у вас? — и «что может быть больше, чем у нас?» — подумала Валя и вдруг увидала всю неожиданную лошадиность своего спутника, который с этой минуты стал для нее первым и лучшим.

Валя влюбилась в гимназиста Мстиславского исключительно и только из-за его необычного имени: Мстиславского звали Нарцис Иваныч. Нарцис — первый танцор, дирижировал на гимназических вечерах, и все понемногу были в него влюблены, но Валю танцы не занимали, она танцовала только потому, что во время танцев можно было глядеть в глаза и говорить с очередным из бесчисленных своих «предметов», и Нарцис своим искусством ее не мог тронуть. Но достаточно было Вале узнать его цветочное имя, и он стал для нее первым и лучшим.

Какую власть имеют имена! Сколько есть пустых слов, но с магической традицией: говорят же — «бессовестно», когда в сущности никакой «совести» в человеке и не найдешь; говорят и повторяют — «преступно», когда воистину, возьмите на проверку, «все позволено?». А между тем, если подсчитать действие таких слов в человеческой жизни, я не знаю, с чем еще можно сравнить?

И даже для Вали «Нарцис» оказался самым глу-

боким, и влюбленность ее самой длительной — а все из-за имени! А сам-то Нарцис был под стать Вале.

Валя влюблялась сразу в нескольких, то же и Нарцис: влюбившись в Валю, он в то же время влюбился в Соню и еще в Веру. И Соня и Вера скоро отшибли у него Валю: он танцовал с Соней и Верой и никогда с Валей, и не встречался с Валей в городском саду на прогулках. Но Валя не могла его разлюбить — Нарцис! И он оставался среди других первым — Нарцис! И эта беспримерная верность тронула Нарциса.

К Вале подошла сестра Нарциса Янина. С Яниной Валя не дружила: Янина была совсем еще девочка — «приготовишка».

— Мой брат просил вам сказать, — стесняясь, сказала Янина, — «скажите ей, что пламенной душой к ее душе стремлюся я».

— Передай твоему брату, — ответила Валя, — «все осмеяно, поругано, забыто, погребено и не воскреснет вновь».

На следующий день Янина опять подкараулила Валю и шепнула ей:

— Брат просит вам сказать: «да, все осмеяно, поругано, забыто, погребено, но... душе блеснул знакомый взор, и зримо ей в минуту стало незримое с давнишних пор».

— Подожди, — сказала Валя, — я тебе сыграю на рояли, ты и передай.

Янина девочка умненькая, слушала внимательно и сейчас же побежала к брату. Нарцис играл на рояли. Янина пробовала ему напеть мотив, но догадаться было очень трудно, а и легко ли передать 15-й Прелюд Шопена! Нарцис наитием сыграл все прелюды, но Янина от волнения 15-го не узнала. Повторилась история Чеховского рассказа, но развязка другая: Нарцис так и не добился ответа.

А Вале было уж не до Нарциса: Валя влюбилась в иподьякона Мишу. Она не пропускала ни одной архиерейской службы, и ей приходилось вставать рано —

дорога до монастыря далека. Но она не чувствовала усталости: на яву и во сне она видела золотой стихарь Миши, глядела и не могла наглядеться в его звездные глаза.

По восторженности ее взгляда Миша должен был ее заметить, да он уж заметил; но глаза их еще не встретились... Да этого и не могло случиться: как раз в то время Коля Бурлистров выпустил книгу стихов — все стихи посвящены Вале —

Так говоря и очень горько плача,
Она исчезла в треске камыша,
Меж тем вдали чернели лес и дача
И ночь была довольно хороша.

Валя в стихах не очень разбиралась, но звучность ценила. И «треск камыша» покорил ее — Коля Бурлистров стал и первый и лучший.

На золотом стихаре Миши и на трескучих стихах Коли Бурлистрова кончила Валя гимназию. И никогда она не была такой «чудачкой» и такой «хорошенькой», как в этот последний гимназический месяц. Да и было отчего: весна, Пасхальные службы, выпускные экзамены, стихи — —

Шалауровы жили на конце города. Отец Вали помер до Юрина яблока. Валя отца не помнит. Мать служила в Управе; старшая сестра Таня давала уроки. У одной из теток была усадьба, к ней-то в деревню на лето и ездили сестры — вот откуда таинственный «мешок орехов». Жизнь Шалауровых была без всякой надежды на какой-нибудь достаток. Управа и уроки — только-б свести концы с концами. Разве что Валя поступит в консерваторию, сделается знаменитостью... Мать думала проще — устроиться бы Вале, всем она нравится, может, и найдется, не бедный! Но старшая сестра Таня верила в Валю — в ее музыку.

У Вали три парадные платья: белое с голубыми цветочками — мягкое шерстяное, в нем она нежная,

как Янина, вся светящаяся звучащей волной, и самого бесчувственного, в роде учителя Павла Николаевича Соловьева, способная захватить и заставить сочинять стихи; другое — черное газовое, в нем она и выше и строже, в нем она та, какой представляется Тане, когда Таня мечтает о ее славе; третье — коричневое, переделанное из старого платья матери, в нем она всегдашняя, «чудачка» с крепкими ногами и крепкими руками, и всегда влюбленная.

На первом вечере уж не гимназисткой Валя была в белом с голубыми цветочками. Купфер, чиновник при губернаторе — молодой человек без всякого Бурлистровского «треска», но тоже писавший стихи — с первого взгляда влюбился в Валю. И на другой день после бала Валя получила аккуратно выписанные, для экономии на служеебном и, как полагается, перечеркнутом бланке, поэтические строчки, от которых у Вали прошло по сердцу знакомое и приятное —

Виновна-ль роза, что красива,
И взоры всех к себе влечет,
Или мимоза, что стыдлива,
И лепестки свои свернет.
Я вам обязан вдохновеньем
Примите-ж мой привет,
Его приносит с восхищеньем
Плененный розою поэт.

Купфер стал бывать у Шалауровых каждый вечер. Валя его невеста. Купфер ждет только прибавки жалованья, и тогда свадьба.

Мать была очень довольна. С консерваторией еще неизвестно, а тут — «факт на лицо»: молодой человек с положением, чиновник при губернаторе! Таня негодовала: с консерваторией кончено и впереди никакой славы и никуда «абсолютный слух» и мечтать не о чем.

— Не подходят они друг к другу, — говорила Таня в настоящем горе, — Купфер карьерист, а Валя... да вы поглядите на нее, ну что общего?

А Валя ничего не рассуждала: Валя была влюблена в Купфера, и для нее Купфер был, хоть и не единственный, но первый и лучший... до Рождественских каникул, когда съехались студенты. И вот на глазах у Купфера первым и лучшим как-то внезапно сделался студент Ушаков — «хорошенький».



В первый свой приезд из Петербурга курсисткой Оля встретила Валю. Валя как раз приехала с ребенком погостить к матери. Жила Валя в другом городе, где ее муж занимал большое место начальника. И жила она куда лучше, чем ее мать и сестра Таня. Бедность никак не скроешь, но и достаток из щелочек голос подаст. И как она была одета, все показывало, что живет хорошо.

Но как она изменилась! И не платье ее так изменило — все движения не ее были: она сидела по другому, ходила по другому, смотрела не по своему — и ничего не осталось от чудачества, все, как — ну, как у всех, как следует. Или этот год ее так вышколил — под служебный, аккуратно перечеркнутый бланк мужа?

Валя жаловалась матери на свекровь — должно быть, эта свекровь и занималась ее воспитанием.

— Муж по прежнему ревнует? — спросила мать.

Она вспомнила ту историю на Рождестве, когда еще женихом, ожидая прибавки жалованья, Купфер приревновал Валю к студенту и объяснялся с ней, а Валя уверяла ее тогда, что ревность вздорная, неосновательная, потому что на Фунтикова, такой был жалкий невзрачный студент, никто не обращает внимания.

— Но это был совсем не Фунтиков, — сказала Валя, — я тебе тогда соврала. Да и он мне тогда врал: говорил, что идет к губернатору, а я стала его дневники читать, и оказалось, что весь вечер провел у Сахновских, знаешь: Нюта и Лида.

Так и заговорили о старине.

Валя взглянула на Олю, лукаво подозвала ее в сторонку.

— Знаешь, — сказала она, и знакомая искорка мелькнула в ее глазах, — приехал из Москвы студент Кулаков и прислал мне стихи. Я их привезла сохранить у мамы, чтобы Александра Федоровна не докопалась. Хочешь прочитать?

И подала Оле листок:

Вот в тебе ничего нет поддельного
И порывы прекрасной души —
Простота, доброта беспредельная,
Как они у тебя хороши.
Даже слово Создателя мира
Забываешь, смотря на тебя,
И, создавши земного кумира,
Поклоняешься, тайно любя.

— А твой муж пишет теперь стихи? — спросила Оля.

— Куда там, — сказала Валя, — он слишком важный для этого.

— А ты играешь на рояли?

— Куда мне: мне некогда.

И Валя перешла к столу. Продолжался разговор о свекрови и о муже: Валя рассказывала, как однажды они возвращались домой из гостей и с ними знакомая дама, муж из вежливости предложил руку знакомой даме.

— Они идут впереди, а я сзади, как дура; скольжу по льду, ноги во все стороны, досада берет и злость.

Нет, это было совсем другое лицо, не прежняя Валя, единственная, смешливая и рассмеивающая чудачка, и слова другие — и куда все пропало? И Оля поняла, что эти стихи Кулакова — последние, и уж началось то, что говорится в естественной истории, — больше дышать нечем, конец.

НА ПАМЯТЬ

Володя — «мамин любимец». И он любит мать больше, чем Варя. Варя тоже любит, но она может целый день проводить без матери за уроками или в саду с подругами, а Володя — никогда. Володя ни на шаг не отходит от матери.

Елена Степановна сидит в кресле: принимает гостей, — а Володя возле ее кресла, прислонившись. На диване сидит какой-нибудь важный гость: или Гореславский, бывший земский начальник, большая пегая борода и на волосатом пальце черный перстень, или предводитель Витколов с женой — оба длинные и худые, как «ободранные туши». Елена Степановна, когда разговаривает с гостями, не обходится без французских слов — Володя ничего не понимает, но ему очень нравится. Потому ли, что звучат необычно, или потому, что в непонятном есть что-то завлекательное, как во всякой непостигаемой тайне.

Гостей надо непременно принимать в гостиной, — чтобы они посидели на диване, а затем можно пригласить в столовую чай пить или ужинать — такой ритуал. Как-то Анна Васильевна Непряхина, соседка Черкасовых, необыкновенно напоминающая жареную сардинку, свой человек, приехала во время чаю и ее пригласили прямо к столу, а случившаяся в этот же вечер «ободранная туша», после сказала Елене Степановне, что «сардинка» очень обиделась: «не в гостиной приняли!».

И Володя понял, что «сардинка» права, что это действительно очень обидно миновать гостиную: в гостиной постлан такой пушистый ковер и скатерть на столе бархатная с кистями — когда Володе было три года, мать возила его в лавку, и сам он выбрал эту скатерть! — и еще в гостиной зеркало от потолка до полу, и перед окнами и по углам в тяжелых кадках и лето и зиму зеленые деревья, а на Рождество и Пасху еще и цветы, и если в столовой летом пах-

нет сеном, а зимой поджаристым вкусным, в гостиной и лето, и зиму цветами.

Когда нет гостей, Елена Степановна «тупает» — наводит порядок: роется в шкапу, в комодах, в кладовой вместе с экономкой Нелидой Максимовной. А подали из прачешной белье, белье разбирает. Володя любит смотреть: ему нравится такое — с кружевами и прошвами, и особенно белье сестры все в кружевах и дырочки — в эти дырочки Елена Степановна продевает разноцветные ленточки. Володя всегда жалеет, что он не девочка — были бы у него такие красивые панталоны с дырочками.

Володя всегда с матерью. И на ночь его кроватку Елена Степановна придвигает к своей: а то Володе страшно. И все в доме, начиная с экономки Нелиды Максимовны и дядюшки Федора Фалалеича до сестры Вари и ее подруг, называют Володю «прилипа» — от матери не отстает, как прилип. Володя на «прилипу» обижался, но, что было обидного в прозвище, он не мог сказать, как не мог объяснить своего ночного страха. Или тут не в названии было, все равно, как «туша» и «сардинка», а в насмешке — как произносилось это безобидное слово, как и страх ночи, всегда теплой, тихой, убаюкивающей бесчисленными котами, но и всегда разлучной.

Только деревья в гостиной никогда не изменяются, всегда зеленые — или не замечает Володя, что и деревья растут, а садовник Григорий подрезает у корней треснувшие посмурелые листья и выбрасывает? — не замечает Володя, что он вырос и ему пора учиться. И это как-то само собой к Володе ходит учитель — «Тихий океан». И Володя не так часто с матерью.

Володя не любит учиться — Володя мечтает. Но о чем он мечтает, никак не скажешь, а скорее всего ни о чем, так — и разве нельзя так сидеть без всякой развивающейся и уводящей мысли, которую можно повторить, записать или вспомнить? Или, может быть, привязавшись к какому-нибудь слову, хотя бы

к своему имени, и, в тысячный раз повторив это слово, он следит за звуками, как чередуются они в разлагающемся и слагающемся слове? Да так оно и бывало. Когда «Тихий океан» объяснял какую-нибудь задачу или рассказывал о городах Западной Европы, Володя вдруг принимался стучать ногами об пол, припевая свое имя, отчество и фамилию — «Владимир-Михайлович-Черкасов».

— Владимир Михайлович Черкасов! — раздается по всему дому, пугая и ко всему привыкшую белоснежную Кушку: «и поспать не дадут!» — жалуется старая дворняшка, между собачьих слов ловя зубами шалую муху, — Владимир Михайлович Черкасов!

Единственный товарищ Володи — соседний мальчик Макаша. С Артюшками, Куземками, Евгеньками и Васютками Володе не позволяют водиться. Володя с каждой весной вытягивается — «подсолнух», а Макаша с каждой весной раздается — «лопух». Володя быстрый, легкий и шумливый; Макаша коротенький, сидень и все тишком. Володя коноводит, но без Макаши ему никак не обойтись: Макаша добросовестно и терпеливо исполняет все его затеи. О Макаше говорят, что из него выйдет хозяин, про Володю — сорви-голова.

Когда Володя рассказал Макаше, какие красивые панталоны у Вари, Макаша заплакал — у Макаши никаких сестер, только маленький брат — Макаша тихо плакал и безутешно и долго не мог успокоиться: и не потому, что бы хотелось ему быть девочкой и носить с дырочками кружевное белье в разноцветных ленточках, нет, он плакал от обиды, его глубоко оскорбило нарушение какого-то его мужского права — ведь, оказалось, что и девочки тоже носят штаны! «Штаной» окрестил Володя своего товарища, поддаваясь домашнему обычаю давать всем прозвища, и с этих пор Макаша на «Штану» откликался.

День — учитель «Тихий океан» и Макаша «в шта-

нах», уроки и игры. Но спит Володя по-прежнему с матерью: на ночь его кровать придвигается, иначе он не заснет. И не от того, что он боится — Володя ничего не боится — а по привычке.

Ночью Володя вдруг проснулся: мать стоит на коленях перед образом, шепчет, крестится и кланяется в землю; лампадка освещает ее — на ней красная, от огонька лампадки густая, цвета раздавленной вишни, фланелевая широкая юбка. Володя никогда не видал мать такой среди ночи. И долго он следил за ней, и ему показалось: в глазах ее было знакомое — запомнившийся взгляд Макаши, с каким слушал Макаша его рассказ о красивых с дырочками панталонах сестры, и Володя понял, что матери очень тяжело, только она не плачет безутешно, как плакал Макаша, а шепчет и крестится и кланяется глубоко в землю. Но отчего тяжело ей?...

Володя непоседливый. Засядет за уроки и, кажется, сидит прилежно, а хватятся: книга на полу, а где сам бегает или на какой дороге искать, не придумают. Пахомыч и Терентий, старые седые слуги, с ног собьются — нету. Или видели, как в доме скользнул через кухню — а нигде нету! «Сущий вьюн», — говорит повар Лаврентий Мокеич и поддакивает ему полповар Кондратий, сказал бы и поваренок Асташка, да боится. И кличут, не отзывается. Страсть как боялась Елена Степановна, пошлет искать к пруду, всех на ноги подымет, сам Федор Фалалеич ищет — не дай Бог! — а он сидит себе в гостиной за цветами — мечтает. От этой глупой повадки прятаться много было горя Елене Степановне.

Однажды вечером, после основательной прятки за цветами, изведшей весь дом, Володя вьюном скользнул в соседнюю комнату и от неожиданности — он был уверен, что никого — остановился, став вдруг прозрачным — лунный луч через ставню: в комнате была мать и учитель; учитель держал в руках две

книжки — обыкновенную в синем переплете и желтую маленькую из папиросной бумаги «очень красивую» и, передавая книги матери, сказал: «на память».

— «На память!» — как когда-то свое имя, отчество и фамилию во время объяснения учителя, в тысячный раз выпевая «на память», Володя бегал по зеленому лунному двору от крыльца, до широко-распахнутых ворот, не Володя — дикая лошадь.

Игра в лошадей — представлять дикую лошадь — любимая одиночная игра Володи, а с Макашей — в палочку-застукалочку.

Хоронясь от Макаши, не дыша, Володя пробирался в саду между кустами и вдруг увидел: в окне стоит мать, а из сада отец протягивает ей руки — «Елена, не покидай!»

И почему то слова отца вскипели в его ушах, так, что он вздрогнул — но тотчас, изогнувшись в ветку, юркнул в кусты — ему почудились настигавшие сопящие шаги Макаши! — и вьюном заскользил в траве, чтобы первому поспеть — найти «палочку».

А на другой день к великому удовольствию Володи, «Тихий океан» не пришел. И больше никогда не появлялся в их доме. Володе сказали, что учитель уехал в Москву. А скоро появился новый «Гвадалквивир» — впрочем, все учителя одинаковые.

И не заметил Володя, как из «вьюна» и «дикой лошади» превратился он в «черненького» гимназиста. И живет он в городе, а домой в Бобровку приезжает только на праздники и летом. У него своя комната — та самая рядом с гостиной комната, где он застал мать и учителя, но это так давно было, а главное, столько есть интересного в его новом гимназическом мире, что ни разу он и не вспомнил. Сперва умер отец Макаши — Виктор Макарьич, а за ним отец Володи — Михаил Димитриевич. Старики всегда помирают. И это случилось зимой. А летом все было, как было, и в доме и на воле — благословенная черная земля,

голубые лунные ночи и серебряная гоголевская песня.

Домашние, вспоминая, как Володя был маленький, смеялись над «прилипой», и сам Володя смеялся — ему трудно было себе представить, как это он был маленький. А мать смотрела на него неизменно, как будто для нее никаких лет не выростало и годов не проходило и Володина кроватка все еще придвигается на ночь к ее кровати, Володе по ночам страшно — Елена Степановна боялась за каждый его шаг и все остерегала, и теперь не Володя ходил за матерью, а мать за Володей.

В доме не было уголка, который бы не знал Володя. Это началось, когда еще он прятался от Макаши, играя в палочку-застукалочку, или когда пропадал «мечтать». У Елены Степановны в спальне, около ее кровати, стояла заветная шкатулка, с нею Елена Степановна никогда не расставалась. И эта шкатулка — единственное, чего еще Володя не трогал.

И вот, однажды, когда Елена Степановна вышла к соседям, Володя занялся ее шкатулкой.

Среди писем он нашел две книги — и по цвету узнал: это те самые — он очень хорошо помнит — учитель — «Тихий океан» — дал матери, одна обыкновенная, в синем переплете, которая оказалась редкое издание Шевченко, Кожанчикова, а маленькая на желтой папиросной бумаге— «красивая» — запрещенные стихи Шевченки. И по этим книгам вспомнив вечер, окно с закрытыми ставнями, учителя и мать в комнате и ясно прозвучавшее «на память», он вспомнил ночь, когда мать молилась, вспомнил с той же отчетливостью до ее красной, от огонька лампадки густой, цвета раздавленной вишни, фланелевой широкой юбки, и ее взгляд, просящий пощады, и отца в саду у окна перед матерью, его слова, вскипевшие в ушах до дрожи — «Елена, не покидай!»... И Володе стало все ясно — вся тяжесть жертвы: он понял, что значило, что учитель «уехал в Москву». Бережно уло-

жил он письма и эти заветные книги. И поставил шкатулку, как она стояла. И тайна, которая не была тайной для Володи, осталась для всех попрежнему тайной неприкосновенной шкатулки.

Еще маленьким гимназистом Володя видел Олю в гимназической церкви и влюбился. И с каждой весной любовь его разгоралась. А когда студентом он познакомился с Олей, Оля стала для него единственной и ближе ничего в мире для него не существовало. Как когда-то к матери, он «прилип» к Оле.

И этим решилась его судьба: уж на его дорогу вышли три страшные встречи — безумие, отчаяние и смерть. Ведь его мать пожертвовала для него своей любовью, а Оля готова все отдать, но не человеку, а ради той «правды», без которой, посмотрите, как пуст и ужасен мир человека! Если бы он чувствовал эту «правду»... а все, что он ни делал, делал только потому, что это нравилось Оле: Оля для него была этой «правдой».

Ему захотелось подарить Оле самое дорогое — чего достать невозможно. И, вспомнив редкое издание Шевченки и «красивую» маленькую книгу из желтой папиросной бумаги — запрещенные стихи, — книги попрежнему лежали у матери в ее неприкосновенной шкатулке около кровати, — он украл у матери эти заветные единственные книги и отдал Оле:

— «На память».

— — — — — —

Только потом Оля узнала от сестры Черкасова Вари, что эти редчайшие книги, которых «достать невозможно», — «мать не дарила сыну»: Елена Степановна догадалась, кто мог взять и для кого эту ее единственную память, и вот она попросила Варю. И Оля через Варю вернула Елене Степановне ее заветные книги.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ

Читая роман Писемского «Люди сороковых годов», Оля почувствовала, как близки ей и слова и чувства Вихрова-Писемского, мечтавшего в гимназии о Московском университете, и перед которым путь в Москву оказался заказанным, как у Оли по окончании гимназии путь в Петербург.

«Да, не легко выцарапаться из тины, посреди которой я рождена!» — повторяла Оля, ходя по зеленому двору и глядя на поля и луга, по которым она когда-то так весело бегала, и которые теперь ей были враждебны.

Оля поехала в Петербург не из Ватагина — из Ватагина нечего было и думать! — и не из города, а со станции за двадцать верст от города. А выбран был такой окольный путь из предосторожности, чтобы пронырливая тетка Марья Петровна, дознавшись, как-нибудь не остановила на вокзале: с Марьей Петровной все могло статься, да ведь и Оле-то было всего шестнадцать лет и, кроме аттестата об окончании гимназии, никаких разрешений.

Первые дни Олю водил по Петербургу студент Черкасов. Оле все было странно: стоя, есть пирожки у Филиппова, и обед в столовой на Васильевском острове — Оля любила крем, но там его дали так мало.

По совету Черкасова Оля поселилась в одной комнате с Верой Горлиной. Горлина старше годом Оли, тоже кончила гимназию и собиралась поступить на медицинские курсы, а пока-что ходила «пробовать голос» — и пела в украинском хоре.

Поселились они на Знаменской у хозяйки Варвары Ивановны Дешовой. И у Варвары Ивановны все казалось странным: Оля очень удивилась, когда узнала, что у хозяйки суп варится на два дня; и в первый раз от прислуги Оля услышала слово «жилица» — это сказано было про какую-то женщину, которая жила тоже у Варвары Ивановны в отдаленной от них

комнате. Варвара Ивановна их не стесняла, позволяла играть на рояли в своей комнате — Вера Горлина пела и утром и днем и вечером, а Оля ей аккомпанировала. А так Оля совсем забросила рояль: — «надо развивать ум, а не пальцы!»

Оля и Вера пили чай дома, а обедали в Нормальной столовой — там на столиках была надпись: «Хлеба и квасу можно употреблять сколько угодно». И Олю очень удивило, когда студент Курилов сказал студенту Финтикову: «Что-ж! пообедаю в Нормальной столовой, а вернусь домой, и опять есть хочется!» А бывали дни, что и совсем не обедали, а покупали они селедку и потом пили чай.

У Оли и Веры бывало много народу. Однажды собралось очень много. Все студенты и курсистки, и начали говорить про других студентов и курсисток: смеялись и осуждали. Оле делалось не по себе: все ей напомнило тетку Марью Петровну, — ведь Оля думала, что в Петербурге так не говорят.

Кто-то предложил пойти на набережную послушать часы на Петропавловской крепости. И все вышли.

Дорогой студент Финтиков спросил Олю: почему она такая печальная? И Оля сказала, что ее расстроил разговор:

— Будто где-то в гостиной у тетки.

— Да, я вас понимаю, — ответил Финтиков, — чаще надо вспоминать, что есть Данте, Гете и Шекспир, тогда не захочется болтать.

Это было как раз накануне — на утро Олю ждал сюрприз.



В последний гимназический год на одной вечеринке, устроенной гимназистками и съехавшимися на каникулы студентами — такие вечеринки устраивались вскладчину и особенно возмущали тетку Марью Петровну: «вечер без старших»! — с Олей познакомился студент-медик Аксенов. Узнав, что Оля хочет

ехать на курсы, он обещал прислать ей проспекты разных курсов, и чтобы она переслала его двоюродной сестре, которая окончила гимназию и тоже собирается. И действительно прислал, и Оля сделала, как он просил: переписав, послала проспекты его двоюродной сестре. В ответе Аксеновой был какой-то вопрос, Оля ей сейчас же ответила. Так началась переписка. В письмах перешли на имена: Оля писала «Паша», Паша называла ее Олей. И подружились. Письма оканчивались: «крепко целую». А сколько было мечты в этих письмах: обе стремились поступить на медицинские курсы, только для Оли это никак по летам не выходило — на медицинские курсы принимали не моложе двадцати лет, Паше как-раз исполнилось двадцать, но Оле-то было всего шестнадцать. Оля читала, что из знакомства, начавшегося с переписки, выходили необыкновенные встречи и дружба на всю жизнь, и решила, что в Петербурге они будут жить вместе, и написала Паше — Паша «с радостью» согласилась.

В Петербурге Оля не забыла о Паше — не забыла о своем решении, но за этот месяц что-то ее стало смущать и, иногда думалось, что, пожалуй, было бы лучше, если бы Паша совсем не появлялась. И вдруг по утру звонок: студент Аксенов прямо с вокзала:

— Приехала Паша.

Дворник внес вещи, а за ним — Паша.

Оля и Паша поцеловались.

Так, должно быть, по объявлению встречаются. И Оля вспомнила свою гимназическую подругу Зину Разумовскую, как когда-то неизвестно почему без слов они потянулись друг к другу — —

Паша стала раздеваться.

И вдруг Оля увидела в ее высокой прическе искусно приколотый серебряный полумесяц. И сразу как отшатнуло — так это ей не понравилось!

И сама Паша Оле совсем-совсем не понравилась: Паша оказалась то, что называлось среди курсисток

«барышня», и эта ее фокстротирующая жеманная походка, точно только что отлипла от кавалера и вот-вот опять завьется; что-то в ней, во всем ее складе, и в голосе, и в приемах, напомнило Оле оттуда — подруг сестры Ирины институток, в ней все было, как следует, — сама Марья Петровна не осудила бы.

Оля не знала, куда деваться. Ей как-то невозможно было смотреть на Пашу — всегда встречала она ее серебряный полумесяц. И ничего не оставалось, как самой уехать.

Так Оля и сделала.

«Почему, что?» — Паша искренно недоумевала.

А ведь тоже и сказать человеку никак не скажешь: убери с «гнезда» полумесяц или, что все равно — переродись! А переродиться не всякий может, даже если и захотел бы — ну какая гимнастика исправит эту фокстротирующую повадку? или что надо, чтобы встряхнуло человека, и он хотя бы раз — возмутился?

Оля наняла себе комнату на 2-й Рождественской. И одна жила без Веры — без любимых песен утренних, дневных и вечерних, и без тех расстраивающих разговоров, когда не вспоминают ни Шекспира, ни Гете, ни Данте.

А с Пашей только в первый год еще встречалась и то очень редко — нет, должно быть, одной переписки мало, чтобы полюбить человека — принять его и прямо смотреть ему в глаза. И, что стало с Пашей, Оля не спрашивала. Но серебряный полумесяц остался в памяти — это был знак той враждебной призрачной жизни, из которой с таким трудом вырвалась Оля.

БЕЗ УКАЗКИ

Второй приезд Оли из Петербурга на каникулы, когда Оля перешла на третий курс, остался навсегда памятен: так много мыслей прошло за это лето, точ-

но в первый раз Оля взглянула на свет — и вот мир стал другим через эти мысли.

За это лето Оля много думала и не так, как привыкла в Петербурге — над книгами и программами, над всем тем, что составляло жизнь Оли на Курсах и в революционных кружках.

Там была теория — там жизнь рассматривалась книжным глазом; при каких-то предполагаемых «равных условиях», делались выводы со всеобщим значением о каждом, как о всех; а тут были отдельные случаи, под которые нельзя было подводить всех и заключать о всех — тут была та самая «живая жизнь», любимое выражение Достоевского, который этим словом обозначал своеобразное и всегда наперекорное всеобщему отдельное человеческое действие, или, по Лескову, тут выступала «бьющаяся живая жила», заявляющая о себе, вопреки всяким рассуждениям, и как часто ни с чем несообразным, неожиданным действием, тут выходило на свет основное Гоголевское: «поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!», или знаменитое, легко принимаемое, глубочайшее Хлестаковское: «у меня все вдруг».

Ни что такое человек, а чем бывает человек? И ни что есть человек человеку, а что такое бывает человек человеку? Так и только так можно говорить о «живой жизни» и об ее «бьющейся живой жиле», заявляющей во весь голос:

«Я хочу и буду поступать так, как поступаю; я хочу и буду жить без указки всегда и во всем!».

В гимназии среди гимназисток был кружок «Союз дружбы». Всех участвовавших соединяла настоящая дружба: Нина и Катя Муравицкие, «чудесная» Люда Резилова и ее сестра Надя, Вера Горлина и Нина Мавлютина.

Теперь Нина Муравицкая и Вера Горлина на Медицинских курсах. В гимназии одноклассницы, и дружба их считалась примерной: на уроке рукоделия, если Нина забудет наперсток, Вера ставит свой на стол,

и обе шьют без наперстка, а учительница рукоделия злится на обеих. А вот как будто ничего между ними и не было, никакого наперстка: Вера Горлина — с.-д., а Нина Муравицкая только учится, не принимает никакого участия в кружках. А «чудесная» Люда тоже на Медицинских, в кружках не участвует, как и Нина, но и с Ниной не дружит. А Надя, сестра Люды, где-то в Курове учительницей, и про нее никто ничего не знает и не интересуется, да и сама она не подает голоса.

«Как-то странно все на свете, — думает Оля, — был этот «союз дружбы», а прошло два года, и каждая из этого, «союза» ближе со мной, чем друг с другом»!

В это лето умерла Катя Муравицкая, одна из участниц «Союза».

Кате девятнадцать лет, умерла она от чахотки. Катя хорошо играла на рояле и, больная, все говорила: «кому я передам свои руки для игры?» И все смотрели на ее руки — на ее тонкие, бледные с синими ногтями пальцы, бессильные — Катя больше не играла, и передавать-то ей уж нечего было, ее искусство давно пропало; и если она так говорила, в ней говорила еще не угасшая память, и от этих слов ее было особенно жалко. Ее повезли в Крым: с ней ездила ее сестра Нина и Павловский — Павловский жених Кати. И вдруг — назад привезли: в Крыму ей стало совсем плохо. А вскоре она и померла. Ни мать, ни сестра так не горевали, как Павловский: он переехал к Муравицким, чтобы быть всегда в той обстановке, где все было близко Кате, купил ее рояль, хотя ни сам и никто в их семье не играл на рояле, и шесть месяцев не произнес ни одного слова, — он только кивал головою, отвечая на вопросы. Жалко было смотреть на него. Вот как долго живет память!

Оля познакомится с Павловским потом в Петербурге и узнает на его руке Катино кольцо. А потом уж узнает, что он женился на Логоватой, тоже бывшей гимназистке, которую не любила Катя, — оборот поизвилистей описанного Гоголем в «Старосветских по-

мещиках» в судьбе «страстно влюбленного», предмет страсти которого тоже «поражен был ненасытною смертью». Но сейчас перед Олей был только пример знойной памяти и «палящей тоски», которую не может погасить время.

«Вот как может любить человек!», — думает Оля.

В это лето Нина Мавлютина, тоже из «Союза дружбы», выходила замуж. Нина собиралась на Курсы, но не поехала, отложила, и, вот, свадьба. Оле было жалко Нину: Нина добрая и умная — Оля ее любила, а жених Нины Оле не понравился, — «либерал», т.е. болтающий. Молодость с ее крепкой силой и уверенностью хочет решительного крутого дела и неотложного, и всякая оглядка — расчет и соображения принимаются за слабость, а когда еще словесно совпадают цели, вызывается раздражение. Так и для Оли «либерал» был синонимом «болтовни» и притом вредной, потому что эта «болтовня» усыпляла и «дела» не делалось. Оле было жалко Нину: ведь любовь Оли представляла Нину способной что-то «делать», а не только говорить — «болтать», как ее жених.

«И как могла Нина полюбить этого Жовницова, неужто прекрасным словам его могла верить?»

В это лето сошел с ума студент Черкасов. Сумасшествие Черкасова — редкий случай, известный, как «сумасшествие от любви», в русской литературе встречается однажды: у Писемского в «Водовороте» — судьба Григорова. Черкасов не принадлежал ни к каким революционным кружкам, он был только сочувствующим во всем Оле, перед ней не скрывал этого, но в своем безумии выкрикивал слова Оли, спорил и нападал на воображаемых противников, как будто сам был самым ожесточенным с.-р.-ом или уверенным и несомненным с.-д.-ком. Главный его «пункт» заключался в том, что Оля окружена врагами, и ее жизни грозит опасность, и он не расставался с револьвером, которым впоследствии и убьет себя, — «он лежал распростертым на канапэ, кровь била у него фонтаном изо рта,

в правой и как-то судорожно согнутой руке он держал револьвер», это из Писемского, но так будет и с Черкасовым: ведь это его страсть окружала Олю, его страсть была тем самым врагом Оли, которого он так ненавидел и подстерегал с револьвером.

Оля чувствовала глубокую жалость к Черкасову, а за этой жалостью скрывалась какая-то вина: Оля чувствовала, что она чем-то виновата, и не могла найти, в чем именно ее вина. Оля ничего не делала, чтобы привлечь к себе Черкасова, в ней не было никакого «кокетства» — в Оле не было и никаких «инфернальных изгибов», по терминологии Достоевского, тянущих человека в пропасть. Русский народ, и это заметил Лесков, различает: есть «любовь», а есть «любва», глагол «любить» и глагол «любиться»: Грушенька это «любва», Оля — это «любовь». Олю можно было полюбить, и только полюбить. И вот оказывается, что и там, где «любва», и там, где «любовь», вешаются, стреляются, режутся и травятся, а также... и режут, и что самые знойные песни сложены не только про «любву», а и про «любовь».

Варя, сестра Черкасова, сказала Оле:

«Ни я, ни мои братья вас ни в чем не обвиняем, только мама и тетка. Я непременно хотела вам это сказать. И еще хочу вам сказать: не дружите с мужчинами, у них как-то по другому, вот и несчастье случилось».

Варя сказала за всех. И Оля должна была принять этот приговор: да, она невиновна. Но Оля знала, что причина такой муки и горя — в ней, и это ее мучило: как бы хотела она что-нибудь сделать, чтобы облегчить.

Никогда не забыть Оле своей встречи с матерью Черкасова у калитки в больницу, куда перевезли его из Бобровки. На вопрос матери, что передать от нее сыну, Оля вдруг сказала: «скажите, что я за него выйду замуж» — и заплакала. И мать поняла эти слезы:

«я ничего не передам, — сказала она, — если любишь и выйдешь замуж и то трудно бывает, а без любви...»

Оля шла домой. Эта встреча бурей наполняла ее душу. Тут было все — и судьба матери, о которой она слышала от самого Черкасова — «если любишь и выйдешь замуж и то трудно бывает...», и предостережение Вари — «у них как-то по другому», и вырвавшиеся слова — голос желания поправить что-то, а как это она неосторожно сказала: «выйду замуж!», — и ответ матери.

Олю окликнул Оводов. И пошел с ней проводить ее: Оля жила в пустом доме у тетки — Марья Петровна на лето переехала на дачу.

Два года, как Оводов кончил университет и служил в управе. С Олей он познакомился, когда Оля кончала гимназию. От первой встречи с Оводовым у Оли осталось смешное воспоминание, совсем невяжущееся с тем, что Оля думала о нем: Оводов, как и муж Зины, Алпатов — «деятели», т.е. занимаются революцией. Оля пришла с Ниной Мавлютиной приглашать Оводова на вечер к Мавлютиным. Жил он в пустом доме, и много у него было яблок, — присылали ему из деревни, целая комната завалена. Сидели в яблочной комнате, на воле смеркалось. «Какие вы любите, сладкие или кислые?», — спросил Оводов. «Кислые», — ответила Оля. «Я так и думал», — сказал Оводов и, выбрав кислое, подал Оле. Оля откусила, а яблоко оказалось червивое: ничего не остается, как выбросить в окно. Оля и бросила, — да попала Оводову прямо в очки, и разбила. В первый год курсисткой Оля, приезжая в город, не встречалась с Оводовым, а в этот приезд уж несколько раз: всякий раз, как устраивались катанья на лодке, в которых принимала участие Оля и другие курсистки, непременно бывал и Оводов. Из всех он казался Оле самым настроенным революционером, и, хотя Нина Мавлютина как-то сказала Оле, что Оводов «революционер» только при Оле, Оля ей не поверила. Да, Оля не поверила бы, если бы

ей сказать, что вот и сейчас Оводов встретился с ней совсем не случайно.

— Как страшно жить на свете! — сказала Оля, так в ней сказалась, наконец, ее душевная буря, но о встрече с матерью Черкасова и о самом Черкасове она промолчала, — умерла Катя, — помолчав, сказала Оля, — а вот Нина выходит замуж, весь этот «Союз дружбы» вразброд, а ведь прошло всего два года.

И как бы в ответ на это «страшно на свете», Оводов всю дорогу рассказывал о своей сестре.

У Оводова была еще сестра Надя, померла после родов, а вскоре помер и ее муж, осталась дочь — племянница Саня, и эта Саня жила у Оводовых. Воспитывали ее дома. Сестра Маня влюбилась в учителя, и между ними было согласие: Маня выйдет за него замуж. Она сказала отцу, но отец против и учителю отказал. Учитель — Костобобров. Перед отъездом Костобобров виделся с Маней: Оводов устроил это последнее свидание, он и письмо передал сестре от Костобоброва, и сторожил их, чтобы отец не узнал. И на этом прощальном свидании они решили обоим застрелиться через три дня одновременно в пять часов дня — Костобобров уезжал далеко, а, чтобы ровно в один час, сверили часы. Костобобров уехал. Прошло три дня, и Маня, как было условлено, ровно в пять часов выстрелила себе в голову, но осталась жива: пуля застряла в ухе. Маня навсегда оглохла: вынуть пулю опасались. Первое, что она спросила — о женихе: она была в отчаянии, она была уверена, что его уж не было в живых. Оводов поехал в город к Костобоброву и там узнал, что с Костобобровым ничего не произошло: не застрелился и не думал стреляться. Если бы он застрелился, для Мани было бы ужасно, но то, что он и не подумал стреляться, и роковой день провел, как все дни, было еще ужасней: она не хотела верить, а когда поверила, человеческий мир для нее пропал.

— С тех пор Маня сделалась очень странной, —

рассказывал Оводов, — никуда не выходит, ни с кем не разговаривает, ничем не интересуется, целый день она возится с курами и утками.

Подошли к дому.

— Можно вас о чем-то спросить?

— Пожалуйста.

— Правда, что вы невеста Черкасова?

— Никогда не была и не буду. А можно вам что-то сказать?

— Пожалуйста.

— Зачем вы возитесь с либералами: как вам не надоедят слова?

— Вы правы: я перееду в Петербург.

Оля до конца не могла представить и не почувствовала, что это значит «перееду в Петербург», и что с переездом Оводова в Петербург его заботливость о ней обернется в мучительную опеку, на которую без всякого спроса имеет права только любовь.

Оля думала о сестре Оводова Мане, для которой человеческий мир пропал, и остались куры и утки:

«Несчастная! — Оле было жалко Маню, обманутую и так жестоко обманувшуюся, — и как могла она не почувствовать, что за человек возле нее...?»

Оля была уверена в себе: она не могла представить, чтобы с ней могло что-нибудь такое произойти. Ведь так отвести глаза человеку и чтобы он крепко поверил, надо или быть очень ловким или иметь дело с очень простым. А никакая человеческая ловкость не обманет ее чутья — в этом Оля была уверена.

В это лето умер отец Оводова. А был он странный человек, не как все. И вовсе не самодурство руководило им — ни это «здорово живешь» — самое страшное, как и все, где не можешь ответить «почему». Александр Петрович задумался, как надо людям жить, — и по своему понял Толстого. Сосед Оводовых Корецкий, у которого старшие сыновья кончали университет, тоже начитавшись Толстого, свою младшую дочь не отдал в гимназию и вообще решил не

учить, убедившись, что «просвещение» принесет только вред — Толстой прав, Оводов же не видел ничего вредного в ученье, но считал для каждого обязательным уметь все делать своими руками. Сам, не молодым уж, изучил все ремесла и заставил сына и дочерей выучиться, и дети наловчились по всякому, например, Сергей Оводов мог сделать фаэтон. Кроме этого практического убеждения, у Александра Петровича была страсть: лошади. И лошадей он жалел больше, чем домашних: лошадь пальцем не тронет, а детей бил. Дети его боялись: если надо было ехать в город, кто-нибудь отваживался и спрашивал, можно ли взять лошадей, а другие с трепетом ожидали ответа, стоя около двери. Мать тихая и добрая всегда за детей заступалась, и дети не раз слышали, как отец стучал кулаком по столу: «молчать!» Дочери не позволил выйти замуж не потому, чтобы почувствовал, какой это подлец Костобобров, а просто потому, что Костобобров бедный, а значит, дрянь.

Смерть отца нисколько не тронула Оводова: когда он был маленький, отец однажды жестоко избил его.

«Я бы тоже никогда не забыла, — думает Оля, — и не могла бы любить».

В это лето умер дальний родственник Ильменевых Сташкевич. Оля помнит из раннего детства, как приезжал к отцу бритый и грузный — это был предводитель Дорохов. Оля думала, что Дорохов «в роде женщины». А между тем у него было много дочерей, и одна из них была замужем за братом Натальи Ивановны, за доктором Алексеем Ивановичем — тетка, а старшая ее сестра от другой матери за Сташкевичем. Вот какая это родня — Сташкевичи, хотя Лена, подруга Ирины по институту, и Соня считались двоюродными сестрами и часто бывали у Ильменевых, а Ильменевы у Сташкевичей.

Сташкевич поляк, и его родные были против его женитьбы на русской. На свадьбе никто из них не был

и никто никогда не приезжал к Сташкевичам. Сташкевич говорил всегда по-русски, но оставался католиком и перед смертью попросил свою старшую дочь Лену читать отходную по-латыни. И когда он умер, послали телеграмму в Варшаву. На похороны приехал брат. Хоронили по католическому обряду в имении за пятнадцать верст от города. За гробом ехали на лошадях, брат ехал в экипаже со вдовой, и все пятнадцать верст упрекал ее, что она вышла замуж за его брата, а дети их — русские.

Оле это очень понравилось.

«Значит, — думала она, — не легкий человек: не забыть столько лет!»

И, вспоминая Сташкевича — красивый старик, любил хорошо поесть, и верный: ради любви пожертвовал своей родиной, но есть выше родины — вера, и своей вере он никогда не изменил! — Оля вспоминала жену его, молчаливую и сурьезную, не суровую, и не болтливую — противоположность тетке Марье Петровне, и какой у них был мир в доме и еще, что так редко бывает, все во-время.

«Между ними была настоящая крепкая любовь!», — думала Оля.

И когда она думала о Сташкевичах, об их крепкой любви, ей вспоминался Голенковский. Голенковского Оля не видала, но слышала, как рассказывали: никогда он не был женат, а каждый день ездил к соседке Уласовой — всю жизнь. И почему не поженились, а жили врозь? — все недоумевали. Но это-то непохожее, по-своему, это и нравилось Оле.

Оле не нравилось в Голенковском «ничего неделание». Голенковский был известный «либерал», как и брат его Илья Иларионович, дядя Черкасова. Этого Голенковского Оля видела в Бобровке у Черкасовых. Потом уж, когда Олю арестовали, с ним встретилась Наталья Ивановна: узнав у нее о судьбе Оли, он крепко пожал ей руку. И этот жест и «прекрасные слова» для «революционерки» Оли были синонимом «ничего

неделания». Оле ближе были «черносотенцы», как старик Оводов или Сташкевич: они ничего такого не говорили, они говорили ясно и определенно и открыто действовали, как враги, но эти «только говорящие либералы», соблазняющие словами без дела, давали постоянный повод к возмущению. Узнав, что Сергей Оводов выступал на собрании в городской библиотеке, как «крайний левый», Оля негодовала: «перед кем и с кем — с либералами?»

У Ильи Голенковского было две дочери: Катя и Саша — двоюродные сестры Черкасова. Судьба Кати была самая обыкновенная, и о ней ничего не говорили, а о Саше много говорили, больше осуждая ее, чем сочувствуя. С памятью о Голенковских, вспомнилась Оле и эта Саша.

Саша вышла замуж и у нее родилась дочь; повезла она ее гостить к дедушке, думала на лето, а вышло — навсегда. Чтобы не огорчать старика, который привязался к внучке, а еще больше привязалась старшая сестра Катя, никак нельзя было ее взять домой: тысяча предлогов. И кончилось тем, что дочь Саши сделалась дочерью ее незамужней сестры Кати. А чего только не говорили про Сашу: будто подкинула она своего ребенка, чтобы самой было свободнее жить, и что не мать она, а какой-то выродок — «нешто мать так поступит? да я бы на ее месте...» — любимое заключение осуждающих.

Оле все это было очень далеко, но, судя по тому, как их всех детей любила мать, и с какой легкостью всегда судят о человеке, и как легко осудить человека и особенно это безответственное «я бы на ее месте», судьба Саши вызывала самое горячее сочувствие у Оли, и только одного Оля не понимала, зачем Саше надо было иметь ребенка, зачем вообще дети?

В это лето Анюта Воронцова, подруга Ирины, вышла замуж за офицера. А вышла она замуж не потому, что влюбилась, а потому что ей исполнилось двадцать четыре года, а сестра ее, моложе ее, кончила

институт и стала на виду — невестой.

— Это еще что, — смеялся Миша, брат Оли, — один мой товарищ женился, потому что в его комнате не было центрального отопления, а другой, — чтобы самому не считать для стирки грязное белье.

«А вот Лена Сташкевич так и не вышла, — думала Оля, — ее жениху не позволили на ней жениться, и все таки Лена его любит, но по моему такого послушного можно только презирать».

Когда Оля была совсем маленькая, однажды взяла ее Наталья Ивановна с собой в город за покупками. Оле наскучило в лавке, она и выбежала. И видит, у соседней лавки сидит старик и смотрит в бинокль. «Куда вы смотрите?» — спросила Оля. «Я смотрю на мир и на людей», — сказал старик. Оле показался он очень добрым. «А как вас зовут?» — спросила она. «Я апостол Павел», — сказал старик, не отрываясь от бинокля. Оля побежала к матери, очень ее удивило: апостол Павел жив! А Наталья Ивановна только улыбнулась. Потом об этом забыли, забыла и Оля.

В конце лета перед отъездом в Петербург Оля познакомилась с Надей Мудрогай: отец ее, купец, торговал в городских рядах. Надя собиралась на Курсы и пригласила к себе Олю. И когда Оля пришла к ней, вышел старик, отец Нади, и Оля узнала: это был апостол Павел.

«Как это странно, — думала Оля, — и тогда он мне показался стариком».

Тогда Оле было шесть лет, а теперь исполнилось восемнадцать.

Апостол Павел и без бинокля смотрел с такой же добротой — на мир и на людей.

И этот апостол — последняя встреча памятного лета.

И когда осенью Оля приехала в Петербург, ее любимая Зина сказала:

— Ты очень выросла, теперь никто не может сказать: Оля девчонка. Ты взрослая.

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ

Все говорили кругом, что Рашевские живут между собой плохо. А дети словами не высказывали, но были веселы только тогда, если в доме бывал кто-нибудь один: или мать или отец. Только тогда дети чувствовали свободу и мир. Мать почти не выезжала. Все за детьми — девочкам причесывает волосы, так хорошо оправляет их юбки и так крепко целует, прижимая к себе, как никто, словно боится, что детей у нее отнимут. Когда умер Ваня, самый младший — как-то неисповедимо, вопреки зоркому глазу матери, простудился, получил воспаление легких — мать плакала неутешно: сидит в кресле возле окна и заплачет: вспомнит ли что-то о Ване — и долго-долго плачет. Мать верит в сны, спрашивает старую няньку: нянька все сны знает. Мать рассказывала сон, когда в комнате была Зина. Зина, занятая своими мыслями, сна не слышала, а только вздрогнула, когда нянька, значительно посмотрев на мать, сказала:

— А будьте осторожны, барыня.

— Почему осторожно! — крикнула Зина.

— Чтобы не упасть, — сказала нянька.

Но Зина поняла, что нянька не то сказала, и стало ей жутко — казалось, что что-то слепое внезапно войдет в дом, застигнет всех, кто как был, и сделает свое страшное и непоправимое, как с Ваней, и никакая осторожность не убережет.

Вера, старшая сестра, приезжает летом из института. Вера — любимица матери. «Не Веру красит шляпка, — говорит мать, — а Вера украшает шляпку». И все соглашаются, любуясь на Веру, и только молчит отец.

С годами дети отходят от отца: редко, очень редко говорят с ним. Дети убеждены, что отец их не любит. И отец все реже обращается к детям. Все один, и голоса его почти не слышно, он как и не живет в доме. И это никого не беспокоит, напротив, как-то стран-

но бывает, когда он вдруг появляется в комнатах, и еще страннее, если о чем-нибудь спросит. Зину отдали в гимназию. Первое время она очень скучала о доме — это тоска, собирая все ее мысли о матери, о домашних, изводила ее разлукой. В город неожиданно приехал отец и зашел к Зине.

— Папочка! — крикнула Зина, и столько было горячего чувства в ее голосе, в ее взгляде, в руках ее, обнимавших шею отца.

И, никогда она не видела его таким — его руки, его глаза, его лицо. Это был совсем не тот, с кем дома по утрам она молча здоровалась и молча прощалась, как принято, перед сном. И потом летом отец, кому-то рассказывая о своей поездке в город, сказал:

— Зина крикнула: «папочка»... — и посмотрел на Зину.

И Зина поняла по голосу, по глазам, по лицу его, вдруг осветившемуся, что этого он никогда не забудет, и что взрыв ее радости — слово ее, вдруг вырвавшееся из ее нахлынувшего чувства, осветило тогда и будет светить ему на всю жизнь. Мать дети называют «мамочка», отца — «папа», и вдруг — в первый раз «папочка»». Зина много поняла, когда отец рассказывал, вспоминая, и ей было нестерпимо жалко отца, и она очень мучилась, желая и не находя, как поправить их жизнь, которая, она давно заметила, а теперь ясно видела, шла в разлад. Но только потом уж, в другие дни, и сама Зина другая, поймет она, что поправить ничего не поправишь, и проклятие и тягота жизни в том и есть, что не только черствость и вероломство — этот обычай жизни, а и все то мелкое раздражение, какое вызывает один в другом и не почему, а только из за несхожести в самом своем существе, ведь нет ничего одинакового! — гасят в человеке его единственную и последнюю память о свете, проникающем всякую жизнь, и который есть везде — и в земле, в ее цветах, и в детях, и в улыбке, и... в догадливом взгляде

собаки, и что сказка Шахеразады о «бедняке и собаке», об умной собаке, указавшей лапой голодному на свое золотое блюдо с кушаньем, вовсе уж не такая сказка.

Так и жили с любимой матерью и нелюбимым отцом. Зина сама по себе и из всех настойчивая — своевольная. И кругом говорят: «не Зина зависит от обстоятельств, а обстоятельства зависят от Зины». Говорят в насмешку. Так повелось, что все, что «само-по-себе», не «в ряд», не «свое» —вызывает недоверие и опаску, и отсмеиваться и высмеивать — самая легкая и верная защита перед непонятным и подозрительным. Над Зиной с детства смеялись, и с первой своей памяти она чувствовала себя каким-то «гадким утенком». Но за эту же свою непохожесть Зина и нравилась. Дома об этом никогда не говорят — дома восхищаются Верой — но Зина заметила это еще маленькой гимназисткой, и в этом было для нее большое удовлетворение, а неминуемо и боль. Зина на Рождество была у тетки, была и старшая сестра Вера, и было много гостей. И все ухаживали за Зиной. Когда затеяли прогулку, Зина не пошла, хотя ясно было, что и вся затея-то была для нее; и как ей было идти, она видела, какими глазами смотрит на нее Вера! А когда вернулись с прогулки, Вера подошла к ней, обняла ее и поцеловала — Вера не могла скрыть своего чувства, так она была довольна, что Зины не было с ней, и жалко ей было Зину: так было весело на прогулке, а Зина проскучала дома со старшими. Так случилось однажды на людях, но потом и без всех уж, оставаясь одна с глазу на глаз с Зиной, Вера так на нее смотрела, как будто на Зину все смотрят, а сама она и показывается — в глаза лезет, а на нее никто не обращает внимание, не замечают. А это и есть зависть: зависть смотрела глазами Веры, и зависть, она жгучая, сушила слова ее, обращенные к Зине, и от этого было больно и Зине и Вере. Зина ехала вечером полем, кругом были сложены снопы, солнце садилось и было прохладно в поле после

дневной жары. Навстречу Вера на велосипеде. И они поровнялись.

— Зиночка, — ласково сказала Вера, — который час? у тебя часы.

И вдруг Зине вспомнилось, как когда-то так вот сама сказала она отцу: «папочка». И этот прохладный летний вечер, снопы по дороге и необычный оклик Веры врезался ей глубоко в память, коснулся самого сердца и прошел глубже в глубь его тайной жизни.

Умер отец. Хворал он недолго. Но как и все самое важное в жизни, так и конец ее, вдруг — вдруг перед чем-то слепым, что не ждет и не спрашивает, опустились руки, и кто-то взял и легко придушил, как моль. Отец лежал на столе в белом, и лицо его было так прозрачно, точно вывернув, как перчатку, вымыли и вычистили его с лица и с изнанки, — молодой, как брат Володя. И что странно, мать, которая его не любила и всю жизнь тяготилась и, может быть, не раз в тоске в бесконечные ночи от своей безысходной горечи горькими словами обращалась к Богу, прося освободить ее, наконец — сил больше нет! — ждала этой смерти, теперь, когда совершилось, плачет. Или было и у нее в памяти такое, как Зинино однажды «папочка» и Веры «Зиночка» в прохладный летний вечер? Отец был «сам по себе», не «свой», а это очень не просто прожить жизнь с человеком, который живет «по своему» и иначе не может, — и вот вся тягота, все раздражение сожглось перед единственной памятью, и остался только этот голос сердца, его глубочайшее вдруг вырвавшееся пламя.

Зина не так поражена была смертью отца, а вот то, что мать плачет — и эти слезы выговаривались в душе Зины словами о всей жизни.

«И может быть, — думала Зина, — в последние дни жизни на земле, когда при мигающем свете звезд и комет вылезут голодные кроты из своих жилых могил, эти последние обреченные — когда в земле не осталось ни одного червя! — и прикрывая острой медве-

жьей пятерней свое свиное рыльце, заплачут от радости: больше не светит солнце и вся земля обращена в могилу! в эти последние дни все сожжется, но только не этот голос — пламя сердца, и Дух Божий, а дух Божий это и есть пламя сердца, один будет носиться над пеплом, чтобы в свой срок, затосковав, начать творить новую жизнь другую — «по образу своему и подобию» без этой слепой тяготы, от чего тупо и безнадежно страдал человек на земле, что было не в воле человека и человеку было непоправимо своей волей».

Зина учится в Петербурге на курсах. Ее любимая подруга — Оля, такая же своевольная, как и сама она, и с Олей ей никогда не в тягость, и все Олины «капризы» — ей очень понятны и не вызывают никакого раздражения, она только не может поспеть за Олей, но и только с Олей может говорить прямо, без оглядки. И то самое, за что ее осуждали дома, тут на глазах чужих, тянет к ней: в нее влюбляются и ей ничего не надо, только быть собой, чтобы смотрели на нее и слушали, и слушались. А вот Веру никогда никто не осуждал — «положительные люди» говорили, что она клад, что из нее выйдет хорошая хозяйка, хорошая жена и мать, но никто в нее не влюблялся, так и не вышла замуж. У Веры с детства была необыкновенная привязанность к дому, — к семейным вещам — к их роду, и она не могла представить, чтобы расстаться с домом, вырваться из которого было не только освобождением для Зины, но и началом ее настоящей жизни.

Судьба Зины — своя. Как тогда, так и теперь, да видно и везде и всегда так, в России ссылали не только за преступления — ну, какие преступления Зины! — а именно за то самое, что было так характерно Зине, за ее «свое», что не «под всех», и за ее мечту — только за эту мечту о какой-то лучшей совершенной жизни, которую, она верила, люди с такой же горячностью и волей, как и она, могут устроить и непременно устроят на земле. Зину, продержав в тюрьме, выслали.

Зина вышла замуж. И уж не Рашевская, а Рогоза,

жила она с мужем в Москве. И муж ее, тоже бывший ссыльный, как и сама она, никак не могли они устроиться. И жили очень бедно. «Положительные люди» вовсе не такие дураки, как это казалось когда-то Зине, они очень разбираются в жизни и зорки к людям, и разве когда-нибудь они предсказывали Зине легкую и обеспеченную жизнь? У Зины родился ребенок и отвезла она Мишу на лето к матери, думала до осени. Но когда пришло время назад в Москву отвозить, не отдают: привязались за лето — и для бабушки и для тетки в их безрадостной одинокой деревенской жизни этот Миша стал тем самым светом, какой просиял и в Зинином к отцу «папочка», и когда окликнула ее Вера «Зиночкой». Зина через силу, а все таки уступила. Но, оставшись одна, поняла, что не может жить без Миши, не может победить в себе той тянущей душу тоски — ее знают и поймут только матери, у которых отняли ребенка — а это — да это такие черные дни, а еще чернее ночи — все съедают они в человеке: его улыбку, его смех, его желания, оставляя одно, и только одно, и это одно — мысль — как обнажено и обожжено: вернуть! За зиму нельзя было узнать Зину. И было твердое решение: настанет лето, поехать в деревню к матери и взять Мишу, несмотря ни на что. Но всякий раз, как Зина хотела взять Мишу, ее уж не уговаривали, а грозили смертью матери, что мать не вынесет — «и без того из за тебя много страдала!», и все делалось, чтобы помешать — а изобретательность в таких случаях безгранична, и еще — и уж против что скажешь? — «в деревне Мише лучше для его здоровья, чем было бы в Москве!» А когда мать захворала, нашелся новый предлог: Мишу не отдавали — «потому что мать скоро умрет» — «и пусть Миша будет ей последним утешением». И никто не подумал... да Зине легче было бы, если бы даже помер Миша: ей невыносимо мучительно приезжать было в деревню и видеть Мишу — Миша чуждался ее. А когда умерла мать и больше никаких поводов не было за-

держивать Мишу — Миша был совсем чужой, за годы его научили быть чужим, и оставалось только одно: насильно увезти его. Забыть? — Миша и забыл. — Но разве может позабыть мать? Зина видит его таким — его первые годы, когда он был ее, вспоминает глухие ночи: он разгуливается по ночам и не хочет спать, и она носит его по комнате, и он, глядя на нее, ротиком делает, как рыба глотает воздух, но никаких еще слов. Никаких слов, чтобы вспомнить, и только это молчаливое неотступно мучает ее память: «ротиком, как рыба, глотает воздух». Если бы она плакала, как плакала ее мать после смерти Вани! Зину осуждали: «мать бросила своего ребенка!» В глаза ей не говорят, не смеют, но за глаза всякий. И она это чувствовала, как оскорбление — и никто не заступился.

И вот наступило — пришло внезапно и застало всякого, кто как был, и было вовсе не страшно, Зина рада была — а это было то самое слепое, что почувствовала она еще с детства, как неминуемую судьбу. Зина обрадовалась революции. Революция делала свое страшное и непоправимое, карая своим беспощадным судом — оттуда! И Зине казалось, эта революция — против всего, что так оскорбило и оскорбляет ее — против легкого и жестокого, безответственного суда, каким каждый считает себя в праве судить другого; революция — против того, что так легко и бездушно отняло у нее ее ребенка — против этой «слепой любви». Вспоминая прошлое, Зина видела, что тягота жизни была именно от этой слепой любви: мать любила ее — но подумала ли о ней, как и что лучше для нее, когда не отдавала ей Мишу? и сестра, теперь она видит, она тоже любила ее, но разве когда-нибудь подумала о ней? И ей вспоминалось, это еще когда Миша тосковал без нее, Вера носила его к ворожее привораживать... и даже брат, который с детства был ей ближе всех — что он сделал для нее? А с какой радостью сама она приезжала в дом, но когда хотела что-то сделать от себя, передать свое, что было не

только эти бесчисленные поцелуи, а от души — с каким пренебрежением отталкивали ее от себя, и все ее самые горячие слова, как сковывались. И сама она, когда в первый раз, уступая матери, оставила Мишу — не ради ли этой любви? Но и революция — а Зина так ей поверила! — революция шла тем же самым путем «слепой любви»: революция, к горю Веры, разрушила родовой деревенский дом, куда все равно никогда бы не вернулась Зина — ведь там жил чужой ей ребенок! — эта революция... и разве она разрушила легкий и жестокий, безответственный суд человека над человеком? — Эта революция, которая поставила непрекаемым законом свое последнее: «все для человека вне человека»? — и вот начала свою железную работу, ломая и втискивая живую человеческую жизнь без всякого глаза на человека.

ДВЕ — ЛИРЫ

С Фридом Оля познакомилась, когда была курсисткой. И на всю жизнь сохранила о нем память. А с последней встречи прошло не мало. И сейчас, когда сестра милосердия назвала его имя: «звонил по телефону Фрид и просил кланяться», — он — из такого далека — а как живой стал перед ней. Она увидела тонкого, всегда очень чисто одетого студента, он только что окончил университет и выслан из Петербурга, и себя увидела Олей во всем своем революционном жаре, светящемся «правдой» и «самопожертвованием».

Летние вечера в памятном ей по гимназии городе, и только этой памятью неизменно живом. Съезжавшиеся на каникулы студенты и курсистки. Катанье на лодке по Днестру. Однажды после катанья разбрелись по берегу, и Фрид оказался с нею. Он ей говорил о себе: он женат, и у него трое детей, а женился, когда ему было восемнадцать лет, жену он больше не любит, но не может освободиться. Очень это ее удивило: непо-

нятным казалось ей — желать освободиться, а жить попрежнему? Единственное объяснение: его деликатность и уступчивость! — но воля?

«Жить во лжи непростительно», — сказала она.

Он ничего не сказал.

А после одной такой же прогулки — памятный вечер — он сказал ей, что любит ее, и что это она открыла ему глаза на ложь его жизни.

«Не из-за меня вы должны освободиться, — сказала она, — а во имя правды».

До мелочей вспомнилось это последнее свидание.

После катанья на лодке пошли на кладбище. Кроме Фрида, Нина и студент, по прозвищу «Колода», влюбленный в Нину. Яркая лунная ночь и тихо, как бывает на кладбище, и только деревья шумели. Как ей не понравилось, когда Нина у могилы своего отца продолжала громко разговаривать:

«Будто не у могилы, а у себя в столовой!» — подумала она про Нину.

Она шла с Фридом. Нет, у нее не было к нему никакого чувства, ей только было его очень жалко. Ей захотелось отыскать могилу своего брата, она его никогда не видала, умер до ее рождения, но с которым связана была память—слова матери: однажды, и это случилось еще в детстве, она была на кладбище с матерью, мать плакала и потом рассказала ей, какой был Ваня, как она его любила, и заболел он — кровавый понос — не вынес, и как она после его смерти не могла утешиться и очень желала ребенка. «Через полтора года ты и родилась!». Из этих слов было ясно, что родилась она желанной: она заменила матери любимого сына — принесла мир в неутешное сердце.

Отыскивая могилу брата, вдруг заметила она склонившуюся у креста — и узнала: это была Саша Товкачева, а могила ее сестры Сони; Саша, крадучись от матери, ходила на кладбище, вот почему так рано, еще только три часа!

Судьба Сони: повесилась через три недели после

свадьбы — и на кресте надпись: «Софья Николаевна Товкачева, по мужу Кольчевская».

«Под этой надписью какая-то тайна, — сказал Фрид, — пойдемте тихонько, чтобы она не заметила!».

И они незаметно прошли. Рассветало. Петухи пели. И какие-то кургузые птички, ранние, первые проснувшись, перепархивали с ветки на ветку.

На другой день она уехала к себе в деревню, а Фрид вскоре эмигрировал.

И теперь, вспомнив эту ночь, она сказала себе, как тогда, что у нее не было любви к Фриду, а только сожаление, и прозвище она дала ему — «бедненький». Но из всех, с кем за всю ее жизнь сталкивала ее судьба, он был самый нежный и какой-то неключимый в своей любви к ней, он ничего не требовал, ни на что не претендовал и только смотрел печальными глазами. «И что сильнее «правда» или «любовь»? — спросила она себя.

«Да, конечно, любовь».

Теперь ей ясно, только любовь дала ему тогда волю освободиться и начать новую жизнь, и его эмиграция вовсе не потому, что бы был он таким уж революционером: эмиграция для него — единственный возможный способ выйти из «лжи» во имя... «любви».

Оля была тяжело больна, выздоравливала и все это время при ней неотлучно была сестра милосердия. Всякий день Фрид справлялся по телефону — подходила сестра. А когда Оля поднялась и подошла сама, слышит:

— Как здоровье Оли?

И не узнала голоса:

— Кто говорит?

— Ваш старый знакомый.

И она поняла: Фрид.

В тот же вечер он пришел. Как изменился! Он напоминал библейского пророка. А из его печальных глаз светилась неизменная любовь.

Тогда же, а иначе и не могло быть, после той памятной ночи — признания, и ей это было известно, он

разошелся с женой, и все годы эмиграции жил с ним в Париже его любимый сын Коля, которого он называл Кот. С Котом он и приехал в Россию.

— А Кот теперь важный, — рассказывал Фрид, — ночевали мы в гостинице, слышу, упало что-то. «Кот, — говорю, — что это такое?». — «Одеяло, — говорит, — упало». — «А ты сам?». А он отвечает: «я тоже».

Всякий день приходил Фрид. Сколько любви внес он с собой в дом: светящаяся и согревающая чувствовалась она в каждом его взгляде, в каждом слове, в каждом движении. Говорили и о важном — это было в разгар революции, и о мелочах. И, может, нигде так не чувствуется дыхание этой любви, как в житейских мелочах!

Когда Оля стала выходить, как-то вечером она пошла с Фридом на собрание. Возвращаясь, почувствовала усталость.

— Надо взять извозчика! — сказал Фрид.

— Так близко?

Это было на 9-й линии, а Оля жила на 14-й.

Но Фрид настоял — извозчики тогда еще существовали, доживая последние дни.

⁂

Перед отъездом к отцу в Киев, Фрид пришел проститься. За краткий срок этого последнего свидания он понял, что дни, проведенные с Олей, были самое лучшее, что было в его жизни.

— Мне хочется что-нибудь оставить вам на память! — сказал он, прощаясь.

Но ничего такого не было, чтобы дать. И вдруг он обрадовался: в кармане совсем позабытая оказалась новенькая — две-лиры — итальянская память.

— Ну, вот, эти две-лиры — серебряная, пусть они вам напоминают обо мне.

И когда Оля пошла проводить его, на лестнице он повторил:

— Самое лучшее воспоминание всей моей жизни — вы.

И глядя на его печальные, вдруг загоревшиеся счастьем глаза, она поняла, что больше они никогда не увидятся.

Времена тогда были такие: уехать уедет человек— и редко кто возвращался. Так и с Фридом — чувство ее было правильно: Фрид не вернулся: в дороге заболел — тиф — и, по приезде в Киев, — никого, и отца не узнавал! — умер.

А его память — две-лиры — Оля хранила все годы военного коммунизма, а это не легко было, когда при всяких обысках искали оружие, продовольствие, а заодно, на что упадет глаз.

Эта серебряная монета — две-лиры говорили ей о человеке, который ее любил тихо и незаметно, неизменно всю жизнь, о нежном человеке — чистом — серебряном, как его память, и что этот человек не был счастлив.

«И Кот не будет счастлив!» — вспоминались слова Фрида.

Но в какой-то срок подкралась и вошла в дом — такую ничем не умилостивишь: ошарила все углы, уголки — она куда зорче бывшей прислуги, особенно лютой при обысках! — это нужда добралась и до заветной серебряной монеты. Пришлось продать — много ли? — все равно, только б на сегодняшний день.

Но серебряная память — она и без серебряной лиры и чиста и неизменна и сияет здесь, куда не доберется ни одна живая сила в мире, чтобы отнять. И только когда огонь жизни погаснет — — но я не могу не верить, я верю, этот серебряный свет отойдет в вечность, светя — пусть даже из самой черной и тесной «закоптелой бани, по всем углам пауки».

ЗЕМЛЯ И МОРЕ

Как было не любить Оле благословенную черную землю, черные теплые черниговские ночи, перелетную прозрачную осень, белую с жаркими огоньками зиму, воркующую весну, летний окликающий полдень, широкую и задумчивую степь, и лошадей, и собак. И земля, ее выняньчившая и зарумянившая, как свой сад, щадила ее.

Гимназисткой третьеклассницей Оля приехала домой на Пасху в Ватагино. А обратно в гимназию решено было отвезти Олю на лошадях: ехала Маруся, племянница соседей Лупичевых, старшая гимназистка, и ее тетка Анна Ивановна; тетка ходила на костылях, но была очень добрая и веселая.

Оле было обидно, что не свои провожают, а поручили чужим — если бы только знали, сколько было пролито слез прошлой зимой над книгой Достоевского, посвященной детям, и что все эти слезы — ее память о доме! И дорогой Оля плакала, не замечая дороги. И вдруг — эти слезы ее или поворот крутой — бричка наклонилась и Оля тихо выпала в канаву — — и видит она, как выпадает Маруся, и подвинулась, чтобы не упала на нее. И Маруся пришлась рядом и тоже, как Оля, не ушиблась. А тетка Анна Ивановна на костылях удержалась в бричке — чем она держалась, неисповедимо: сидит, смеется. Добрая ли душа ее и веселость духа удержали ее в воздухе, а ведь дряпнись она с костылями, и здоровая кость хряснет, а костылями задавила бы.

В гимназии все удивились: так Оля загорела, — а это солнце и слезы! И потом с лица слезла кожа. Но на теле никакого следа, как и не падала.



Летом в Петербурге Оля была всего раз, потом уж целое лето проведет в тюрьме... А ездила Оля летом в Петербург не одна, а с Черкасовым: Черкасова везли

из Бобровки, чтобы поместить в психиатрическую лечебницу. А согласился он ехать в Петербург только потому, что вызвалась ехать Оля. Для Оли это было очень тягостно, но без нее ничего нельзя было сделать.

И вот она возвращалась из Петербурга домой, теперь одна, измученная; все ее измучило: и дорога и эти дни в Петербурге. И особенно конец в лечебнице: чтобы заманить Черкасова, и это был единственный способ, Оля должна была сказать ему, что хочет войти в комнату; Черкасов всегда забегал вперед, чтобы чего-нибудь не случилось с Олей, и на этот раз поспешил войти, предупреждая ее, и дверь за ним захлопнулась. Эта захлопнувшаяся дверь не выходила из ее глаз, а звук захлопнутой двери, разделившей его навсегда от Оли, стоял в ее ушах.

От станции Оля ехала на лошадях, не замечая дороги. И как ей было помириться с этой навязанной ей ролью — «ведь он ей не мог не поверить, и вот дверь за ним захлопнулась!» — повторялось укором. И ее терзания, что она в чем-то виновата и нельзя вернуть! — и ее негодование, почему ей такое? — с дорогой не только не утихли, а раскалились.

Между Ватагином и Лубенцами лошади вдруг испугались и понесли. Оля очутилась на земле. И легко поднялась она и, крестясь, посмотрела кругом в ночь — лошади мчались с кучером и скрылись из глаз. Одна она стояла среди поля и не было конца ночи. Потом уж показался кучер: он шел по полю — его тоже сбросило. До Лубенцов было ближе и пришлось итти в Лубенцы. И пока-то добудились хозяина, стало рассветать. С рассветом доехали до дому. А лошадей на другой день за двадцать верст поймали — бричка была разбита.

Благословенная черная земля щадила Олю и Оля ее любила. А в Петербурге она узнала море и полюбила море, как свою черную землю.

Олю с детства тянула вода, любила купаться и на-

училась хорошо плавать, а любимым ее развлечением было кататься на лодке. А с тех пор, как однажды Оля чуть не потонула, и ее откачали, глаза у нее словно прояснились и, серые, они то зеленые, то голубые, и темные серые под упорною думой и непреклонным решением.

Весною в Петербурге Оля очень тосковала. А весна была страдная — экзамены. Заботы начинались с утра.

Не успела Оля чаю напиться, пришла Женя Шубина: они вместе пойдут в Публичную библиотеку, сядут рядом и будут помогать друг другу делать выписки, — так и день и пройдет, а завтра экзамен.

И они вышли на улицу. А солнце — только в Петербурге бывает такое весеннее: и от Невы и от взморья и от белых ночей.

— Давайте покатаемся на лодке, так близко! — сказала Оля: Оля жила на третьей линии, пристань рядом.

— Давайте, — согласилась Женя. Женя очень кроткая, и Оля ей очень нравилась, и никак она отказать не могла.

Наняли лодку: одна за рулем, другая гребет — в переменку. Так и катались. Так весь день и прокатались. И ни разу-то не вспомнилось о экзамене. И только на пристани, выйдя на набережную, поняли, что ничего-то не приготовлено, да и поздно.

Законодательница чего «нельзя» — Варя Финикова, можно поручиться, что у нее-то наверняка все готово. Итти к Варе и попросить выписки, но уговор, о лодке не сознаваться. Так и решили.

Но стоило только переступить порог, и Варя, взглянув на Олю, расхохоталась: ну, конечно, не библиотека, а только Нева с ее блестящей синей широтою, только весеннее взморье так зарумянило Олю. И пришлось признаться.

Над образцовыми выписками Финиковой Оля и Женя просидели ночь: на экзамене они ответят на все вопросы.

И больше никакой тоски — это море! — море тоже любило Олю.

С ГОРБОМ

Я думал о моей безвыходности. Знаю, не надо об этом думать, иначе никак не выкличешь выход. Ведь если до конца додумывать, то потеряешь и последнюю бодрость, и откроется единственный выход — смерть. Подумать только, сама наша жизнь — этот круг, где нет ни за, ни выше... человеку дано сознание, и никаких средств что-то изменить самое важное в жизни, да и сознание-то не Бог весть какое!

И вот было решено, что я должен кончить жизнь самоубийством. Я шел около трамвайных рельсов, высматривая, где бы половчее попасть под трамвай; я выбрал этот способ, потому что никому в голову не придет, что найдется такой дурак — броситься под трамвай. Но на мое горе улицы оказались пустынными, ни одного трамвая; и, не находя другого выхода, я стал подыматься по стеклянным площадкам какого-то огромного дома и поднялся к самым трубам и вдруг увидел, что нахожусь над трубами и не иду я, а лечу — и подо мной улица, трамваи и автомобили. И с ужасом подумал, как же это я буду спускаться? — я не переношу ни высот, ни провалов! — и при этой ужасной мысли упал на землю. И прямо в «кав» — черный подвал. В руках у меня шнур с электрической лампой, все ниже и ниже по каменным ступенькам спускался я, освещая выступы: я знал, что где-то в этом «каве» спрятана и хранится века лампа и, как в арабских сказках, никому эта лампа не дастся, только мне, я должен найти эту лампу, это и будет тот талисман, который откроет передо мной все дороги. Но когда я раздумывал о заколдованной лампе — и почему-то я знал, что лампа однажды мне принадлежала, когда я в какой-то прошлой моей жизни жил в Польше — вижу и, как это случилось, не знаю, я

уж не в «каве», а стою я на пустынной площади у лотка, разложено мясо, — красное, парное большими кусками, и я выбрал себе почки — любимое кушанье людоедов! — вспомнилось из Робинзона. Но тут какие-то руки нахально разобрали весь лоток. И я ни с чем, и одна мысль — ледяная, она опускалась до самого сердца — это мысль, что нет мне выхода. И вдруг увидел похоже на Place Denfert-Rochereau, Бельфорский лев, и не один, а два. И когда я проходил мимо львов, один лев подал мне лапу. И я очутился в саду у колодца — надо вертеть колесо, чтобы достать воды, и я взялся за колесо, но с водой вспыхнул огонь, и я видел, как вода заливала огонь. И кто-то сказал: «это оттого, что вы обращаетесь не к одному».

На этом и кончились мои ночные приключения, мало чем отличающиеся от дневных, тоже полных всяких чудес, боли и отчаяния. На душе, как и во сне, была одна мысль, — она не отпускала меня, — ледяная, опускалась она до самого сердца: я думал о своей безвыходности. И совсем невольно от своей перешел я к судьбе других, обреченных на ту же ледяную мысль.



Раиса Кочуева поступила в седьмой класс гимназии из какой-то шестиклассной прогимназии. И сразу все почувствовали, что она другая, особенная, ни на одну из гимназисток не похожая.

Кочуева — горбатая, и не тот у нее горб, какой бывает от перелома, это и не горб, а при маленьком ее росте над шеей возвышение, а кажется, что горб: последствия тяжелой болезни в детстве, что-то с позвоночником, когда дети обречены бывают годы лежать и не двигаться. Синие глаза, тяжелые черные косы, и еще что-то... что-то в лице ее было старообразное. И весь класс невольно ей стал говорить «вы», когда друг с другом всегда на «ты».

В первый раз про Кочуеву, что она особенная и кажется на много старше всех, первая сказала Лиза Куманина. Лиза сама была не как все: хромая: одна нога короче другой, — не могла танцовать, и не бегала, когда была маленькая. Лиза ее первая и заметила и определила.

Оля пришла к Лизе перед экзаменами помочь ей по русскому. И вот Лиза говорит:

— Ты замечаешь, что Раиса Кочуева будто старше нас всех?

И Оля сразу поняла всю непохожесть Кочуевой. И с этих пор хотела подойти поближе к ней. Но это было не легко сделать, а если и удавалось, не успевала сказать и слова: Оля всегда была окружена подругами, а, кроме того, приготовишки, и особенно Вера Ястребова и Сима Мотылева бегали, не отставая, и вешались, и липли.

Раиса Кочуева на переменах стояла в углу между роялем и окном — это ее всегдашнее место — и пристально смотрела на бегающих в зале гимназисток и на улицу, и ее тяжелые черные косы, казалось, давили ее, и эта тяжесть выражалась в напряженном взгляде; а когда с кем-нибудь разговаривала — редко она разговаривала — эта тяжесть черных кос выражалась в улыбке: она тихо и жалко улыбалась.

Весной на большой перемене гимназисток выводили в сад — это был большой фруктовый сад, примыкавший к гимназии. Однажды в саду Раиса подошла к Оле и, как всегда, пристально глядя своими синими глазами и жалко улыбаясь, сказала:

— Оля, пойдемте я вам покажу: солдат повесился.

В конце сада была уборная — туда и повела Раиса Олю. И, забежав вперед, раскрыла дверь — и Оля увидела: в уборной стоял солдат с синим лицом.

Но, должно быть, хватились — и это было одно мгновенье: набежавшие одна за другой классные дамы отогнали Олю и Раису.

У Оли белым железом выжглось в глазах, и только одно она видела: перед ней стоял солдат с синим лицом. Душа ее хлебнула этого синего ужаса — синей ледяной мысли отчаяния, и не могла успокоиться. Ночами Оля не могла заснуть, а днем плакала.

— Не плачьте, Оля, — сказала Раиса, — у вас есть папа и мама, а вот у меня, как у того солдата, никого.

И Оля узнала, что Кочуева живет на квартире, за нее платит опекун. И вдруг поняла, что синее лицо повесившегося солдата — синяя ледяная мысль самой Раисы, и теперь она видела то же синее лицо в ее пристальных синих глазах. Но не страх, жалость сковала ее, — но этого она не смела сказать, не зная, как и чем помочь.

И это была последняя встреча в гимназии: Кочуева вдруг исчезла.

В первый свой приезд из Петербурга летом Оля встретила Кочуеву на улице. Раиса остановила Олю. И они пошли вместе. Раиса расспрашивала Олю о ее жизни в Петербурге. И хотя Оля чувствовала к ней глубокую жалость, но близости не было, да и прошло два года — Оля ее стеснялась и отвечала обще: о курсах, о лекциях.

Кочуева снимала комнату у Нелли Руновской. Нелли, бывшая гимназистка, старше классом Оли. Никаких отношений между Олей и Нелли никогда не было. Оля знала, что Нелли из очень бедной семьи, отца нет, а мать сдает комнаты, а в городе и в гимназии шла слава, что Нелли очень красивая. Кочуева привела Олю в свою комнату, там была Нелли, и Оле показалась она действительно красивой.

За чаем говорила Нелли. Она рассуждала о богатстве. Ее цель добыть богатство, и она добьется богатства: с детства она видела много нужды и не согласна жить в нищете.

Бедность Нелли привлекала Олю, вся душа ее была к ней, но Оле странно и чуждо было слышать

эти рассуждения о богатстве — как избыть бедность, но перед упорством и бесповоротностью Нелли Оля не находила слов возразить ей. Раиса, пристально глядя своими синими глазами, тихо и жалко улыбалась: в ее глазах светилась та же упорная мысль и бесповоротно — но как ей было избыть свое безвыходное несчастье.

Олю возмущали слова Нелли и жалко было Раису.

Раиса все угощала Олю апельсинами и конфетами.

А через год Оля узнала от своей всезнающей тетки, что Нелли Руновская вышла замуж за очень богатого старого генерала Френсдорфа: муж ее почти слепой после какой-то болезни. И когда однажды Оля проходила мимо ее теперешнего огромного дома — лучшего в городе, увидела Нелли: нарядная, расфранченная, она садилась в экипаж — рыжие лошади, рысаки, и с ней в военной форме старый-престарый мухомор; Нелли торжествующе смотрела, кивая Оле, и рукой показала на своего слепого спутника: она достигла цели, и ее желание исполнилось.

Потом уж в свои третьи каникулы от той же всезнающей тетки Оля узнала, что у Нелли родилась девочка.

— Но все говорят, — объяснила тетка, — что эта девочка — дочь сына ее слепого несчастного мужа.

Оля мало обращала внимания на теткины «все говорят», да и не было ей никакого дела до Нелли: более чуждой, чем Нелли, она не могла и представить себе — и эта ее пустая жизнь, может быть, и очень счастливая, но каким проклятым счастьем лжи и обмана!

И в тот же год Оля в последний раз встретила Кочуеву. На узловой станции, дожидаясь петербургского поезда, Оля заметила Кочуеву: она сидела в уголку и дремала. Оля подошла к ней.

Если у Раисы и всегда было что-то старообразное в лице, теперь трудно было сказать, что она ровесница Оле: это была совсем старая женщина, смор-

щенная, с поблекшими усталыми глазами, и какой чугунной тяжестью казался ее горб.

Оля — вся в другой жизни, стала ей рассказывать о борьбе, чтобы сделать человеческую жизнь человеческой, чтобы не сила и страх, а разум, совесть и воля управляли жизнью. Оля думала распропагандировать ее. Оля рассказывала о людях, которые сидят по тюрьмам и страдают за правое дело.

Раиса слушала внимательно.

— Сидеть в тюрьме, — сказала она, — это не несчастье, это только неприятность. А несчастья, я думаю, вы еще не видели.

И Оля поняла, что Кочуева говорит про себя.

И ей вспомнилась Нелли, ее неизбывная бедность, — «но теперь-то она богатая!»

«А как поправить непоправимое, найти выход и успокоиться — избыть горб Раисе»?

В гимназии с Олей училась Саша Харькевич. Во всех классах она всегда была последней ученицей. И не потому, чтобы была неспособная или больная, а просто не хотела учиться. И только благодаря настоянию своей тетки она кончила гимназию, чтобы никогда больше не брать в руки никакие учебники, и никогда не ходить по улицам города. Город и гимназия у нее соединились в одно — самое ненавистное. В семнадцать лет она поселилась в деревне и жила безвыездно. Она занималась хозяйством в имении своей тетки, которая ее воспитала и для которой она была единственной в мире.

Однажды в Петербурге Оля получила письмо от Саши. Письмо начиналось: «дорогая Александровна», — и дальше шло объяснение, почему только отчество. Да так, оказывается, надо по-народному, — и чтобы Оля называла ее «Андревной». Потом следовало признание, что она не променяет свою жизнь ни на какую другую, что она счастлива следить за переменами времен года, и величайшее счастье испытывает, когда несет на плече поднос с только что сорванной

малиной. И заключение: так как Оля не хочет выходить замуж, то она предлагает ей в своем доме угол, когда Оле это понадобится.

А между тем то деревенское счастье, которого после мытарских семи лет гимназии достигла, наконец, и которым наслаждалась Саша, вдруг ей изменило: с каждым свежим утром на деревенском воздухе она стала таять и все глуше кашляла. И сначала встревожилась любящая ее тетка, а потом и сама она спохватилась. И то, что казалось ей невозможным, стало необходимым: Саша приехала в Петербург показаться доктору. И розыскала Олю.

Перед Олей была не Саша, а Андревна: от гимназической Саши «последней ученицы» ничего не осталось — это была приговоренная к смерти чахоточная женщина.

Рассказывая о своей счастливой жизни, — о весне, лете, осени и зиме — о малине, яблоках, Саша упомянула Раису Кочуеву. Оля очень заинтересовалась. Синее и безысходное вдруг вспомнилось ей, да оно было и в глазах Саши, только Саша этого не замечала.

Раиса вышла замуж: ее муж их сельский священник — простой батюшка.

— И у нее родился сын.

Оля насторожилась:

— Как же она теперь?

— Умерла, после родов, — сказала Саша, — и совсем уж слабая попросила показать ей ребенка: хотела удостовериться...

Оля посмотрела — и не на Сашу, выше — выше, как однажды взглянул Гоголь из своего безмятежного «рая» (Пульхерия Ивановна) и однажды Достоевский из своего «ада» (Соня Мармеладова): одна была пламенная мысль и одно единственное слово уверенное, молящее и грозное «Бог не допустит» — и этот взгляд на один миг — но если бы дана была че-

ловеку бесконечная жизнь, этот единственный взгляд остался бы на веки веков.

— И умерла счастливой, — поспешила Саша, — у ребенка не было горба.

И Оля почувствовала, как вдруг стало ей на сердце тепло, и синее ледяное — синее лицо повесившегося солдата, неизгладимо связанное с синими глазами Раисы, разошлось, как тяжелый туман, и еще глубже в памяти тихо засияла лазурь ее родной черной земли.

ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

По заразительному смеху, с каким появлялась Анка Дударева, ее можно было узнать в любой толпе на демонстрации. Да и так — там, где было жарко, там, значит, и Дударева. Глядя на ее необыкновенно белые зубы — самый нерешительный поддавался и осмелевал. Высокая и легкая, шла она напролом. Так в немирной обстановке. Но и в затишье — в песенные кануны, она была приметна. Голос небольшой, но крепкий: в хоре на студенческих вечеринках, она всегда вторит и голосом приковывает к себе. И уж не эти белые зубы, а видишь глаза — голубые... да, что-то от чистого поля было в их цвете и колдовской тишине. Еще надо сказать, и тут эту паспортную примету не обойдешь: нос — нос у нее широкий — бабкой, очень по-русски; должно быть, форма от наших северных кочек, как и светлые ее волосы от тонких зорь белых ночей.

И что странно — для Оли было очень странно: там, где появлялась Анка Дударева, тут же была и Маргарита Беликова. Или и так: где Маргарита, там и Анка — они всегда вместе. Но большей противоположности трудно себе представить, и во всем разные. Крупная, черная Маргарита с фамильной белизной кожи — Беликова! и эти толстые губы, которым не до улыбки и не до смеха, и эти ее серые глаза с тяжелыми веками, как опухшие, всегда притупленные —

так ли бы она видела, если бы они вдруг раскрылись... и уж, конечно, не так бы она смотрела! — с такими глазами не говорливы; ее нос очень нравился Оле: прямой, но не клювом, а короткий и кажется задорно вздернут. И никакого задора, и ничего от имени — Маргарита, и ни воздушного и горячего от неразлучной Анки.

Еще в гимназии Маргариту часто вызывал учитель математики, и это объясняли тем, что где-то этот учитель Световидов отозвался о Беликовой, что она красивая. Но студент Королев при Ильиной выразился не так: «Беликова просто безобразная». Но «бабушка» возразила: «Раз за ней ухаживают, стало быть, она красивая».

Да, стало быть, для кого-то красивая. И Оля считала Маргариту красивой.

«Если бы я не знала тебя, — сказала Оле окончившая курсистка Шапошникова; Шапошникова когда-то училась с Олей в гимназии: Оля была в приготовительном, а Шапошникова кончала, потому и «ты»; — я подумала бы, что ты говоришь «нарочно»: есть такие женщины, которые говорят друг о друге нарочно».

И Маргарита, и Анка сочувствовали с-р-ам. И обе не пропускали ни одной вечеринки, ни одного доклада. На эти вечеринки с нескончаемым пением и на эти доклады на необыкновенно скучные темы — Оле особенно скучными казались по аграрному вопросу, Оля еще на первом курсе к концу года перестала ходить. С Маргаритой Оля училась на одном курсе, с Анкой познакомилась у Кашиных.

Кашин — директор завода в Мурзинке, либерал. И жена его тоже. Оля попала в их дом через Шапошникову, которая познакомила с Кашиными не только Олю, а и еще многих молодых курсисток, в числе которых была и Анка. Хозяевам, должно быть, доставляло удовольствие присутствие молодежи. Принимали очень радушно. По душе Оле они были совсем

чужие, ей было холодно с ними, но обстановка из «того мира» наперекор всему примиряла. Оле было приятно посидеть в кресле, — и все было прибрано и подано, — и рояль, и ковры, — такое непохожее на петербургскую комнату, в которой проходили дни. У петербургских хозяек была такая мода — топить печку через день, а это очень чувствительно, особенно утро в день топки! И Оля иногда ездила за Невскую заставу «погреться».

Оля возвращалась от Кашиных домой с Анкой. Путь долгий — времени для разговора сколько угодно. И первое, что Оля спросила Анку — это свое недоумение о дружбе Анки с Маргаритой.

— Вы дружите с Беликовой?

— Да, — ответила Анка, — но не все гладко, как зеркало.

Значит, действительно, между ними была дружба, хотя и не «зеркальная». Но, что связывало их, Оля так и не спросила: неловко. И стали говорить о экзаменах.

А вскоре Оля узнала от Зины Рашевской, что и Беликова и Дударева влюблены в одного студента. Так все и разрешилось: их соединяет любовь. Но кого из них выбрал студент, Маргариту или Анку? — Зина не могла сказать.

Было три студента сибиряка: Королев, Громов и Колычев. Жили они вместе в одной комнате. Их комната по лютости была самая холодная, подлинно, сибирская. У каждого на столе стояло по лампе — три лампы, как три печки; хозяйка никогда не топила. Все трое сочувствовали с-р-ам. С Королевым и Громовым Оля познакомилась в Нормальной столовой. С ними иногда бывал и Колычев, но всегда в штатском: рыжеватый, с ямкой на бороде — получивший прозвище «студент, социальное положение которого только что выяснилось»; однажды он явился в столовую в студенческой тужурке и этой тужуркой

решил, наконец, для Оли и Зины, кто он; они принимали его за горняка.

Оля обещала Анке свои записки к экзаменам и сама понесла ей. Анка своей не считалась, она была только «сочувствующая», но живостью и горячностью всегда тянула к себе Олю и еще тем, что была «хорошенькая» — какая-то чистая вся, нравилась Оле. Анка, провожая Олю, попросила ее зайти вместе к одному студенту: что-то надо было Анке взять у него. И они зашли. А это и была та самая «сибирская» комната, а таинственный студент — Колычев, «социальное положение которого только что выяснилось».

Оле он показался и в словах, и в манере типичным студентом — таких можно найти у Чехова, а до Чехова у Лескова: эта покоряющая искренность, горячее сочувствие и обязательная театральность делали такого студента в одиночку очень скучным, а в массе — про таких-то и сложена была песня «нагаечка». И что поразило Олю: его необыкновенная бледность, а ямка на бороде, как защипка на тесте, совсем черная. Колычев тоже готовился к экзамену и просиживал ночи напролет, а на воле — белый май!

И теперь Оля рассказала Зине, как была она с Анкой у студента, «социальное положение которого только что выяснилось», но не может сказать, как он относится к Анке, а скорее капризно — и, стало быть, Анка не та, и вот откуда не «зеркальность» дружбы.

Все это, конечно, не важно и мимолетно для Оли: Анка и Маргарита со своей сдружившей их любовью и Колычев со своей. А это так — бывает так: и самая мельчайшая мелочь — отзвук или тень какой-нибудь другой жизни — вдруг займет твою мысль, хотя бы на мышиную единицу в бесконечности всей жизни.

Летом после экзаменов Оля поехала домой. В деревне долго она не могла жить: скучно. А в ближайшем городе — неинтересно. И всегда Оля ездила в Киев: там новости. В первый же день в Киеве Оля

встретила курсистку Груздеву и от нее узнала, что в Киеве и Маргарита, и Анка, а приехали они из-за Колычева: Колычев лежит в больнице, у него был тиф, и уж стал поправляться, но произошло какое-то осложнение, и, должно быть, не выживет.

Известие это нисколько не взволновало Олю, ну, жалко — и только. И, может быть, так бы и вернулась она домой, и никогда бы не вспомнила о Колычеве, но на улице же столкнулась с Маргаритой: Маргарита шла в больницу и повела ее с собою.

Еще несколько дней назад Колычев, оправляясь, вдруг стал тяжело дышать, — слышно было даже за дверью — и по его словам, — он еще говорил — хотел он дыханием своим пробить стену, а со вчерашнего дня лежал пластом: ни ногой, ни рукой, и говорить не мог. Но по взгляду и по каким-то никому незаметным движениям и стону, только одна Маргарита понимала, что он хочет. Суровая, с тяжелыми веками, еще отяжелевшими за бессонные ночи — и, смотрит ли и видит ли она что, не поймешь! — не спускала она глаз с больного и видела, чего никто не видел. А в другой комнате Анка плакала: Анка не понимала Колычева.

Через три дня Колычев умер.

Оля пошла на похороны, чтобы было легче Маргарите и Анке. Анка крепко плакала — так, как, бывало, смеялась. А Маргариту Оля не видела — не смотрела на нее; да такие и не плачут, но и лучше не смотреть на них. Народу было очень мало. Какие-то чужие кладбищенские старухи мышами шмыгали из углов. И одна мышь, незаметно подойдя к Оле, сказала:

— Какой узкий гроб и так бедно.

И Оля вздрогнула — ей жутко стало от этих слов. В первый раз поняла она, что о таком — и уж, кажется, где все расчеты кончены — о мертвом можно судить и рассуждать так же, как о живом.

Похоронили Колычева там, где указала Маргари-

та, на берегу Днепра: там у него были свидания с Маргаритой.

Так и последнее недоумение Оли разъяснилось: избранной оказалась Маргарита, а не Анка. И теперь был еще вопрос: кто же сильнее любит, Маргарита или Анка? Казалось бы, Анка — ее горячность и беззаветность и эти ее слезы — безутешны... но и тяжелые веки, скрывавшие глаза Маргариты, и Бог знает, что там еще таится! глаза, которые видели то, чего никто не видел, и ее суровая молчаливость, ведь это такая крепь...

После похорон Оля узнала, что делали вскрытие и нашли в мозгу что-то, от чего Колычев и не мог говорить. На вскрытии присутствовала Маргарита. Но не Маргарита, киевские студенты рассказывали Оле. Киевские студенты проще петербургских и московских и большие остряки. Студент-медик Смирнов заявил Оле, что в анатомическом театре с трупами он «за панибрата».

Лето было в разгаре. Днем невыносимая жара, а вечерами чудесно: луна и огромные тени от деревьев. Эти лунные ночи Оля провела в разговорах со своими новыми знакомыми, и Смирнов на прощанье подарил ей свою карточку с надписью: «Ольге Александровне Ильменевой от Б. Смирнова на память. Подробности см. на обороте». С этой карточкой «на обороте» Оля вернулась домой в деревню. В ее памяти осталось: «за панибрата» — слова Смирнова о мертвом Колычеве, и еще напугавшая ее на похоронах мышиная старуха с ее рассуждением о мертвом, как о живом.

Осенью в Петербурге Оля первую увидала Маргариту: Маргарита как-то переменилась — или эта ее суровость, дошедшая до жестокости? Разговор о дороге: Маргарита рассказывала, как, возвращаясь в Петербург, она в вагоне видела — барышня, ее соседка, вытирала пыль со своей шляпы...

— Так вытирала, как будто, шляпа ее была жи-

вая, и очень удивилась, что я свою бью об окно, как ковер, — сказала Маргарита и заплакала.

И в первый раз Оля увидела ее глаза — серые, они светились нароставшими слезами; может быть, в первый и единственный раз эти тяжелые веки поднялись, чтобы дать слезам выход и сквозь слезы открыть правду о мире, где нет ни мертвого, ни живого, а есть только чувство живое и мертвое. Толстые ее губы были смочены, а слезы наливались и лились.

Оттого ли она плакала, что, увидев Олю, вспомнила последние дни в больнице, свою любовь, которая видит, чего никто не видит, и понимает без всяких слов; или живая шляпа соседки напомнила ей вскрытие — она этого забыть никак не может — мертвого Колычева, с которым обращались «за панибрата», как она со своей шляпой, выбивая ее, как ковер. Она плакала о своей любви, плакала над тем когда-то живым, который неизгладимо стоял в ее глазах, но не живой, а ссохшийся, свернувшийся, как заяц, с красным, распутно раскрашенным лицом — завтра оно будет синим — и с рассеченным черепом, где клубком маслянистых червей серел мозг, она плакала в первый и последний раз. Такого плача, когда захлебываются, и нельзя остановить слез, Оля никогда не видала.

Потом Оля встретила Анку. И как будто ничего не произошло; Анка так же смеялась. И, глядя на нее, на ее белые зубы, не хотелось отходить. Между лекциями Оля ходила с ней. И Анка рассказала Оле, что теперь у них дружба с Маргаритой зеркальная, и что у каждой на столе стоит портрет Колычева. А вдруг появившаяся Маргарита — рядом с Анкой показалась Оле страшною. И ясно было, что Маргарита любила сильнее Анки.

Но чья же любовь крепче?

У Оли была своя жизнь и по-своему. И эта жизнь заслонила ей на долгие годы жизнь Анки и Маргариты. Но то, что случайно однажды приоткрылось перед ней, вошло в ее мир, как живое и мертвое — во-

шло любовным чувством, по которому неодушевленное видится, как живое, и мертвое живет.

После ссылки Оля побывала проездом в родном городе, где прошло ее детство до Петербурга. Сколько воспоминаний!

Маргарита уже не Беликова, а Окорокова. Муж ее — известный с.-р. И сама она из «сочувствующих» перешла в разряд «деятельниц» и, хоть не состоит в партии, но по мужу занимает высокое место. У нее двое детей — два мальчика.

О Колычеве Оля не напомнила: неловко. Не заметила и портрета на столе. Но на столе Анки? Оля спросила: где Анка?

— Замуж она не вышла, — сказала Маргарита, — живет безвыездно у брата в деревне.

И почему-то Оле вспомнилась курсистка Волкова: как эта Волкова, сочувствовавшая с-р-ам, стала ходить с курсисткой с.-д., и Оля говорила ей: «Мария, бедная Мария...» И теперь, слушая Маргариту, и вспомнив «зеркальную» дружбу Маргариты с Анкой, повторяла себе этот стих. И какой зеркальной поднялась перед ней Анка со своей живой-животворящей любовью, для которой нет ни мертвого, ни вещи, а только жизнь, нелюбимая Анка, для которой само смертоносное жало не смертельно.

«А что же смертельно? — спросила себя Оля, — какое жало могло убить эти бесслезные, вдруг налившиеся слезами глаза Маргариты — плач о любви?»

И в ответ прозвучали слова из ее верного сердца и от чистой мысли — той несмертной части смертного тела...

«Измена».

ЛЕПТА ИЗ ВЕЧНОГО

Оля всегда огорчалась, когда ей в чем-нибудь отказывали, ссылаясь, что она младшая: «Не виновата я, что позже родилась!» — говорила Оля. А однажды заявила, что она тоже большая. «Кто же это тебя

большой считает?» — «Швейцар в гимназии!» — ответила Оля. Ее ответ подняли на смех. А вот Оля и для всех стала большая: ей девятнадцать лет, и ее уж не называют Оля, а Ольга Александровна.

***

Оля познакомилась с Шидловским на пароходе. И Шидловский и Оля, оба ехали по «проходному» свидетельству в ссылку на Печору. Путь от Вологды пять дней. И самый молчаливый за такой срок разговорится. Шидловский всю дорогу не оставлял Олю.

«Он хороший, — подумала Оля, — только мало культуры».

Под Рождество Оля ходила с Шидловским ко всенощной. Была сильная метель — едва можно было открыть церковные двери — ветер рвал. Но и каким волшебством и какой жгучей радостью отозвалась в ее сердце Рождественская песня! Из церкви Шидловский проводил Олю домой и, прощаясь, поцеловал ей руку. Оля не обратила внимания, а Шидловский не спал ночь. И на утро, только что Оля успела одеться и заварила чай — самовар кипел, явился Шидловский, но не вошел в комнату, а сел на пороге:

— Ольга Александровна, — сказал он, — я подлец.

И в голосе его было столько страдания, но сказано крепко и решительно.

— Что с вами? в чем дело?

— Я осмелился поцеловать у вас руку, я — подлец: я не смею даже мечтать поцеловать вашу руку, а я...

Оля его успокаивала: Оля говорила, что ничего она не заметила, и что он хороший.

—Вот вы так и говорите, — сказала Оля, — потому что вы хороший.

И только тогда Шидловский вошел в комнату и за чаем долго и много — бессвязно — говорил Оле, и все его путанные слова были к одному, что всю жизнь он будет служить Оле, и чтобы она его не отгоняла.

И Оля всегда была к нему внимательна — ей легко было с ним: он весь был перед ней в огромной шубе — отцовская память — большой и крепкий, суровый, еще суровее от заросшей бороды, и не было в нем никакого лукавства, никаких «двойных мыслей» и никакой тайны, одна была мысль, а это и была его тайна: сделать для Оли что-нибудь такое, чтобы ей было приятно.

В ссылке Оля была самая молодая из ссыльных.

Шидловский приносил с почты письма: зная, как Оля ждет, он летел с ними, и никакая сила не могла остановить, даже сугробы, которые за какую-нибудь ночь ровняли все дороги в бездорожье. Ссыльный Оводов, ревниво заботившийся о Оле, не мог не заметить и говорил, что Шидловский летит с почты, как пуля, и называл его «пулей», и в этом была правда: огромный, медведем пролезавший по ярко-заросшим топким моховым берегам, превращался он ради Оли в эластическую пулю.

Шидловский — революционер. И, недаром, до ссылки держали его в тюрьме «на режиме»: ни курить, ни писать, ни читать; только мыло разрешалось выписывать в обертке, и эту печатную рекламную обертку он прочитывал сотни раз.

— Что же вы делали? — спросила Оля.

— Ну, похожу, — не спеша отвечал Шидловский, — посижу — — полежу — —

И так изо-дня-в-день. И, очутившись на свободе после «режимного» года, он купил папирос и закурил — и как будто этого году не бывало.

Много было в человеке терпения. Но как всякой силе, так и терпению приходит срок, и тогда получается — революция. И все удивляются: как, почему, откуда? — так безнадежно беспамятен человек.

По вечерам, а зимние вечера, когда нет и проблеска дня, бесконечны, Шидловский заходил к Оле. Молчаливый, он мог часами сидеть, не давая о себе знать, и это молчание не беспокоило: ведь за его суровостью

ничего не скрывалось, а было, как чистое поле, а в глазах — беззаветная верность.

— Я буду вышивать, — скажет Оля, — а вы мне читайте.

Так прочитали Лермонтова «Герой нашего времени».

— Когда-нибудь я вас встречу, — сказал Шидловский, — как обрадуюсь, а вы скажете, как Печорин Максиму Максимовичу: «да, что-то припоминаю».

После Лермонтова Оля выбрала Достоевского: «Преступление и наказание». Но с Достоевским дело не пошло. Чтение было прекращено на той сцене, где изображено последнее унижение «бедности», на решающей для Раскольникова встрече на Конногвардейском бульваре.

«... выглядывая скамейку, — читал Шидловский, — Раскольников заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину... Она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи (матерчатое) платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, а сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клок отставал и висел, болтаясь. Маленькая косынка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны...»

— Не могу больше читать, — крикнул Шидловский и бросил книгу, — не могу вынести.

Или этот образ человеческого позора обжег сердце, раненое однажды, или в этом образе позора оскорблена была его беззаветная и безоглядная любовь к Оле — этот чистейший образ недоступной и недосягаемой, гордой и правдивой.

Достоевского Оля заменила Писемским.

Вопиющее надругательство человека над человеком и человека над самим собой — вот закон «оши-

бочного» мира, и никто не нес его в себе так полно, как Достоевский, — потому-то от его признаний и такая жгучая боль. У Писемского с его полетом, как сам он о себе выразился, не орлиным, но и не лживым, этот мир — не «ошибочный», а только «привычный», а ведь если привычный, то его и нарушить можно и переделать, и потому самые возмутительные сцены из жизни этого «привычного» мира — «картины нравов нашего времени, где собрана вся ложь России», читались гладко и увлекательно, как исторические романы.

В «Взбаломученном море» особенно поразили Шидловского слова Сабакеева — Сабакеев революционер: на уговоры сестры, остерегающей брата — покинутой мужем сестры, для которой гибель брата равна гибели ее детей а, значит, больше ее собственной — «очень жаль, — ответил брат, — и если б от этого в самом деле погиб я сам, мать, ты, дети твои, все таки, я ни на шаг бы не отступил».

А лирические «хоровые» концовки — Писемский ученик Гоголя, как и Гоголь, любил театр, и после Гоголя, как чтец, первый — нравоучительные и мечтательные концовки трогали. И особенно растрогал запев старой крепостной песни — Шидловский повторял его сотни раз за белокурым студентом, который в московской биллиардной, опершись на кий и подобрав высоко грудь, пел чистым тенором:

Уж как кто бы, кто моему горю помог...

С первым пароходом к Оле приехала Лиза Хворостинина.

Хворостинины соседи Ильменевых. Но Ильменевы, как и ближайшие Черкасовы, «расточали» и постоянно нуждались в деньгах, Хворостинины же вели большое хозяйство и не только никогда ни у кого не занимали, а сами ссужали соседей и не без выгоды или, как говорили, «не по-Божески». Лиза Хворостинина училась в Киеве, много слышала о Оле, и очень хотела познакомиться, но все не решалась: по сердцу добрая и вот было же в ней что-то, что повлекло ее к Оле, но,

в противоположность Оле, очень покорная. И когда, наконец, состоялось знакомство, и, под влиянием Оли, затеяла Лиза и ее сестра Соня ехать в Петербург на Курсы, и родители согласились, но «чтобы одна которая-нибудь», Лиза уступила Соне. Перед отъездом в Петербург Соня захворала тифом и умерла. Случилось это в городе, и была при ней только Лиза. Оля приняла большое участие: по ее зову, на похороны собрались все какие только были студенты и курсистки. Такое внимание Оли еще больше привязало к ней Лизу. На Курсы Лиза не поехала, нельзя было оставлять отца и мать, да и вообще о Курсах больше не могло быть разговору: из Петербурга тетка ее писала, что «все эти курсы затея Ильменевой, а надо хорошого жениха искать». Лиза подчинилась, но навсегда осталось для нее недосягаемым — Оля. Лизе хотелось что-нибудь сделать, чтобы было похоже на Олю, — когда ее выделят, Лиза отдаст все деньги на революцию, а пока она займется отцом: и она говорила с отцом, убеждая его, со слов Оли, и отец, под влиянием ли семейного несчастья и что Лиза единственная осталась, как будто, согласился — и понизил процент на свои ссуды. А когда Олю выслали, Лиза выпросила позволение у отца проехать к Оле на Печору.

Приезд Лизы — большой для нее подвиг, а Оле — она за несколько дней надоела.

Оводов, наблюдавший Олю еще до Петербурга, заметил в ней одну черту и говорил ей об этом: к Оле влеклись безотчетно и такие, которые не имели о ней никакого представления, и Оля никого не отдаляла от себя, и от несхожести всегда начинались недоразумения, Оле было это очень мучительно — «если бы у ней не было этой черты, ей бы жилось легче».

Про Лизу нельзя было сказать, что бы, очарованная Олей, она не имела о ней понятия, но уж одной своей покорностью как далека она была Оле. Чтобы не раздражаться и не огорчать Лизу, Оля придумала поручить ее Шидловскому. И Шидловский со всей своей

угрюмой молчаливостью неделю возился с Лизой: катал ее на лодке, водил в лес, все делал, чтобы только не оставлять ее с Олей, — для Шидловского это был большой подвиг.

А как ему хотелось что-нибудь подарить Оле, чтобы было надолго и памятно. И к именинам Оли он выписал из Москвы «Словарь» Павленкова и надписал из Евангелия о «лепте вдовицы»; у него это вышло совсем непосредственно, таким он был весь, и глубоко правдиво: он жил только на те шесть рублей казенных, какие получали ссыльные.

КОСТОЧКА

Следующий год Оля жила ближе, где было много ссыльных. За Олей переехал Оводов и Шидловский. И на новом месте все оставалось неизменным: Оля была под глазом Оводова и всегда при ней был Шидловский. Шидловский попрежнему старался делать все, что было бы Оле приятно, — кроме писем, он приносил Оле кедровые орехи: Оля полюбила кедровые орехи.

Оля любила Мушку — это была трехлетняя чудесная девочка ссыльных Булашевичей, а настоящее ее имя — Янина. Мушка часто ходила с Олей к Смелковым, и это называлось на Мушкином языке — «идти в маленький домик». Смелковы — две устьвымьские барышни, очарованные Олей и беззаветно ей преданные: Оля их учила — и одна мечтала сделаться учительницей, а другая фельдшерицей. К Смелковым Олю всегда сопровождал Шидловский.

Оля спросит тихонечко Мушку:

— Хочешь?..

— Не-ет! — Мушка никогда не скажет «да» и непременно напустит себе в штанишки.

Мокрую ее несет Шидловский. И Оля не может удержаться от смеха, потому что Мушка каждый раз говорит, обращаясь к Оле:

— Ты меня опять поведешь в маленький домик?

А Шидловский за Олю отвечает:

— Что-то твои ревизиты плохо кончаются.

— Не-ет, — говорит Мушка и лукаво смотрит на Олю.

Мушка ничего еще не понимает, не поняла она и когда осенью в их семье произошло большое несчастье: ее мать выписала к себе брата гимназиста, чтобы подготовить в другую гимназию, она выбрала этот город за тишину и много ученых среди ссыльных; один ссыльный задумал охотиться, и этот мальчик-гимназист с ним, сели они в лодку, а ружья поставили с боку, гимназист взялся за весла, зацепил ружье, — вдруг выстрелило и его убило; а как горевала мать Янины!

Не поняла Мушка и когда в жизни Оли произошло большое событие, осветившее перед ней высокую любовь и на всю ее жизнь отбросившее тень: весной отравился и умер Заруцкий.

Заруцкий, немного старше Оли, единственный из всех ссыльных, который был ей всех ближе, и полюбивший ее не то, что беззаветно и безоглядно, как Шидловский, и не ревниво-кровно, как Оводов, а суженно, т.е. как будто бы родился с этою любовью, — и вот за какую-то измену этой суженой любви он должен был и не мог не погибнуть.

В любви есть много ступеней, и на каждой ступени своя тайна, а там, где тайна, там и таинство ничем неумолимой и неизбывной силы — трагедия. И на самой первой ступени, в том, что русский народ называет **любва,** а не **любовь,** — против рожна не попрешь, раз режутся и режут, значит, трагедия. Но я сомневаюсь, можно ли в-сурьез принять и самые бешеные любовные страницы Карамазовых и вообще всю литературную перелюстрацию потаенной жизни: и разве не чувствительно через невольную улыбку или нетерпение и даже скуку или просто разочарование неудовлетворенного любопытства, что на этой первой ступени, где страждет только тело горящее, дышащее и

поющее со своей знойной «любвой», больше комедии — классической комедии, веселого водевиля, а чаще — фарс.

Шидловский всю ночь оставался в больнице, куда отвезли отравившегося Заруцкого, и во всю неделю не покидал Олю. И когда Заруцкий помер, привел Олю из больницы домой. Только его глубокое настороженное молчание могло не ранить измученное до отчаяния сердце. И на Пасху, после пасхальной заутрени, он провожал Олю на кладбище на могилу.

Наступили белые ночи, белые — не петербургские, сочащиеся зеленью, а белые, как медь. В такие медные ночи с огромной белой перекошенной мертвой луной на Шидловского находила черная тоска. Одному оставаться не под силу, и он приходил к Оле: страшный, всклокоченный, лесным пугалом стоял он перед ней и, глядя исступленными глазами, которые давно не знали сна, просил решительно и твердо:

— Спасите меня, не могу жить!

Оля давала ему шоколадку, как Мушке, когда та начинала капризничать, говорила с ним — ведь это пугало было ее собственной тенью и его глаза — ее глаза, не находившие себе сна! — разговаривала и жалостью отвевала от его бедного сердца гнетущую черноту.

Нет, Оля больше не могла жить в этом городе.

И на третий ссыльный год Оле разрешили переехать еще ближе, где было гораздо людней и почта приходила не дважды в неделю, а всякий день.

Накануне отъезда ссыльная колония устроила в честь Оли прощальный вечер. На таких проводах, всегда очень грустных и для уезжающих, и для тех, кто оставался, пили чай и ожесточенно спорили: одной какой-нибудь теории никогда не было и не было согласия, но мысль была одна; как переделать окаянную жизнь, — и заветным неизменно была революция, в которую все верили при всяких разногласиях.

Была белая медная ночь.

Шидловский провожал Олю домой: еще свирепее казался он от ночного медного света.

— Можно мне зайти к вам важное сказать? — сказал он и, войдя за Олей в ее комнату, остановился, закрыв собой дверь.

В глазах его было столько страдания, но в голосе неколебимая твердость:

— У меня большая просьба... я отрублю себе палец и выварю, чтобы одна косточка осталась, и дам вам на память. Я тогда буду знать, что вы меня не забудете, а у меня не будет хватать одного пальца, мне будет хорошо, что он у вас.

От неожиданности Оля забыла и шоколадку дать, как всегда бы это сделала. Только зачем же отрубать палец, она и без косточки верит ему и не забудет. Но он смотрел упорно, не видя ничего, и повторял о пальце и косточке, готовый отрубить себе не один, а все пять.

Оля долго его разговаривала и, наконец, не вытерпела:

— Да не возьму я вашего пальца! — сказала она строго.

И под ее властным голосом, которому он не мог не повиноваться, он вышел из своего костяного столбняка: он себе палец не отрубит и косточку не выварит, но он об одном просит — дать ему на память что-нибудь свое, что Оля носила:

— Лучше всего грязный чулок.

Сам он, при всей своей крайности, донашивал белье до выброса, и в этой просьбе его было последнее смирение и высшее слово любви, что вот и самое ничтожное, но только Олино, он сохранит, как драгоценность.

Оля вынула из корзинки чистую кофточку белую с голубыми цветочками. И с какой бережливостью взял он ее — единственную и последнюю память — и, вдруг, как осветило лицо его, и Оля увидела: слезы.

Он вышел, но не ушел, и, стоя у порога, долго ма-

хал шляпой, — пока Оля не закрыла окно от комаров.

Была белая медная ночь.

Оля думала, как неизменно думала все эти месяцы о жестокой судьбе и бедной человеческой доле: решившись умереть, Заруцкий сказал ей, что он болен, а произошло это до встречи с ней, и теперь единственный выход — смерть.

Когда в первую встречу, — вспоминала Оля, — они ехали вместе на пароходе, была такая же белая ночь, и река такая спокойная, загустевшая от двух слившихся зорь, и вдруг на мгновенье все, как остановилось, и это мгновенье было не временное, а из вечности. И когда она стояла с ним на мосту и было тихо кругом и вдруг оба они замолчали, она почувствовала, что и это молчание не простое. И когда шла она с ним по дороге к кладбищу, — в ее комнате был угар, и надо было отдышаться на воле, а на воле снег и лес и небо, как снег, — и вот словно кто-то прошел между ними, и это было тоже из вечности. «Из вечности» — это покой, ясность и сознание неизбежности совершающегося, и, как будто, оно уже было когда-то, и другой человек не только не мешает, а еще глубже и острее от его присутствия это чувство. И когда провожали на кладбище несчастного мальчика гимназиста, Заруцкий сказал Оле: «первый обряд, где мы с вами встречаемся!» — и его голос прозвучал среди ясности и чистоты осеннего дня, — и это тоже из вечности. «Да, хотел убить утку, — сказала Оля, думая о гимназисте, — а должно быть, пожаловались, и сам убился». И потом, когда в эти медные ночи она представляла себе, что Заруцкий встанет и вдруг придет к ней, и что она ему будет говорить, и как дальше пойдет жизнь — эти ее исступленные мгновенья — мечты о невозможном, но мысленно как осуществимые и даже когда-то раз осуществленные, эти мгновенья были тоже из вечного. И когда однажды луна упала косяком и в лунном серебре задрожала тень — — «Но Оводов, — спросила себя Оля,— ведь больше заботиться, чем он

кто еще может?» Но она ничего не могла припомнить из «вечного», ни одного мгновенья, чтобы вдруг открылся этот покой и ясность и сознание неизбежности совершающегося и память, как о чем-то уже бывшем когда-то; Оводов бился головой об стенку, в буквальном смысле слова, и это было очень страшно, Оля не знала, что и делать, но это было здешнее, не «оттуда», могло и быть и не быть: Оводов весь был как бы продолжение ее рода, ее дома, где родилась она, Ватагино, откуда ушла она, здешнее, кровное, и ничего-то от того существа ее, осененного белым светом, самым жарким и самым пронзительным. Оттого-то она и не могла полюбить его, — она за многое благодарна ему, но «своим» никогда не чувствовала. «А Шидловский?» — — На столе лежал еще не уложенный в корзину «Словарь» Павленкова и эта «лепта» напомнила Оле бесконечные зимние вечера, чтения с Шидловским и как бросил он Достоевского и, растроганный Писемским, повторял запев песни, которую белокурый студент в московской биллиардной, опершись на кий и подняв высоко грудь, пел чистым тенором:

Уж как кто бы, кто моему горю помог...

И, не говоря, Оля перебирала сухими губами, повторяя слова, как свои. И вдруг перед ней мелькнула «вываренная косточка», которую только что упорно и так решительно предлагал на память Шидловский, и вот уже месяц не улыбавшаяся, Оля в первый раз улыбнулась.

И я скажу за Олю — эта ее улыбка — это отсвет беззаветной и безоглядной любви, когда любят не для самого себя, а для того, кого полюбил, и эта улыбка — как суженое слово и как судьбинное молчание — из вечного.

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ

ЗА ЗЕЛЕНОЙ ОГРАДОЙ

ОЛЯ

«Голова львова сера, космата с огненной пастью в поле блакитном». Под этим знаком вся история Оли: ее детство, отрочество и юность.

«Оля»: В поле блакитном. Доля. С огненной пастью. «Голова львова».

Этот львовый знак — фамильный герб Задоры Довгелло. Оля — Серафима Павловна Довгелло и повесть «Оля» написана с ее слов. И имя Оля взято от нее: в детстве она мечтала о какой-то заветной подруге, которую будут звать Оля.

И что странно, это имя за последние годы повторялось у нас чуть ли не всякий день или по воспоминаниям о Ольгах или приходят и все Ольги: «Оля» кружилась над домом.

Есть в именах тайна. Знать имена, значит владеть их силой: на этом основаны заклинания. Именуют человека не спроста, все равно по календарю или по пристрастию: в имени знак его сил и судьба.

Произошла перемена: пламенная Серафима в лунную Ольгу. Ольга вышла из мечты Серафимы. Стало быть, такое превращение возможно в свете и цвете жизни.

Неделимую единую любовь делят на высокую и простую — Divina et l'amore profane, — так можно говорить и о неделимом едином источнике жизни, о двух началах ее цвета и света: «разоженный уголек в крови» и белый, самый жаркий пронзительный свет. Одни родятся для земли, другие на земле для не-

ба. Есть «любовь» и есть «любва», «любить» и «любиться» и знойные песни сложены как на любовь, так и на любву и умирают из-за любви и равно из-за любовы.

С кем идет Оля в русской литературе? Да такой нет, одна. Но есть же кто-то ей не чужой, кого она могла выбрать себе в подруги?

Вспоминаю Лизу — «Некуда» Лескова и Тургеневских: пламенную Марианну «Нови» и Елену из «Накануне».

Оля любит переговаривать Татьяну. Или оттого, что образ Пушкинской Татьяны, единственный, овеян таким горьким светом, не даром и вызвучено Чайковским. Горький свет — цвет человека неужившегося со своей судьбой. А верность слову, перед образами или в мэрии, исполнение долга, вызвавшее восхищение Достоевского, да это как-то само-собой и не имеет значения: Татьяна не собаченка, что можно приласкать, но можно и турнуть.

Оля задумывалась о судьбе Лизы «Дворянского гнезда» — говорю за Достоевским о Лизе после гордой Татьяны — Лиза отходит от своего счастья, Лиза уступает и идет в монастырь на казнь: от любви никуда не уйти и нельзя позабыть. Лизу жалко, как жалко Анну Каренину, обманувшуюся, поверила в какую-то докончательную любовь какого-то верхового пентюха, оскорбленную и покинутую.

Но кто Оле чужд, это все зверовидное Тургеневское: Одинцова, Полозова, Лаврецкая, Ирина, и Толстовская Элэн, а у Лескова Глафира («На ножах»), у Писемского Екатерина Петровна («Масоны») и конечно, Саломея Вельтмана.

Чужды Оле и каррикатуры с «инфернальным изгибом», что представлено у Достоевского, как «бунт и соблазн крови». Не свое, конечно, и такое трогательно «животное», как добродушная Тетеся Квитки-Основняненки. А надо сказать, что эти бессловесные

Тетеси всю жизнь льнули к Оле, как и любимые — все эти безумные, блаженные, юродивые и ни на что не похожие.



«Люди мои, братья мои я прожил весь в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много понес на себе. Вот что: любите жизнь. Любите ее до преступления, до порока. Все — к подножию Древа Жи́зни. Древо Жизни — новая правда, и это одна правда на земле. И до скончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни. Его Бог насадил. А Бог есть Бог и супротивного наказует. Только его любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идолов. Жизнь — в самой жизни. А выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг. Ибо в Древе Жизни — Бог, Который насадил его для земли. Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают Древа Жизни, разделясь на партии, союзы, царства, школы, когда всего этого и нет под Древом Жизни, все это оскорбляет собою Древо Жизни. На самом деле и в бесконечности ничего и нет, никого и нет, кроме Бога благословляющего единое Им насажденное Древо Жизни, коего люди — частицы, клеточки, точки. И они все могут — кроме уныния и тоски. Я был тоскующий человек, но я хотел бы быть последним на земле тоскующим человеком, и хоть с неба посмотреть на счастливое и беззаботное человечество, на зеленое человечество с одною только радостью, и без всякого дыма, горечи, злобы, злодеяния и отравы. Этого не надо, воистину — не надо...» (В. В. Розанов, о К. Н. Леонтьеве — 1831-1892. Новое Время, 23 февраля 1917 г.)

«Василий Васильевич! Ваша мечта, новая правда: жизнь, потому что вы прожили свою жизнь в тоске и неудаче. Но кого вы сунете под ваше Дерево в беззаботное зеленое человечество? Я их всех вижу и пер-

вую Вельтмановскую Саломею, а за ней тургеневских и толстовских звеҏовидных и кобылиц Достоевского Аглаей и Грушенькой, все они с «угольком». К ним в «союз» вы присоедините зеленых с Сингапура из края роз и яда. Сам я там не был, а знаю от И. А. Гончарова, пишет с Фрегат Паллады: «Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко-дышащим ртом, с волнующейся грудью, но видеть перед собой только это лицо, никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали — устанешь и любоваться».

«Василий Васильевич! Мою Посолонь я вам читал на все «гласы», вы знаете, как я люблю природу: весну, осень, траву, деревья, цветы, зверей и птиц — «жизнь», но больше недели прожить на лоне природы не в состоянии. Все вокруг топчется и всякие мелкие зверки и букашки и толкачики — все они родятся «на радость», а мне хочется книжку почитать, «помучиться», и затоскуешь. Я родился с «подстриженными глазами» и природа с ее разнообразием меня утомляет. На вечерний закат — кто только не восхищается! — или как англичане, не отрываясь, смотрят из автокара на бретонские морские сверкающие переплеты, но мне достаточно только глянуть и отвернусь. Люблю грозу, северное сияние, пожары, но какие могут быть пожары под Древом Жизни? Уж очень под вашим Древом Жизни благообразно, Лермонтов от скуки просто разложит костер и подожжет — туда и дорога и со всеми райскими плодами. Я понимаю, откуда ваша мысль, да вы и не таите: «истосковался, неудачи!» — вы мечтаете о рае Божьем. Древо жизни! вы сами знаете, не знай с которой стороны подойти: дети хворают и редко не услышишь жалобу: у кого спина, у кого печень и постоянная зависимость от погоды и со всех сторон тиски, я говорю о внешнем, осязательном, не о душе — там ад без срока. Человек выбрал другое дерево и свою волю не уступит до смерти. А хочется тихо в

своей норе посидеть, и чтобы было тепло, главное, натоплено, а по Достоевскому еще и чаю попить, а по мне и с баранками, и без всякого Лермонтова, вообще без «человека», а только домашние животные допускаются, пускай себе лают и мяукают и если охота топчутся на здоровье. А людей «лунного света» и с ними Олю? Помните, как в первый раз заглянув ей в глаза, вы обратясь ко мне, сказали: «Серафима благородная, а мы с тобой...» Я понял, о чем вы хотите сказать. — Олю вы не принимаете под ваше Дерево, в ваше цветное Телемское аббатство? Но если Бог кладет в человеческое сердце раскаленный уголек, Он же озаряет и белым, самым жарким светом — Древо Жизни многолиственно и много поясов, оно покроет с головой ваше зеленое и среди них вы первый заскучаете и как было в жизни, поссоритесь и полезете вы туда, где Оля. Оля — это мечта, «без которой ни Бога, ни Его Древа Жизни».



В детстве Олю встретила Норна — одна из трех и открыла ей путь.

«Оля, сказала она, ты должна посвятить себя Богу». — «Да», твердо ответила Оля. — «Тебе надо левую грудь отрезать и положить под образа». Оле вдруг стало страшно и она ничего не ответила. «Ты согласна?» — Оля молчала. «Левую грудь надо отрезать и положить под образа, согласна?» — «Согласна», сказала Оля. «Подумай об этом и приходи!» и она поцеловала Олю.

Все это рассказывала Оля просто, как такое, что не тайна и рассказывать можно, и не заметила, что мать поднялась и вся изменилась.

«Мама, я готова, я посвящу себя Богу».

И все, кто подходил к Оле, обжигались о ее пламя посвященной. И чем ближе подходили, тем раскаленнее становился огонь, и не жгло, а палило. Судьба их была предрешена: смертный приговор. Одни кончали

самоубийством, других подстерегал случай и та же совершалась расправа.

Скопческой пророчице не удалось совершить над Олей «крещение кровью», но не все ли равно, если сама Оля говорит от всего сердца несомненно и твердо: «я посвящу себя Богу».

И новая правда жизни, прозвучавшая под Древом Жизни: «любите до преступления, до порока» для Оли беззвучна и непонятно, хотя сказано по-русски.

На ее пламя влекло и ее пламя было ей оградой: пламенные силы хранили Олю.

С ПЕРВОГО ГЛАЗА

Я еще ничего не печатал, а про меня идет слава: писатель декадент. О декадентах все знали по статье Н. К. Михайловского в «Русском богатстве».

«По Пензенскому делу непартийный с.-д. писатель декадент», что означало «никуда», — мое написанное проходное свидетельство в Устьсысольск.

***

Пройдя через Вологодскую тюрьму, пять суток плыл я по Вологде, Сухоне и Сысоле. На медовый Спас — 1 августа (1900 г.) рано утром под звон колоколов — звонили к ранней обедне, пароход причалил к пристани, дальше ехать некуда: Устьсысольск, по зырянски Сыктывкар.

Я поднялся на высокий берег и с легкой ношей — этапный мешок за плечами, пошел в город.

Приютил Федор Иванович Щеколдин, староста и казначей, старейший из ссыльных, учитель, подобие Варлаама индийского. Имя мне известное — на Москве слышал: Щеколдины миткальщики, Ивановское село Гольчиха, потом я узнаю его «житие»: родственники считали его юродивым, а он родственников прокаженными; с.-д., соблюдавший посты и церковные

праздники — такие попадались на Руси среди революционеров «служители всему миру».

К раннему чаю собрались другие ссыльные: приезд нового — событие, и любопытно: такого еще нигде не водилось: декадент!

Настоящие люди, попадая в такие края, справляются у старожил про охоту. Дрианского я читал — первый по богатству слов и зверя знает, как родного брата, а я и в лесу никогда не был и слова из словарей выписываю, мне охота, как апельсин корове, мне бы до книг добраться.

И тут я услышал о Оле.

Ольга Александровна Ильменева из Петербурга по делу с.-р.; год держали ее на Шпалерной в предварительном заключении, с месяц как приехала в Усть-сысольск. В ссылку привезла много книг.

Я подумал: «стало быть, нас вместе арестовали в марте: ее в Петербурге, меня в Пензе».

После чаю решено было итти к Оле. Щеколдин взялся меня проводить. Кстати, ему нужно по своему делу.



Было крепкое осеннее утро, погожий день. По реке, за рассеянным белым туманом, разливались красные с золотом лебяжьи плывучие перья; за краткое буйное лето перепеклось солнце и освещало землю, не нагревая.

Лес неприступной стеной на том берегу: ни к нему, ни сквозь.

Я смотрел кругом — какая нависшая грусть над притаившейся пустыней. Я узнаю прародину человечества, крайний камень откуда выдет и пошел, разбредется по лицу земли, человек. Я вижу первого человека, зверей и духов под пологом двух слившихся зорь. И читаю древнюю память человека о создании мира — о природе жизни из отчаяния и восторга.

Щеколдин заглянул на почту, и я за ним. С почты начинается оборванная жизнь, но ни я, ни мне: я еще в пустом пространстве, открытый всем ветрам, а памятью в веках.

Почта меня отрезвила и я стал раздумывать, не повернуть ли? Но Щеколдин шел уверенно, он не из любопытства, а по делу, для которого нет ни рано, ни поздно, а только надо, суровый Варлаам индийский.

Оля жила на другом конце, за Собором, далеко, а пришли.

У Оли сидел Оводов и она была недовольна, что так рано. А Оводов нарочно пришел пораньше и возился у Олиной хозяйки: он сделал для Оли стол и полку — он все может сделать, а для Оли даже и такое, о чем никогда в голову не приходило.

Оводов лесник, кончил Лесной Институт, ему все лесные породы, как мне «кикиморы», он охотник, читал и Дрианского, только оценил его не за слово, а за охотничью точность и разнообразие охоты. Оводов сосед Ильменевых, знает Олю еще гимназисткой и все ее привязанности и причуды. Сегодня медовый Спас, он достал мед и готов, если пожелает Оля, проводить ее к обедне, и нет такого, на что он не был бы готов для Оли. Его ревнивая забота, в ней было что-то от родного дома, всегда раздражала и тяготила Олю.

Сегодня праздник. Оля в своей вышитой белой малороссийской кофточке, на шее янтарные бусы. Янтари запутались в ее тяжелой косе. Нетерпеливо Оля распутывала, да не легко было высвободить. Новый стол и полка помирили ее, и она не сердится ни на любимые янтари, ни на Оводова.

Слышно было, как на кухне загудел самовар.

Оводов поставил на новый стол тарелку с медом — мед, как Олины янтари, соты. И рассказал новость: с пароходом приехал новый ссыльный с.-д., иронически добавя: «декадент Ремизов».

Из сотов вылетела пчела. Оля вскрикнула.

Оводов, он все может, не разгоняя, сейчас же вытурил в окно напугавшую пчелу и пошел на кухню за самоваром.

И несет, начищенный бузиной, блестящий, полный до краев, выбивавшийся паром и песней. В это время за дверью раздался стук. Оттого ли что Оводов, второпях, не глядел себе под ноги, или от неожиданности, или просто загляделся на Олю, самовар выскользнул из рук и тарарахнулся, со всем своим кипятком и раскаленными угольками.

Стоя за дверью, я слышал шаги — мне казалось много народу и ходят. Двери не картонные, а за ними крепкие сени и еще дверь, режь, не услышат. Щеколдин продолжал стучать. И я подумывал: «пускай один Щеколдин, я лучше тут подожду».

Дверь отворил Оводов: мне показалось, весь он во весь свой рост промокший, черные спутанные волосы закрывали лоб, очки запотели, в руках тряпка и течет.

Я уверен, будь Щеколдин без меня, так бы и пошел, приложившись к двери, но как было поступить со мной? А если Оля скажет, зачем не пустили и будет мучиться, что не пустил? И как тогда поправить?

И мы вошли.

Я сразу увидел: Оля недовольна. И хотя в ее крепкой руке я не почувствовал нетерпения и улыбнулась, но досаду не скрыть — а может, это вовсе не на меня?

И тут я все заметил: и богатую косу и какие ровные зубы с чуть выступающими клычками и оттого так тонко очертание рта, и золотой крестик лопастком из-за ворота под янтарями, а в серых глазах по-детски промелькнул испуг, а все завеяно — голубое.

Оводов по полу с тряпкой. Я стоял. Оля отвечала Щеколдину резко: надоел он ей. А Щеколдин говорил с ней не так, как со мной: так его Миндовские

дяди миллионщики говорили с бессчетной казной — с дедушкой Коноваловым. И я почувствовал, что у меня нет пылу так сразу и попросить книгу.

В комнате хозяйские вещи, но было и свое — на комоде коробочки и книги в переплетах — Михайловский. Я протянул было руку, но Оля заметила, я это почувствовал, и как отвечая Щеколдину, отошла к комоду.

И когда я заговорил о книгах, она ничего не сказала, для меня неожиданно, стесняясь.

И я представил себе, как она тут беспомощна и одинока среди ссыльных. И жалость смутила меня. И я продолжал о книгах, но не выпрашивая, а предлагая ей.

— Мне обещали, — сказал я, — присылать все новинки французских символистов — прямо из Парижа.

Оводов без тряпки, прислушиваясь, отвечал Щеколдину обрывисто и сухо. А я, прихвастнув Парижем, одно думал как бы поскорее уйти. Щеколдин мямлил о очередном взносе в кассу.

— А скажите, — Оводов обернулся ко мне, глаза его нехорошо смеялись, — Ремизов! вам не родственник Ремизов у Горького?

Я не сразу сообразил: «у Горького»? но почувствовал ревнивую неприязнь.

— Нет, не родственник, — ответил я растерянно, как пойманный.

— У Горького дважды, — продолжал Оводов, — в «Вареньке Олесовой» Сашка Ремизов конокрад, а в «Фоме Гордееве» золотопромышленник.

Щеколдин прощался. Оля предлагала нам чай с медом.

Мне было очень грустно.

— Сюда мне не дорога, — подумал я и мое, извечно наперекорное, глубоко повернулось во мне.

— А по моему, Ремизов повар, — сказал Щеколдин, — не то в «Троих», не то в «Исповеди».

НЕПОПРАВИМОЕ

С Олей я не встречался в Устьсысольске. Оводов оберегал ее. Я сидя в своей кикиморной норе, с кличкой «декадент», за самый короткий срок превратился из Ремизова конокрада, золотопромышленника и повара в Басаврюка Подстрекозова. Как-то к разговору о жизни ссыльных, Горький рассказал мне обо мне такие истории в пору Вечерам Гоголя: и волшебство и безобразие; я помалкивал — кому же не хочется быть и краше и богаче!

Оля научилась переплетать и однажды Щеколдин предложил мне, будто бы от Оли, переплести что-нибудь; я дал Историю философии Люиса. И не скоро, а вернулась ко мне книга в переплете — «декадентский», не смеясь смеялся Щеколдин: одна сторона синяя, другая желтая, а корешок красный под кожу в пупырышках. Храню эту единственную память, пусть сделанное на смех, но я и такого не заслужил.

С первым пароходом Оля переехала в Сольвычегодск. Были проводы, но меня не позвали, хоть Щеколдин и настаивал «в порядке товарищеской дисциплины».

Так бы казалось, повесть о Оле кончилась, а на самом деле начинается трагедия.



Его я знаю по портретам и рукописям — тетрадь с рассказами. Заруцкий поляк из Ломжи, тонкие черты — печать духа и культуры. Учился в Дерпте. По-польски начал писать еще студентом, стало быть, с тюрьмой лет пять и с год по-русски — для Оли.

Почерк мелкий убористый — латинский без усов. Лирическая проза — осенний день, печальный вечер, а ночью метель, а во сне распятая дорога, полевые цветы. Его учителя Красинский и Норвид, а путь

Марлинского, русского ученика Сенковского — польская руда в русских ладах, как Киевский распев.

Оле было свое и эта извечно-предопределенная польскому народу, подымавшаяся до небес, Тоска со всей страдой выраженная не воздушно закатывающимся вальсом Шопена, а широким звучащим простором Чайковского и сверкающей глубиной глаз неутолимой печали Врубеля.

С Заруцким Оля никогда не скучала и его забота не тяготила. Его печаль проблескивала улыбкой, чего не было у Оводова, всегда озабоченного: Оводов не любил шутить и сам не мог.

И для Заруцкого и для Оводова Оля — все. Это были ее два рыцаря, которым Оля могла все доверить и быть уверенной в их любви. Только Оля это не так понимала, как ее рыцари.

И что было для Оли удивительно, Заруцкий, в свои последние отчаянные дни, говорил ей обо мне, советуя познакомиться поближе, а знал он меня только по слухам: Подстрекозов.

Заруцкий отравился, он не Оводов, не земляной, а воздушный и все чувства его больнее.

Смерть Заруцкого потрясла душу: Оля обвиняла себя, как однажды в смерти Черкасова: застрелился. Но в чем она могда упрекнуть себя? И все-таки все произошло из-за нее. Стало-быть, есть что-то в существе ее. Что же такое существо ее?

«Верую во единого Бога Отца...» читала Оля символ веры, свое неразделимое от ее существа и вдруг вспомнилась ей скопческая пророчица, слова ее, и Оля отвечала убежденно: «я посвящу себя Богу». В этом и было существо ее. «И разве можно заставить себя что-нибудь любить?» спрашивала она себя и возмущалась нашептыванию голосов, которые осуждали ее. А перед глазами возникал, все заполняя, образ человека, который любил ее и не вынес своей жгучей любви. И чувство вины и непоправимое терзало ее.

Я встречу еще одного человека, тоже обнаженная совесть, это А. А. Блок. Мне говорили, таким был Глеб Успенский.

***

Месяц как Оля в Вологде. Ее комната на Желвунцовской, близко от меня. Обедает она у Савинковых. Всякий день я встречаю Олю за столом. За месяц я не сказал с ней слова, кроме каких-то столовых. В разговорах она отсутствует: слушает и не слышит, а другой раз просто сидит в столбняке и если спросят, она как проснется, и не сразу ответит. Встречал ее и на улице: она шла в такой глубокой задумчивости, когда на оклик вскрикивают.

О самоубийстве Заруцкого я знал по слухам, а слух всегда, я это давно понял, как кому хочется и приятнее, а тут «любовная история», простор воображению. Я не разбирался и было одно только: жалею Заруцкого и Олю.

Раз случайно я слышал, как Оля смеется: она играла в соседней комнате с детьми: какой это беззаботный, крепкий смех, и я подумал: «хороший голос!»

А в этот день она была сама не своя, в первый раз вижу, гнев горел на ее лице и вся она вздернута, и голос другой и акцент: не Москва, не Савинкова Варшава, свой черниговский. Она от губернатора. Срок еще не кончился (ей было дано разрешение на два месяца), а Муравьев, вице-губернатор, требует немедленно вернуться в Сольвычегодск и грозит отправить этапным порядком. И когда она возразила, что пароходы не ходят и ехать пятьсот верст на лошадях она не может — «и почему?» Муравьев сострил: «за такое распоряжение вы должны благодарить своих товарищей ссыльных». На такое нечего ответить и это оскорбило ее.

Муравьев замечателен был своим тупым ничтожеством: его распоряжения вызывали смех, а чаще досаду.

— Глупый малый, — заметил Щеголев, — ему-б в полиции вторым помощником письмоводителя или на каланче.

Савинков одобрял Олю: не подчиняться.

А я подумал: «Все это хорошо, когда все хорошо». Но какой найдет себе выход Оля не подчиниться, я не догадывался.

Обыкновенно после обеда Щеголев читал вслух Чехова. И стихи декадентов — 1902 год — Бальмонт, Брюсов, а из старых Фет. В этот раз Бодлэр, перевод П. Я. (Мельшина-Якубовича). Хорошо читал Щеголев, отчетливо.

Зажгли лампу. Самая осень. Слякоть и ветер. Помню число: 26-ое октября. Для Бодлэра подходит.

Я попросил книгу себе на вечер. И прощаясь, заглянул, проверить: книга не Щеголева, а Оли и посвящение.



Жил я один в доме — почему-то называлось «семейной квартирой»: комната с печкой и кухня заставленная кроватью. В комнате два окна: на улицу и в дерево; и в кухне окно — в сад.

Под дождем обнаженные деревья скрипят с натугом, в стекло стучит ветка — длинные усталые пальцы, с улицы швыряет ветром.

На ночь я приготовил самовар и читаю Бодлэра. Угольки из печки с теплом поблескивают.

Еще самовар не допел свою песню, слышу стучат.

«Кому, думаю, верно угорелый сосед?» Со мной был случай, на четвереньках выполз и не кулаками, головой стучал в соседний дом.

Но это был стук не головной.

Я отворил и не верю глазам: Оля. Ее зеленая кофточка была вся исполосована черным дождем, а на голове поблескивали дождинки.

Она пришла за книгой. Она видела, как Щего-

лев дал мне на вечер, книга память, а от Щеголева назад не получить.

— Прочитайте мне что-нибудь! — сказала она и села у печки.

И я начал из «Непоправимого»:

> Властны ли мы заглушить неотступную старую
> Совесть?
> Живучая, извивась и киша,
> Она питается нами, как червь мертвецом,
> Как гусеница дубом.
> Властны ли мы заглушить неутолимую
> Совесть?

И я почувствовал, как под моим голосом она вся вздрогнула. Я закрыл книгу и подал ей. Но она с удивлением посмотрела на меня. И тут я заметил, что лицо ее пылает и волосы спутались и она все поправляла, точно хотела снять с головою.

Я пробовал о Бодлэре, но она никак не отзывалась, да она и не видит меня. Я отошел к окну, поправил вздувшиеся занавески и все думаю, что нет у меня ничего к чаю — угостить.

Но ей ни до чего было, она сидела как будто спокойно, но глаза ее закатывались и стиснутыми зубами, как бывает от досады, так резко — этот звук нельзя слышать безразлично.

Я налил ей горячего чаю, думаю, согреется и отойдет. И вдруг она изменилась: она смотрела в меня и просила, но я не мог понять, что ей нужно. Я даже спросил. Но она не ответила и только глядела с такой болью и стиснутыми зубами — этот звук, от которого падает сердце.

За окнами вышептывало из ночи. Их было много, они раздували занавеску заглянуть. Я поправлял, переходя от окна к окну. А она сидела, не шевелясь, то с горечью глядит, прося или напомнить хочет? — то уйдет — белые глаза.

Я вышел в кухню подогреть самовар. Надо было что-то сделать, и не знаю. Перемыл посуду и вернулся.

На мои шаги она поднялась. Она была не та: с лица сошла краска и белое до сини переходило в синь — или так гляделось моим глазам? Она заторопилась, но что-то задерживало: хотела ли она сказать мне о своем решении, ведь надо-ж кому-нибудь сказать, и мучилась, не могла выговорить. Книгу она не взяла. Так и ушла в черный дождь.

***

Помню на утро: укор — разве можно было так бросить человека? — но что же мне было делать? — откором глушило совесть.

За ночь все переменилось — кончилась осень — подсушило дорогу и серые тучи несли первый снег.

«Как это хорошо, зима!» подумал я и снова глубоко резануло: о ночи.

Олину хозяйку я застал встревоженною, она махала руками, повторяя: «несчастье!» Это одно слово распахнуло тайну ночи: утром Олю свезли в больницу.

Хозяйка повела меня в комнату Оли. И сразу я узнал знакомое по первой встрече в Устьсысольске: те же в переплетах книги и на комоде всякие коробочки. А на столике, около кровати, развернутые порошки.

— Ими! — показала хозяйка и всплеснула руками.

— Отравилась! — сказал я и острой жалостью обожгло меня.

***

На третий день опасность миновала и меня пустили в больницу. Я подошел близко — как мне обрадовалась Оля! Никогда она так не смотрела — с такой любовью. А в словах ее было такое, будто мы век знали друг друга. И на лице ее, светясь, светилась ее улыбка, которая погасла в ту ночь.

И что удивительно, потом я заговаривал о этой ее ночи, но она ничего не могла вспомнить. Эта ночь прошла для нее, как глубокий сон, что тоже смерть.

Оле надо было умереть, чтобы под другим именем начать жизнь — свою страду.

НАТАША

Теперь, когда все кончилось и я говорю о призраках, дойдет ли мой голос и ответ получу ли я? Скажут ли мне ошибся или скажут прав, что изменит мою, призрачную для них, жизнь? Или поправит непоправимое их жизни?

Прямо скажу, не с 3 июня 1940 года, не с бомбардировки Парижа и разгрома нашей квартиры началась катастрофа, а с той минуты, как Оля решилась вопреки существу своему, ею сознаваемому и однажды Норной открытому, выйти замуж.

Ее решение порывом — всем пламенем сердца, души и воли, в которой нет середины, а только «да» и «нет», и только «всегда» и «никогда».

Оля решила для себя бесповоротно выйти замуж по чувству, впервые пробужденному в ней и подчинившему своей власти, как однажды, отравленная «непоправимым», решилась бесповоротно умереть.

«Умереть» и «выйти замуж» — да ведь это в судьбе ее одно и то же.

И тотчас, как она решила, и там, в ее судьбах ответило своим решением бесповоротно. Ее ограждали пламенные силы, карая смертью всякого, кто приблизится, а теперь они завели свою игру беспощадно. «Мне отмщение и аз воздам!» — так прозвучал бы их голос — глас Господень. И горькие слезы зальют краткие улыбки жизни.

Люди белого самого жаркого пронзительного света, посвященные Духу, родятся на земле, как и те

с «угольком» и природа со своими дарами их не обходит, они не какие ублюдки, а люди.

Оля — последняя из матерей великомогучих Задор.

И «силы природы» — есть разрушающий Тарантул, а есть и заботливые лесавки — они в своем зеленом кругу, судьбою закрытом для Оли, слышат ее голос — этот голос им внятен — и вышли в заповедную рощу строить зеленую колыбель.

Есть на земле великая радость — она и горькая и полноцветная, ярче и тоньше всех цветов, а по теплоте несравнима ни с каким солнцем — радость матери.

И эта радость дана была Оле. Она приняла ее со всем своим пламенем. Тут-то и протянулись коктлявые руки «страшной мести»: они подкарауливают тех, кто тронул что-то недозволенное или взял да не свое: быть матерью не всем отпущено на долю — матерями родятся, а стать матерью — так не проходит.

И вот что произойдет: чтобы глубже, но и больнее врезать в сердце единственную материнскую память, Олю разлучат — смерть ее Наташи была бы легче.

Разлука! Это ведь только отходит, но как бы ни зашло далеко, мысленно всегда на глазах и живет, а вернуть не вернешь: дразнящий призрак.



Мы всегда были богаты бедностью. Как мы прожили в Одессе и в Киеве — только молодость, да говорят еще, что я родился счастливый. И никогда не расставались с Наташей. А в Киевский пожар я вынес ее на руках через огонь — безумные и дети огня не боятся.

В 1905-м году министр внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирский разрешил нам въезд в Петербург.

В Петербурге начинался толстый журнал «Вопросы Жизни», редактор Н. А. Бердяев, издатель Д. Е. Жуковский. «По протекции» Льва Исааковича Шестова и самого Николая Александровича, оба отлично понимали что плутуют, я получил место заведующего конторой.

При редакции нам две комнаты: в угловой Серафима Павловна с Наташей, а тут я ючусь, и тут обедаем и чай пьем и Наташу купаем. А на кухне в кутке Ганна, берестовецкая девочка нянька, очень скучала по малороссийскому салу, и поет над Наташей про «Гули, сиры гули, во червоных, во чоботах...» Сорок рублей жалованья в месяц, и почему мне такое число мучеников, так и осталось тайной, а прибавки я не дождусь: к новому году все вместе с журналом вылетим в трубу.

К вечеру, как зажигать лампы и служащие разойдутся из конторы, а редакционный прием кончился, я брал на руки Наташу и выхожу в зал и начинаем игру: Наташа порядочно кукует, чище часов с кукушкой, лукаво показывает язычек и ловко пальцами строит нос, а к Пасхе и говорить научу, то-то сказки скажутся!

Мы весело жили.

Я был не только заведующий конторой, а и всем редакционным хозяйством — дворецкий — домовой.

Образцовый порядок, каждая вещь на своем месте, бухгалтерия, по бумажным и типографским счетам без задержки, а гонорары выплачивались до выхода книги после верстки и редко за кем из сотрудников не числится аванс, конторские барышни блестят, как паркет и все двенадцать окон, конторские мальчики, нагуляв себе рожи, наскакивали, лупя друг друга, как жеребята, ни одной жалобы, ни косого взгляда, в комнатах тепло, полное освещение и смех.

Но существо дела — расчетливость и коммерческая сметка — мои торгово-промышленные и биржевые родственники от меня открестились бы, да и сам

хорошо понимаю, какой я хозяин! скажу наперед: и году не протянули, сорок тысяч ухнули, когда при расчете можно было двадцать ухлопать.

Часто заходил в редакцию А. А. Блок, студент в голубом. Если случится меня позовут по хозяйству, я не кликал Ганну, а Блоку передаю Наташу няньчиться. Бережно и нежно брал он ее себе на руки и она, глядя в его лунные глаза, показывала перед ним мою науку или тихо сидит, зачарованная голубым.

Забежит из «Нового Времени» В. В. Розанов и всегда ручки поцелует.

А что Сологуб, что Мережковский — звери и дети чуют, я и не навязывался с Наташей.

Д. С. Мережковский, глухой к музыке, терпеть не мог детей и с каким-то гадливым страхом сторонился.

Начитавшись всяких житий о старцах, как старцы с медведем ладили и детей не отгоняли, однажды Мережковский, побуждаемый высокими чувствами — да ведь и в Евангелии сказано! — победив в себе омерзение, посадил на колени Наташу. Наташа не брыкалась, но что-то поняла и носиком стала такое выделывать, как тужится. Тут Мережковский вдруг опомнился и возопил, именно возопил: «Зина, убери, огадит!» А случившийся В. В. Розанов, лукаво подмигнув, заметил: «Дмитрий Сергеевич свои, им самим зас...ые, штаны бережет.»

Наташу называли «редакционное дитя», но секретарь редакции Г. И. Чулков (имя то историческое, по грамотам XVI века великие сутяги!) «мистический анархист» к рукописям близко ее не подпускал, да она и не стремилась, ее занимал бря́з и лом, из которого морды смотрят. Понемногу стала она различать и говорить не по кукушечьи, а слова. И какая оказалась привязчивая, вцепится ручонками: «Папочка, не уходи!» А станешь объяснять ей и как будто все понимает, а сама опять свое: «не уходи!»

По ночам не спит, и чтобы с ней разговаривать и не слова, мои лады слов — она вслушавшись вся, всем, я видел по глазам и как складывает губами: «еще!»

«Наташа! в те ночи сколько сказок мы с тобой насказали. Ты жила тогда в сказочном мире, а я из того мира никогда не ухожу.»

Хозяин Дмитрий Евгениевич Жуковский, издатель неподъемных кирпичей Куно Фишера, философ, сам не писал, а любил в философских разговорах вставить замечание о трансцендентном, по образованию зоолог. У Дмитрия Евгениевича была страсть покупать имения: осмотрит, приценится и соображает, чтобы в следующее воскресенье или на неделе еще куда в Смоленскую катнуть и там осмотреть другое и прицениться. Исколесил всю Россию, сюжет Гоголем не предвиденный: не мертвые души, а земля и со всеми угодьи и хлебом стоячим и молоченным.

Помню, вернулся Жуковский из своей Чичиковской поездки и не заезжая домой, на Мытнинскую, прямо в редакцию. Был Бердяев. Встречаем хозяина: Бердяев с «трансцендентным», я с бухгалтерией. И видим, сияет. «Нашел, говорит, подходящее, но цена!». Никогда этого подходящего имения он не купит, а решено закрыть журнал.

Так и кончились «Вопросы Жизни» и все кончилось: наши комнаты опустели.

***

Из редакции, Саперный переулок, мы переехали на 5-ую Рождественскую; с Песков на Кавалергардскую, к Пундику в новый дом просушивать боками стены: за квартиру цена дешевле и дров жечь сколько влезет.

Серафима Павловна вернулась из Берестовца и

опять одна без Наташи: Наташу не отпустили, чтобы не скучать бабушке, да и опасно — в Петербурге скарлатина.

А было все приготовлено и кроватку я поставил и игрушки около, и сказку про «Зайку» сочинил: не будет Наташа спать ночью или будет «рыбку ловить», я ей и расскажу про Чучелу-чумичелу и про злую Буробу.

За первый месяц на нашей новой квартире не хватило и я просил Пундика подождать. Пундик согласился, а не прошла и неделя, вызывают к мировому за «неплатеж».

Единственное мое спасенье «Мышка-морщинка»: «Мышку» взял «Шиповник», будет издана с картинками М. В. Добужинского, и выдали мне из 25 рублей гонорара 15 аванс.

Я и пошел к мировому с этой мышью казной и рассказал все без утайки о новой кроватке и игрушках для Наташи и как меня выручила мышка. Мировой — человек справедливый принял от меня мышкины 15 рублей и безо всякого штрафа, и только в-напуть сказал мне, впредь чтобы платил за квартиру в срок без задержки.

И прямо от мирового пошел я опять в «Шиповник» клянчить рубль в счет гонорара. И проваландался из-за рубля целый день: понятно, только что пятнадцать дали и какой же еще рубль — этак все можно до выхода книги весь гонорар забрать! Зиновий Исаевич Гржебин выручил: этот — добрый человек.

Осень течет и хлюпает. Двор, как была стройка, еще не убран, из желоба вода хлещет к подъезду, на лестнице известка, темно и гудит ветер.

Не зажигая свет, я прямо прошел в комнату Серафимы Павловны: она сидела около кроватки и не замечала меня, я это видел по ее глазам. Я окликнул.

И она резко вздрогнув, как проснулась и крепко сжимая глаза, тихо заплакала.

Я зажег свет. И при свете она рассказала мне, как только что видела своего отца, он взял ее на руки, как детей берут осторожно и заботливо, и обнес кругом.

«Папочка, не уходи!» повторяла она.

И было в этих словах столько покинутого и такая горечь, не слезы, непроницаемая тоска застлала свет.

А Пундик нас все-таки выпер: за зиму стены высушили, ну, и проваливай! а квартиранты найдутся и подороже и не надо таскать к мировому.

А кроватка так всю зиму оставалась около кровати и игрушки и теплые платьица и штанишки, вязала Серафима Павловна, все, как только что положено, и ждет.



Надо было перевезти вещи в комнату на хранение, квартиру будем искать потом, как вернемся осенью из Берестовца с Наташей. Денег никаких и не только квартиру нанять, а и на дорогу, да и за комнату надо вперед. Я заложил золотую ризу «Трех радостей» — дали у Пяти Углов семьдесят пять рублей. То мышка, то икона — мне всегда везет.

Я хорошо помню этот день нашего переезда с Кавалергардской.

Рано утром один воз поехал: книги, и я пошел сзади с лампой. Склад на Загородном. А остальное: столы, стулья, полки, кровати и кухонную мелочь — воз пойдет с нами, как на вокзал поедем.

Я вернулся с Загородного. Серафима Павловна одета в дорогу, сидит на табуретке около кроватки. «Сейчас едем!» говорю. А она молчит. И вдруг губы у нее задрожали и крепко сжимая глаза, так сжимают только от жгучей боли, заплакала. И сквозь слезы что-то сказала, я сразу не понял, а потом догадался: ей есть хочется. А я забыл совсем, что с утра, как стали

укладываться, даже и чаю не пили. У меня хлеб с собой и ветчина завернута в дорогу. И подал ей. И прочитал в ее глазах другое: ей было страшно ехать, ее пугала встреча с Наташей — она теперь видела, что вернуть нельзя и что месяц, который мы проведем с Наташей, будет тягчайший, возможно, что Наташа и не узнает ее, а если и узнает, захочет ли ехать с нами — едва ли.

И хлеб в ее руках был мокрый от слез.

МАТЬ

Что бы ни случилось в мире — пускай рушатся горы, звонит, надрываясь, вылитый из серебра — ревет тяжелый чугун и разметывает медную взвучь — кремлевский вестовой ясак, — не слышно; и пусть муча душу, взвывает полуночница — пугало набатная сирена, — не чутко; только чутко, только слышно и через черный вопль и проклятия — и я не могу позабыть: разлученная мать — ее голос вопиет на небо. Это голос озвучен полной мерой внятно через века. Когда последний на земле человек-дикобраз — морда вепря, медвежьи лапы — бродивший при свете дня по темным подземным лабиринтам, этот гигантский крот — косматое сердце, с погасшей мечтой и заглохнувшей песней, выйдет в пятигорскую ночь подышать на звезды, звезды, наливаясь тоской, взблеснув, вдруг осияют его колыбельной:

«стану сказывать я сказки» —
и он ее вспомнит и ответит воплем
осужденного
родиться на земле с памятью человека.

⁂

Я последний и нежеланный, роковой.

Моя мать из «Некуда»: Лесков для своего романа пользовался хроникой «Богородского кружка» московских нигилистов.

Моя мать из богатой московской семьи вышла замуж не по расчету — революционерка не продается, и не по любви, другого она любила: художник семейный, имя не громкое, она вышла замуж — «на зло». Так словом «на зло» прозвучал ее ответ, но не людям — ей что мнение? она нигилистка, и не ему — —оказался так себе, нет, *туда*, в черные судьбы жизни, в тайное, по чьей прихоти содрогнулась моя душа и в моих глазах пустырь. Она взяла на свою душу неподъемную тяжесть: месть. И пять лет она держала зло на сердце.

Нас пятеро, осталось четыре: одного из братьев она сама кормила, и он помер, отравленный ее молоком. Я последний — из какой пучины злой тоски я родился! — с моим появлением больше она не выдержала — я освободил ее душу. Без повода, без объяснения она уехала и всех нас увезла с собой из отцовского дома. Отец был ей за няньку — так до смерти и осталось для него тайной: за что?

Она взяла нас с собой, чтобы начать новую жизнь. Но не радость принесли мы ей, наши восемь рук оковали ее по рукам и ногам, а глаза ее, встречая нас, пробуждали память о ее черной злой мести — каждый из нас воплощал все то зло, которое она держала на сердце пять лет.

Она затворилась от нас в своей спальне, а мы наверху над ней в детской с нянькой. По утру мы сбегали вниз в столовую чай пить, встречая, здоровались, говоря ей «вы» и целовали руку. И на ночь, после ужина, она молча, спеша, крестила каждого и каждый целовал ей руку. Мы ее и называли не по русски, без всякой детской нежности: «муттер».

К ней, в ее спальню, нас не пускали. Я подсмотрел: читает. Потом я буду ходить в библиотеку менять для нее книги. Книгами она убивала время. Бывали недели

она не выходила к нам. Когда нас уложат, на кухне ужинает прислуга, все спят, а я прислушиваюсь: я не мог понять, что говорилось о матери, но мне было чего-то беспокойно.

Оттого ли, что в судьбе матери я последний камень, но который камень свалил с ее сердца зло, или потому, что единственный вышел похожий на нее, я, один из всех братьев, встревался в ее заключенную тайную жизнь.

Походя, она учила меня немецким словам, откуда и имя «муттер». Сама она окончила немецкую Петропавловскую школу и для нее немецкий был как русский. Она хорошо рисовала — вспоминаю ее ученические альбомы, которые она мне показывала. Но главное не в этом, а в моем «бесновании», на что я всегда был готов.

Рано я наловчился писать и умел по разному — любую подпись могу подделать. Недаром, значит, память, как когда-то с Ванькой Каином ходили в заворуй.

Когда и самое верное средство погасить отчаяние не действовало — отдаленным огоньком стояло оно в глазах, дразня, и она, впадая в исступление, кликала меня, отвести душу.

Тут-то и заварится каша — затеи, которые я подхватывал со всей страстностью — игрока и мошенника.

Я садился за ее стол. Она диктовала мне адреса, а я надписывал конверты, подделывая почерк под учителей и знакомых. «Московский листок» за месяц мы разрезали на четвертушки и разложим по конвертам, одиноким поменьше, семейным, чтобы на всех хватило, а кому поважнее — с излишком, И не наклеивая марок, запечатаем конверты и я, с этой горячей ношей, побегу на Камушек опустить в почтовый ящик. То-то на утро подымется на Москве штраф, фырки и досада и пойдут бесполезные догадки, а никакому сыщику не придет на ум поискать следы на Земляном Валу в доме Найденовых.

На узеньких листках красным заглавив «о здра-

вии» и черным «о упокой», без умысла перевирая трудно выговариваемые и смешные для нас имена римских мучеников по святцам, с непременным заключением о здравии персидского Ксеркса и Артаксеркса и вавилонского Навуходоносора, а в «упокой» болярина Каина и Авеля и всех сродников их. В воскресенье поздняя обедня в Андрониеве; на заупокойной ектинье очередной иеродиакон перед царскими вратами, давясь и поперхиваясь по собачьи, будет стараться над замысловатыми именами и заключит к всеобщему соблазну, а кто не удержится фыркнет, велигласно Каином и Авелем и всех сродников их.

После такого вселенского расплева и насола, наступало временное успокоение. Но мне не терпелось чего-нибудь еще поделать чудного — я так понимал это. И заглядывая в глаза матери, я напрашивался, напоминая.

И видел, что она ничего не помнит и ждет нетерпеливо, «когда я провалюсь».

«Когда ж ты провалишься!» с сердцем говорила она или чувствовала, куда и на что я, как бес, подталкивал ее.

Когда я перешел от чистописания к книгам, редко, а удавалось заговаривать с ней о книгах. Не легко это было: очень подозрительная — ни во что не веря и не доверяя никому, она, как я о себе в шутку: «я всегда провожаю гостя до дверей не из почтения, а Бог его знает, стянет еще чего!» Я узнал он нее и о Лескове и о первых нигилистах.

«На зло» — это не мое, но отчаяние... я получил этот дар от матери.

«Надо как-нибудь прожить!» слышу свой голос, захлебываясь, выговаривается: я знаю ее тайну.

Мне ее было до боли жалко, и досадно — за ее, за нашу общую судьбу.



О матери я прочитал у Достоевского в «Подрост-

ке» и у Толстого «Анну Каренину». И у Достоевского и у Толстого очень похоже. Я себе ясно представил «Мать». Но почувствовал всю силу этого слова через Олю, когда Оля, переступив за заповеданное ей, превратилась в Серафиму Павловну. И по ее разлуке с Наташей и по ее чувству ко мне и моему к ней. Я как бы снова прошел свои первые годы под ее материнским глазом.

Она меня учила моей любимой русской словесной грамоте: слова, корни слов, история языка. Она была моим учителем — сорок лет, — и цензором в литературе и в жизни. Сколько бы я наделал глупостей — к своему часто бываешь и слеп и глух — ни в чем не зная ни меры, ни удержу, и при моем безграничном доверии к человеку, и воображению — видеть не то, что есть, а то, что тебе хочется и всегда нарядное, увенчанное, в «розовом свете». Она предостерегала меня и как мать, выговаривала.

У меня такое чувство, что всю мою жизнь я делаю не то, что нужно, и говорю не так, как следует: она хотела, хоть десять шкур содрать, а сделать из меня человека. И огорчалась: она видела, чувствовала и понимала, что быть уверенной нельзя, я непременно в чем-нибудь да прошибусь... Но ведь так думают все матери.

Всякое Рождество у нас зажигалась елка — о Рождественской елке я знал только по «Щелкунчику», да заглядывая в освещенные окна на Маросейке в Москве.

Она, показала мне синее-море Океан и белую звезду под 'звездами Эльбрус.

Я кочевник или по неволе или в снах, попадая в сферическое пространство Лобачевского, а в простом Эвклидовом мире я сидень и один так всю жизнь и просидел бы в своей комнате за книгой. Все, что удалось мне в жизни увидеть, а не вычитать, все по ее воле и выбору.

А мои сказки — мои неправдашные рассказы, она

слушала с улыбкой и никогда не пробуждала окликом трезвого и черствого сердца: «неправда.»

Она показала мне веру человека: по ней я узнал, какой это дар веровать — силу и чудо веры. Она показала весь свет и цвет своей души.

Она все для меня делала: берегла во мне мое. Не слепая любовь, когда любя не думают о человеке как ему лучше, а только о себе, как будет мне приятней — не злая воля, по слепой любви и Наташу с ней разлучили. Ее любовь зоркая. И всю жизнь я служил ей, как матери.

Моя жизнь шла кувырком, но я свой за зеленой оградой, а она только через меня сюда, и вся жизнь ее была пронизана горечью жить у чужих.

И когда со слезами просила она отпустить ее — вся душа ее изнывала, так из неволи рвется человек, а она из-за зеленой ограды, я давно все понимал, да не вернешь! И куда отпустить — на погибель? И сама она понимала: «ну и погибну».

Мне ее было до боли жалко, и, не прячась за судьбу, я во всем виню себя: слепой, не узнал.

ВСТРЕЧИ

Встречи, заколдованные места, вещие дни и сны, роковой час, полдень и лунные ночи, кому выпало на долю испытать на себе их силу и чары, в памяти не канет.



Мы жили на Оландских островах: остров Вандрок — северная хмурая пустыня: скалы и море.

Обойдя остров, спустились мы со скалы и вышли на берег моря. День был прозрачный — ранняя осень.

На сыром песке, задрав лапы, серый тюленыш, а около, на камне, птичка: она что-то печальное перего-

варивала, причитая. И мы стояли, втянутые в круг их тайны.

И мне почуялось, что птичка мое сердце, я смотрю с камня и мне видно: там у леса на жарине брусника. И чувствую, как мое сердце влетело в ее сердце — в тот миг и она смотрит с камня и видела: там у леса на жарине брусника.

Если бы слово, в один бы голос сказалось, когда это было. Но и без слова в нашем одном сердце прозвучало птичкой о отдаленной в веках встрече у моря.



Мы проходили по старой Аппиевой дороге — римским придорожным кладбищем забытых.

День был горячий, но не жгло. Чуть продымленная завеса и с края до края небесная синь сияла песней.

По старым могилам от камня до камня, шаг за шагом — в вечность.

И вдруг остановились — остановил камень: наша дорога кончилась...

Время стерло историю и только имя: Sergius — русское имя Сергий. Кто был этот Сергий, что было в судьбе этого римлянина, что соединяло нас с ним и нас друг с другом?

Чувство было одно — смутное, как эта завеса над звучавшей синью — память о Риме, о встрече на старой Аппиевой дороге.



Дорога из Кэмпера в Карнак Броселианским лесом. В чаще леса, под дубом, непробудно спит зачарован Мерлин, тут и его меч, там и легенды о Круглом столе, о рыцарях, о Граале, святой чаше.

Все я вспомнил и в моих глазах оно было не как вчера, отдельно, а со мной сейчас.

В Карнаке застигла гроза.

Стуча громом, сыпал дождь: вода в три ручья, залило, в тумане путь. Только к ночи в темную мы устроились.

Среди ночи я поднялся и к лунному окну.

Луна ныряла в море ветра: она показывалась всем своим лицом и погружалась с головой, прорывая блеском черные вороха облаков.

«Крест на могиле зашатался и тихо вышел из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самых пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне, душно!» простонал он диким, не человеческим голосом: голос его, будто нож, царапал сердце.»

Я отшатнулся. И на мой шорох она проснулась.

— Страшно! говорила она, — мне приснилось, как у Гоголя — Страшная месть.

— Но тут не Днепр, не мертвое поле, а берег океана, живые камни!

И я, очнувшись, погасил в себе лунную память.



Утром мы вышли на каменное поле.

Поле залито солнцем и камни, бесформенных форм, сияли. Под ногами лиловый шуршал вереск — цвет старой земли: ей снится поле — перевернутый геометрический каменный сон.

Пройдя солнечным коридором, мы стояли под куполом Кромлеха. И лучи пронзая, осветили нас.

А в сердце пробудилась одна единая память. И открыв дорогу, повела глубже в века над пропастями — в Египет.

Как давно мы знали друг друга!

Наши глаза, наши руки, наше сердце спаяны, — перевивались лучами.

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ И ВСЕХ МЕРТВЫХ

Черным обита наша входная дверь — подъезд, 7, улица Буало — серебряный карниз и по черному серебряный герб: «голова львова, сера космата с огненной пастью в поле блакитном».

Редкий день такое не увижу раскрывая по утру ставни моего окна, а это значит, еще одна жизнь человека окончилась на земле.

И все мы, переминаясь, ждем чтобы, осторожно раздвинув тяжелые суконные занавески, войти в дом смерти.

Весь наш Отей от Эглиз д'Отей до Суханова — все знакомые, наш обязательный утренний выход на добычу, — вшивое отрепье — люди сороковых годов (1940 — 1943).

«Пузырь» и ее мать с тугими руками, плотнее кнопок, нагружены тетрадями, блокнотами, конвертами и разноцветной промокательной бумагой. Кремовый Сервант, Мадам и ее сестра — кассирша и обе шоколадные тянучки — заварная в прошлом году померла — с блестящими конфетными коробками, печеньем и развесным кофеем, мера нашей нищеты. Бюралист Андриё, глухой без пиджака, весь обсыпанный и нюхательным и «серым», и его суровая жена — белые камни на шее под янтари, и их дочь — читает книжки, и гарсон Луи, сияющий кофейник. Черноусая «оса» (гэп) в белом пружинном халате — молочница Жирар с бельевой корзиной — картонные «су» для безответственной сдачи без задержки, и дурак, Гэпов муж, особенно дурак, когда в шляпе. Рыбаки, неунывающие братья — коли рыбы нет, пучок морской травы положат: они с травой без рыбы. «Тоненькая Шейка» и ее Жак с лицом Шейки, но еще без лисьего нюха, засыпан подозрительной мукой, а она в чешуе бывших круасанов. Итальянец — человек рогатка, печальный цирковой змееглотатель и итальянка — черненькая

бородавка и их «русская» Елен с пустыми руками, нет товару, а припрятано — не считается. Мадам Бельгёль, мясничиха, не сразу скажешь, где «нуа де во» (телятина) и где сама, и с ней ее помощники: Андрэ, длинный с детской головой, уписывает говядину сырьем, и старый Ахилла — зачервивел от перееденного мяса — весит куски не на весах, а на ладони. Семейство Мартире — масло, сыр, яблоки, кочаны и две пугавки: та, что муху проглотила, и та — яйцо, такой она скорлупчатой белизны. Наш сапожник, впрочем, все сапожники на одно лицо или вернее колодку. Прачка — глаза, в которых кануло мое белье. И та, старая Незабудка, натянутый на юбку горб, а приползла прямо с лавочки с припека от кинематографа. И все четыре парикмахерши: гречанка Жанина, луковая Одет, конеобразная Симон и корсиканка Жаннет. А вот ковыляет и черный жуковый Вэнсен — покойник, Хопля, увешен счетами, счета, как свитки у грешников, ведомых копытчиком на истязание — картошка, сырки, яблоки.

«Люди мрут как мухи!» говорит ненасытный «клиент» из русского ресторана и с присвистом здоровается с Хоплею, как с собакой.

И не Хопля, а Иван Павлыч Кобеко, дергаясь, вытащил из проломного кармана свою проутившуюся зажигалку и, закурив полынную смесь, заметил:

«Сыроватый».

«Еще бы, подумал я, не май, шесть месяцев прошло со смерти». И понял, почему Одет такая луково-зеленая, а Иван Павлыч поношенная желтая перчатка в драповом пальто, и дышит.

Да это вовсе не улица Буало, посмотрите, откуда такой желтый туман?

Где-то на втором дворе не то Гороховая, не то Фонтанка у Обухова моста — места памятные по Достоевскому, а мне особенно по «Крестовым сестрам».

Вдоль панели белый, пальцем страшно тронуть, такой чистоты белый снег. А в засырелом каменном углу сквозь белое резкая зеленая струя и выброшенная из

окошка, ветка. Туман срезал верхние этажи и из черного фонарь с болью вскипает, наливаясь апельсином.

Она шла издалека, торопилась поспеть итти вместе со мною. Она издалека видит меня прижавшегося к сырой стене и прямо и уверенно идет. И когда она подошла совсем близко и мы очутились глаза-в-глаза, я узнал в ее губах свое и серые, такие гляданные ночь и день, ее, единственные для меня, глаза.

«Ты маме положил от меня цветы».

И я почувствовал, как, услыша свое имя в моем голосе, — «Наташа!» — она вздрогнула. И, кутаясь в звучавшее облако, стала подыматься над землей.

ЗАЛОМ

ВЫВЕРТЕНЬ

3 июня 1940 г. — в памятный день для Парижа и роковой для Франции, Мамченко вышел в полдень из своей Медонской землянки в садик, нарядный, как там, в Запорогах, в Никополе, в свой цветник с приблудными и подобранными ранеными зверями, зверьками и пичужками. Много у него зверья перебывало, накормники, а самый главный среди всех птиц, был заяц: усатый, и только что молчком, а все понимал и как слушает внимательно, суча волосатыми ушами, когда Мамченко сам с собой стихи читает, — и ласковый, что-то лопотал, мордочка ежиком. «Не всякое поймет, все-таки звери». И всякий раз я повторяю за Мамченкой: «звери!» — «звери родятся на безмятежную радость», а вот зайца и обидели, а шел Мамченко по лесу, шишки собирал и видит, лежит под кустиком усатый вверх-брюшкой, плачет. Вспомнил ли Мамченко Зосимино слово: «не мучьте, не отнимайте у них радость, они безгрешны» или просто жалко, и подобрал его. И с тех пор живет у него заяц, в его землянке, как самый верный человек.

День был блестящий, июнь. И такая полдневная тишина, кажется сама земля приникла и все остановилось, и один только Бес-полуденный, давясь «осанной», один, каменный, томился над Нотр-Дам, — над всем Парижем. И слышит Мамченко, как побежала б волна, — волна за волной, — шелестящий, подгрудный стук. Сбросил он зайца на землю и к небу, посмотрел, и заяц уперся на задние лапы, перекинулся, и сел на корточки, уши на стороже, — и видит, птицы, не простые, серебряные птицы, они тянулись по воздушным блестящим путям, спеша: и одна стая отделилась на север, а другая на юг, а третья направила на восток. С восторгом, не отрываясь, смотрел Мамченко на этот серебряный полет, провожая глазами диковенных птиц.

И та стая, которая спешила на восток, летела в огненном блеске к нам, на Ситроен, — но, не долетев до Ситроена, чугунно дыхнула — и это был не вздох, не песня, а бомбы. Первые бомбы брошены были на нас, на нашу тихую, славную поэтическим именем rue Boileau, "L'Art poétique".

И вдруг, переменившись из серебряных в черные, черными птицами полетели они, подымая стеклянную метель в голубе дня.

Две бомбы ухнули в соседний № 9, стеной к стене с нашим, и одну садануло в покинутую клинику, теперь госпиталь, в здание, где ютились монашки — как раз против наших окон. Слепые, остервенелые осколки, изрешетив стену монашек, вскочили в парикмахерскую Жанины — и мигом зеркала в-бряс, и под брезгливый стон стекла они метнулись в сторону вверх и, надрываясь свистом, врезались, визжа, в выступ стены у окна, где нас застигла сирена.

Отбиваясь от осколков, мы в коридор, а в коридор уж сыпались стекла из другой противоположной комнаты. А выйти на лестницу невозможно: дверь на ключ, а ключа нет, отбросило вихрем. Ну, некуда. Некуда было деваться, и вдруг, как в мышеловке,

сузилось пространство, и много пронеслось — но грохотом глушило мысль и секло все слова и было одно чувство, взрыв чувств — ужас: этот крутящийся, взывающий вихрь и это белое, кипящее пламя сквозь кровь.

С очков капала кровь, я нащупал на полу ключ и отпер дверь — а там с воем крутила стеклянная круть, и звеня, синий «катедраль» засыпал осколками лестницу, по ступеням на волю. А соседняя дверь, где жили собаки, а теперь пустая, настежь — и там бушует. «Затворить эту дверь», толкнула меня странная мысль и обеими руками я схватился за скобку — и кровь ослепила меня.

Окровавленный, липкими пальцами вытаскиваю из головы и с лица осколки, и странно, ничего не больно, а Серафима Павловна за руку тащила меня сесть. И вдруг у нее подкосились ноги, точно кто ударил ее, и она опустилась на ящик с газетами, а я ощупью пошел в ванную под кран промыть глаза. И тут я понял, что меня ударило в левый висок и в бровь.

А когда я вернулся, она сидела на ящике и кровь капала со щеки. Буря утихла и только взрывы, — по соседству горели автомобили, — да сигналы пожарных. Все кончилось.

Блестящий был час, и все блестело от стеклышек. Серафима Павловна с трудом поднялась. И с этого часа начинается страда.

«Кукушкину» комнату нельзя было узнать: разбросано, перевернуто и везде осколки, и на столе, — все рукописи и книги на полу — блестит стекло, и один только Feuermännchen: он сидел на столе, на своем месте, не пошевельнулся, но какой убитый, какая грусть в его заботливых глазах, и черный колпачок спустился на нос: в дом вошла беда.

Ее обуял страх, места не находила укрыться, пустые окна ужасали ее. Спала она — если можно

сказать это слово «спала» — не в комнате, а в коридоре. А я на полу в уголку. Ночи были ужасны.

Не забыть мне этой ночи... последней, в последний день — Париж.

Париж — «это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса... великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невиданных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы». С каждым днем Париж изменялся, не кричали его шумные улицы, а окна в жалюзиях, оловянные глаза домов, наводили мрачную скуку, и бешеные бабы, бесясь, выбесивали свои дикие вести из «собственного глаза» и достоверно: страх на страхе. Гоголь не поверил бы, увидев когда-то блестящий, блистающий Париж — **пусто место!**

Какая сила гнала эти тысячи нагруженных вещами и людьми автомобилей, этих пешеходов с вытаращенными глазами, эти допотопные повозки со скарбом и детьми?

Я никогда не думал, что можно так безнадежно терять голову. Или, действительно, страх осетил душу и безголовым подхлестывал ноги? Гаражистам никогда не подсчитать слипшихся бумажек — недосчитанные, уходили в их руки из трясущихся рук: только-б поскорее! Не могу поверить, что потому, что велено было — нашелся дурак, поверил! Были, конечно, послушные — всегда будут послушные, — им рассказали из детских вечеров старинные сказки о войне, все, что изображено на старых гравюрах, зверства сарацин и турок — и они бегут, чудаки, вон уж там, по дорогам, бросают бомбы и без всякого насилия — зверства теперь другого рода, — и даже не метясь... И куда девалось чутье деловых людей и счетчик, — глаз купца? Бежать! И одна только грозная воля: беги! И ноги — единственное, что что-то еще значит, ноги, — преимущество давно исчезнув-

ших скороходов и состязающихся для забавы бегунов — стали первым, а все от головы — так. Уж подгибаются, и горят мозоли, и больно в пояснице, — все равно, бегут.

Или это было нечеловеческое? Грозная неумолимая судьба повелевала волей: очистить от живого, опустошить этот застроенный на Сене кусок земли, очаровательный, великолепный, единственный из городов, неповторимый Париж, — **пусто место!**

Не забуду я ночи, когда из гаража умчались последние автомобили. Наши окна без стекол, настежь, мы живем, как в чистом поле, всякий звук внятен и все видно. День был непохожий, ярко светило солнце и вдруг, я думал туча, но ни о какой грозе не было слышно, это дым стеной поднимался вокруг Парижа; потом, говорили, видно было, как с разных сторон выбивался огонь: что-то жгли; а за дымом невидно пришли настоящие тучи и пошел мелкий черный дождь. На какой-то краткий срок прекратилось электричество. А когда восстановили, пришло в голову запасаться водой, и хватали спички, где можно, спички исчезли. И черная ночь заволокла Париж.

И что это было — какая бурная без бури и летящая без аэропланов ночь. Все небо наполнилось странною жизнью: выло, с болью больно рвалось, и, щемя и глушась, высвистывало сквозь гул: «отпустите! остановитесь!». Они собирались к Монмартру и от Сакрэ-кёр летели к заставам. Какое «святое сердце» напутствовало их? Они летели к заставам, а с застав разлетались по знакомым уголкам Парижа и кружились над домами, где сгорела их жизнь, и еще теплился трепет, чтобы лечь в домовину на «вечный покой», и своей беспокойной волей побуждать, открытые к трепету, души и бередить остывших. Я чувствовал, и только не мог еще назвать имена — «дорогие могилы», было все вместе, знакомое с детства и, как свое, там, с Белого моря до Черного, с Волги до белых гор Кавказа и там — по дремучей Сибири. Гул

заглушал мой слух. Как я тужил, что нет никого сейчас, кого бы спросить, и беззвучно под гул я звал: Paulhan, Parain, Reneville, Drieu, Arland, Chuzeville; Pascal — André Gide, Supervielle — Breton, Eluard, René Char, Lely — вам тут, не мне, каждый камушек чуток!

Всю ночь мы не спали. Не спали и наши соседи в опустелом гараже напротив: стеклянная крыша гаража вся была выбита, как наши окна. Говорил чей-то голос, по-русски говорил, чувствовалось, ему было страшно. И чтобы страх разогнать, рассказывал страшные случаи из своей жизни и из жизни знакомых или что слышал. Самые страшные страхи рассказывают у Гоголя в Вии, как итти Хоме Бруту в церковь читать над панночкой. Это верно: молчание ужасно. А когда он окончил последний памятный ему случай, что-то похожее на легенду о Лилит-панночке, превращающуюся в собаку, и о заезженном панночкой псаре — рассказ Дороша, он перешел к воспоминаниям о праздниках, о Вербном — как у них под Вербное, как на Николу, дарили детям: с вечера положат, а на утро — какая была радость. И слышу о земле, весна пришла, и лето — полевые цветы, колокольчики, и зеленые волны колосистой ржи.

А они все летали, и одни летели к Порт д-Отей, другие к Порт д-Орлеан, и было щемящее до боли в их свисте и завывании.

И я стал различать ритм: это Villon, это Racine, это Rimbaud, это Villiers, это Hugo, это Baudelaire, я все прислушивался, это Mallarmé, и вот слова перешли в музыку — это были «Страсти св. Севастьяна» и я повторяю за Debussy, мое сердце, вдруг освобожденное, звучит, а это — и оно как врезалось трехсаженно и все покрыло — и я узнал Rabelais. И с трепетом я узнавал все новые и знакомые имена.

Высоко над Конкорд на фонаре, раскачиваясь, висел он: его голова уходила к звездам, а руки, через

Триумфальную арку и Лувр обнимали заставы; под его ногами площадь лежала в пусте, Сфинкс был его стражем. И вдруг сорвался, какая поднялась круть, темный полуночный ветер, таившийся на крови, на камнях Конкорд, взвихрившись, звенел, и сквозь круть, кровь и звон я различил ритм: Nerval'я. И в зеленом зазмеившемся кольце взблеска — Вестрис, Дюпор, Альбер, Поль и Перро: они взлетали к звездам и звездною метелицей развивались на землю. И снова все затаилось: «куда еще лететь, кого остановить?» и только стукало подошвами, и под зловещий стук, так с лопат стучит земля в могилу, я услышал, — я узнал этот голос, он пел один над пустынным покинутым Парижем: Мусоргский: Шаляпин:

— «Душа моя скорбит» —

В ночь с 13-го на 14-ое, в час, под пушку немцы вошли в Париж. «Париж в руках наших!» — так однажды, в 1814-м, говорилось по-русски, а в 1940-м — по-немецки. Но никакая рука не вынет душу... Вольтер — Стендаль — Рембо — Бодлэр — Шекспир, Данте, Гете, Толстой, Достоевский. Да, все мы ходим под Богом, а человеку мудровать над человеком — позволено все.

В БЕСПАСТУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Большое разочарование. Бешеные бабы даже обиделись: беременным не взрезали живот и хоть кто бы нибудь рассказал о изнасиловании! И отводили душу — и тут была правда: «дороги к Парижу завалены трупами». Без дела шатались люди, еще не уверенные: прятаться или смелеть? И вовсе никакая «пятая колонна», как тогда говорилось, а все это были из щелей, дешовое, которым некуда было бежать и незачем. Почему-то предупреждали, чтобы русским не очень-то соваться и высовываться, лучше сидеть себе по домам. Большое было оживление у блядей.

Последняя отставная, перекрестилась: всем найдется работа. И вспоминая Блюма, — единственное, что от прежнего осталось: свобода в понедельник! — она передернула плечами, как когда-то в свой расцвет, и засеменила на Шан-з-Елизэ, где без толку мчались грузовики с солдатами, а над Триумфальной аркой, над «неизвестным солдатом», низко кружили, гремя, как каркая, тучные аэропланы. Какое ослепительное зрелище. И стоило ли из-за этого ломиться в Париж!

С перемирием («армистис») солдаты разбрелись по казармам, стали и беглецы по домам возвращаться, вышли газеты, открыли магазины, укоротили день, чтобы оглядеться в чужом городе и обжиться, потом понемногу прибавят, и наступили будни.

И я пропал в очередях.

Поиски еды, стояние в очередях — сначала у немецких казарм, потом к Матэо ходил, для «беспризорных», а кончил русским рестораном на нашей улице: давали суп на вынос.

Стояние за молоком в несметном хвосте у «диспансера» — пример образцовой распорядительности: сообразительные монашки завели такой порядок, чтобы сначала за билетиком на очередь, затем новая очередь за молоком и третья очередь платить за молоко. А когда ввели карточки, стоял в сливочной — хвостили за всем одновременно: и за маслом и за сыром и за вермишелью, — хвост начинался от Николя. Стояние в мэрии за ордером или, как тут говорят, за «бонами»: со временем утряслось, стояли легче — в школах, где выдают теперь продовольственные карточки.

Два основных стекла вставили в августе «главные водопроводчики», как почтительно называла их одна из наших безумных — «Блаженная», она же и «Кошатница», а остальные стекла только в ноябре. Для затулы от ветра я сделал тридцать витражей на картоне — площадь выбитого стекла. Снаружи часовня, а в комнатах, как пошли дожди, к вечеру ледник. Зяб-

нуть стали загодя. И наступила зима, из зим за двадцать лет в Париже, никто такой зимы не запомнит. Наш дом без каминов, центральное отопление не действовало, жгли духовку, хоть в кухне в тепле отсидеться, но вышли ограничения и духовку запретили. И только к январю могла осуществиться установка электрической печки — радиатор.

Рваные ботинки, продранные чулки, сырость, везде течет и лопнули трубы — подтирай пол, а за водой — в соседний, а дают неохотно. Но в России «стены» — помогали, а тут чужой. В России у меня был вызов — все принять: судьба ли меня согнет или я ее измором возьму. А тут была одна оборона, и единственное всем повторял я: «не обращайте внимания».

Я никогда не чувствовал себя тем запуганным: им отвод для растерянной души — каркать, они воображают себе всякие грядущие беды и с поджатым хвостом пугают и себя и других: «плохо, говорите, еще хуже будет!» — вот их припев. Мне всегда казалось, что если чего-нибудь и не будет, ну чаю, кофею, — и разве в этом все? Я соглашался и на «армуаз» (полынь), без табаку, всегда где-то уверенный, что все будет, и всем повторял свое неизменное «не обращайте внимания».

Вспоминался мне, — в Житии протопопа Аввакума читал, — юродивый Федор; обвык он босиком ходить, трудно было, а победил, и так притерпелся, что и никакой огонь не берет: «в Чудове в хлебне после хлебов в жаркую печь влез, и голым гузном сел на поду и, крошки в печи подбираючи, ест». Чернецы ужаснулися, а ему ничего. Тоже и старец Епифаний, — это когда на Париж напали блохи, и в хороших домах от блох житья не стало, и только и разговору было, что о блохе, — старец Епифаний на муравьиную кочку садился, усядется поудобнее, норовя голым гузном в самую едучую кишь, спервоначала — очень, а притерпелся и ничего. А муравьи не блохи — жало-

игла, и блошиные кусатые ноги перед муравьиными клещами — тряпка. Жаловался Пьер Паскаль: очень допекают, и от холода коченеет рука, перо скачет, а я ему о Федоре и Епифании напомнил: Паскаль в нашем «огненном» веке свой. А другим я повторял одно и кратко, как на блоху, так и на холод: «не обращайте внимания».

И еще о эту пору с какою-то жгучестью я вспоминал карлика, давняя память, карлу Ивашку. В моровое поветрие в 1654 в Москве царь Алексей Михайлович с царицей покинули Кремль и с Москвы съехали, пока не уляжется, а во дворце в Потешной Палате остался истопник и карлик — карлику поручили от царицы из хором «четырех попугаев, а пятого старого»; на истопника выписали корм с Хлебенного и Кормового дворца, то же и птицам, а карлика забыли. И всю зиму — 20 недель — жил карла Ивашка без корму, и за птицами наблюдал. Миндаль и калачи купит птицам сторож Дементий, и всякий день карлик накормит птиц и клетки почистит, и, если остался жив, спасибо истопничему: Александр Борков кое-что даст от себя, а то без корму очень затруднительно: птицы, хоть и не скажут, а таскать у птичек тоже нехорошо. Близко к Кремлю никто не подходил: с каждым днем наметало сугробы и белая стена белее стен Китая подымалась вокруг дворца. Карлик зябкий, кутался в выброшенные «подержанные» царские набрюшники и подгузники, и это червчатое на его лазурном кафтане, красило его птицей. Карлик накормит птиц и присядет к окну, — только белый снег — посидит-посидит и опять к птицам: разговаривал с птицами, сказки им сказывал. А в окно только белый снег. Карлик поднялся, стиснул свои кулаченки: «забыли!»— и тоненько завыл собаченкой. А истопник Борков думал, что птицы запели... «всякие бывают птицы, а царь и царица птиц не гонят, да скоро и весна»! — и, пригревшись у печки, вспомнил, как царь намедни очки надел — такие стекла на глаза и сквозь стекла книгу

читал и тихо смеялся, — «медвежья комедия или про охоту!» И, сладко зевнув, Борков перекрестил рот: «поужинаю, да и на боковую». Бедный карлик, мне никак невозможно, мои рваные ботинки потонут в сугробе, а я бы непременно поднялся к тебе, я очень люблю слушать сказки... я, карлик, как ты, сижу один у окна, только не белый снег, а беспросветная ночь.

Пещерная жизнь — черные дни.

Я не запираю наружных дверей: дверь всегда приоткрыта. Но тут я хорошо помню: захлопнул. И слышу кто-то вошел. Я поднялся, хотел заглянуть в кухню, а дверь не отворяется, так забухла с вечера, такая сырость. И много я старался: какая-то сила держала ее. А когда все-таки справился и вошел в кухню, за мной следом вошел карлик: но это был не карла Ивашка-лазоревый в красных сапожках, это был тощий, в чем душа, и на его толкачике голове острая черная аракчина, как колпачек на моем Feuermännchen'е и весь в черном, блестящий, как высеребряный. И лицо — он так смотрел на меня зорко — блестело: глаза и острый нос и дергающиеся уши. Он мне подал кувшинчик, полный зеленоватым. «Неужто молоко?», спросил я карлика. «Лунное, сказал он, а это жар-птица», — и он протянул ко мне книгу в золотой парче. «А это что на тебе?» — «Черный шарф, — сказал я, — называется «Марья Александровна», очень теплый». Карлик засмеялся, что так зовется по-человечески, и что теплый, и своими детскими рученками снял с меня этот теплый человеческий шарф, и я почувствовал, как меня встряснуло: холод побежал по мне. А он взмахнул шарфом и я, как ухнул в пучину, и поднялся через кипящую чернь вверх — думал, что уж Бог знает куда попал. А там все обыкновенно: холодно, улица, и у лавок бесконечные хвосты. «Гретхен» — Софья Семеновна, наша соседка, когда-то в допотопные времена пела Маргариту в Большом Театре, она, что-то уж получила, в обеих руках тащит. «Как вас Бог носит? говорит она, а сама на эту свою ношу, должно быть

творог (такая редкость!) косится. А я ей отвечаю: «Бог не выдаст, свинья не съест». А сам думаю: съеден на девять десятых, я не забытый Богом, все-таки, на ногах, но почти забытый: как я мечтал, вот напишу что-то, а и на мечту не остается, и не только писать, а и на чтенье не остается часа. «Душу мою освободите!» И как бы в ответ мне она раскрыла свой горшочек и я увидал и совсем это не творог, а мой черный теплый шарф «Марья Александровна».

Да, когда-то я во сне видел рыб и их явление было живое — серебряные в прозрачной воде, а вот както приснились сардинки в масле и без косточек: значение не предусмотрено ни в каком соннике и ничего неизвестно Мартыну Задеке.

Или — а это тоже новейшего изобретения: две золотые раки: мощи не то митрополита, не то какого-то князя — мощи «под спудом». А как вскрыли, оказалось — через золотые кованные стенки вижу светящийся рубиновый цвет: ветчина. И все стали в хвост, двигаются за кусочком: великолепная ветчина! И я устремился за своей долей без тикеток. Думаю, как удивлю Серафиму Павловну, ведь, забыли и вкус ветчинный. Но я шел последний, — я со слепу стоял не там, где нужно, — все расхватают, и мне не достанется. «Душу мою освободите»! И с горьким чувством проснулся.

Мои ботинки текут, сапожник не принял: никуда. И вот мне срезали подошвы, я взял в руку и замечаю, с краев они розоватые, а вгляделся: да это сливочное масло.

И даже в литературу вплетется наша жизнь, где ничего не осталось, только корм.

Я его встретил под живой зеленой аркой, такие помню в Фриденау, но еще выше, гуще и живее. И кто-то тонкий, высокий — его спутник — промелькнул в зелени арки, он, видимо, идет впереди, отыскивает... (как потом выяснится: корм).

Я шел с ним по берегу Яузы от Андроньева к Земляному валу. На нем был зеленый мундир с желтым воротником и фуражка с желтым околышем. Мы идем плечо-к-плечу, я заглядываю ему в глаза, хочу напомнить о себе, но в его глазах «кремнистый путь блестит». Так прошли мы бани, Полуярославский мост. И я тужил, что нет у меня слов, — и все стихи его я вдруг забыл. Тут появился его спутник, на нем была та же форма, но солдатская, и был он куда выше и очень стройный, что-то знакомое показалось в нем — я видел его совсем близко. Но он обогнал нас и, крикнув, «Жорж», пропал. И на его окрик из бурьяна поднялся и все выше, высоко над репьями повар Рыбенцов. (Рыбенцов студентом в Москве написал исследование о Лермонтове, а в Париже повар «Жорж» в русском ресторане на нашей улице). Скрестив руки, приветливо глядел он на нас, и на его благообразном лице сияли стихи: «Михаил Юрьевич!», сказал он и окликнул: «Александр Александрович!» И я догадался, что спутник Лермонтова Бестужев-Марлинский. И вдруг в глазах «кремнистый путь» Лермонтова потеплел. И я понял, что и Лермонтов и Бестужев шли к «Жоржу» обедать и что Жорж подложит им в суп «косточку», как мне подкладывает всякий раз. И теперь, не чужой, я шел с ними. И они о чем-то оживленно говорили... но только различаю ясно: «косточка — кость — кастрюля...».

И все мне кажется живые эти речи
В года минувшие слыхал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

Первое время я все радовался: часы остановились, услышу, где-то бьют, и обрадуюсь; или кто-нибудь принесет папиросу или даст несколько кусков сахару или получу у Тоненькой-шейки хлеб по тикеткам или добьюсь получить у рыбаков рыбу без номера — и на все обрадуюсь. Что это за акафист такой: «радуйся!

радуйся!» или это так разменялась радость и скоро за право дышать станет радостно.

Когда-то я изучал философию, перевел с помощью Бердяева книгу Леклэра, К монистической гносеологии, и одолел речь философов, но сколько ни пытался философствовать, ничего не вышло: какая-то паутина с застрялыми мухами, так путался я в словах. И осталось только мое пристрастие к «философствованию»: люблю слушать, как Иван Александрович Ильин, самый блестящий из московских учеников Гегеля, разговаривает.

Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл. Из семи мудрецов меня особенно поразил Фалес своей бездонной памятью, он помнил Океан — живой: водный и воздушный, верно и о рыбке той помнил, самой первой, о которой я услышал на первой лекции по анатомии: по ее строению все мы, люди, звери, рыбы и птицы. И, конечно, оставил память Пифагор числами и своей судьбой — о жизни древних вообще никто ничего не знает, все пропало, а говорю по Сенковскому; барон Брамбеус и не то еще знает: как мечтал и просился Пифагор воплотиться в собаку — высшее и верное воплощение, а определено ему было жевать траву и он воплотился в корову. А по моему званию? — мне полагается где-нибудь приткнуться около Плотина. Когда-то Шестов напечатал статью о Плотине, находчивый редактор в последней корректуре заметил и исправил шестовское «и» на «о», и вовсе не для безобразия Плотина превратил в Платона. А «для безобразия» был грех, но только со мной: И. А. Давыдов написал рецензию на книгу Рожкова, Рожков известный петербургский «экономист», Серафима Павловна служила корректором в «Вопросах Жизни», принесли корректуру и я заметил, что вместо Рожков набрано «Розиков», и, не показывая Серафиме Павловне, исправив на свой страх опечатки, но не трогая «Розикова», отослал в типографию, да так и вышла книга с «Розиковым». Хохоту было, но и оби-

да: этой рецензии Рожков ждал, а Давыдов старался, и ведь все в похвальных выражениях: «Розиков — Розиков — Розиков». Я тогда совсем забыл, что ведь все падет на корректора, ну мне за это и отплатилось и через много лет, тут уж в Париже: самый лучший отзыв о «Крестовых Сестрах» появился в женевской газете, но вместо Ремизова напечатали жирным шрифтом: **«Ремозоль»** и в заглавии и в тексте и вовсе не «для безобразия» «Ремозоль». И вспомнив, я подумал, от беды не увернешься, и неизвестно еще, отчего все так бывает и **за что.** Так и я расфилософствовался. А было над чем: разорение и беспелюха; а в нашей жизни: пропад.

Я верую в пепел. И когда курю, сыплю на пол, не в пепельницу, и на рукопись, и куда попало, серый пепел. А исповедую огонь. Только в «огневице» и мысль родится и воображение. И весь мир «в жару» цветет. А из пепла первой же воскресной весной восстанет жизнь, верю и пропада не боюсь, подойдет оно и подымет. Кто оно? Пламя — желанное сердце. А люблю я осеннюю дорогу, палые листья, вой ветра, круть ветра, — это дыхание жизни, смерчом задушит, а других оживляет. В вое ветра я научился различать: темный, на-голос гулко опевает меня — мое самое главное пропало! А над темным другой поет-убаюкивает. Люблю шум, тесноту, безобразие; люблю и тишину, когда мысли идут, как попало, и музыку: в ней и прошлое, в ней и о будущем. А настоящее? — с 8 утра до 9-ти вечера, а бывает и до 10-ти, в очередях и на кухне. И чему же я все радуюсь, чему, чему?

Так было первое время, пока не обвык.

Четыре часа собираю воду, ползая на корточках после всех дневных моих стояний, и в коридоре ледник: в уборной засорились трубы и, когда на верху спускают, в раковине подымается и на пол: осьмиэтажная застарелая моча. Мне ничего не давалось так: еще в детстве «из какой руки?» спросят, и я всегда назову ту, в которой пустышка, и только трудом я что-то до-

стигал. С промокшими ногами я продолжаю работу и голова болит: накануне вечером с час трудился. И уж не радость, что подотру, и больше не будет течь, и не отчаяние — зальет, а любопытство, что дальше, когда меня зальет. А по утру снова: кухня и коридор — вода, и какая! боялся подтечет в комнату, и кого я только ни просил, и консьержа, и консьержку, и жераншу — посмотрят, постоят — и за дверь, и только один умный Утенок — ему вода своя стихия, — напялил свои лягушачьи зеленые перчатки и, сверкнув бриллиантовыми глазами, пошел за мной с тряпкой. До полдня трудились. Да все равно без водопроводчика не справишься. А как бы, еще недавно, я обрадовался, когда пришел, наконец, водопроводчик, веселый и быстрый и за пять папирос глотком высушил залитый пол и тряпку выжал.

Какие тупые беспросветные будни, день-деньской на ногах, и не костлявыми пальцами, а как мои пальцы, — если случайно притронусь, человек вздрогнет,— моими пальцами впившись в мои плечи, давит Забота; и так таскать не по силам, а она тяжелее тяжестей, сумку я на стул положу, а она не отпустит. Но как бы суровы ни были будни, в них неизбежно и смех и горе, — горе и чары. Смотрите, уж раскрываются «врата огня» — под землей, в воде и в воздухе.

СВЯТЫЙ ВЕЧЕР

Я не помню Рождества, чтобы не было у нас елки. И в самые тиски, зажим и всполох, в вое гудящих сирен — утренние, полуденные, вечерние, полуночные — под этот адов, взмывающий душу будильник, на все на весну — переломы солнца, неизменно зажигалась в нашем доме Рождественская елка.

И даже — когда ничего не остается и только бросить дом, выйти на волю и не молитву — все молитвы за противоречия их т а м давно похерены, — а поднос себе оробелое бормоча «елки-зеленые», бежать

в лес к зверям или в пустыню, в горы к диким зверям от человеческой мерзости — мудрый Буало, в сатире на Человека, вы и не догадываетесь о последнем преимуществе перед наивными чистыми зверями этого бесстыжего зверя, которому зверю все позволено безнаказано! — так опозорить и загрязнить землю, такое сделать — скрыть от глаз небо, звездную ночь — мог только человек-бестия, украшающий себя игрушечными высокими символами для отвода глаз порабощенному человеку, жаждущему не крови, а теплоты сердца, милосердия и воли.

Горькой памятью вспоминаю вас «Безумная» и «Блаженная», вы красили наши Рождественские елки, вы, покинутые счастливой судьбой, за что вас замучали?

И еще в моей памяти жарко: наша первая в войну елка. Под елку забежал и остался караулить на серебряных шарах черный барсук. Наяда привела с собой и барсука и — с первого прикосновения я узнал ее, сестру лесных ручьев, блестящую из сказочного мира Э. Т. А. Гофманна, и наша елка вдруг осветилась таким волшебным светом, хоть не зажигай свечей.

И все-то рассвеялось. Остался черный барсук, своей горькой тоской он не покинул наш дом — какие уж там сказки под «зенитный» оглушающий грохот! А Наяда — она обернулась в черничку и ушла в свою черную келью: не заглянет к ней солнце, не покроет лунная тень. Так было бы в сказке, но в нашем суровом беспесенном дне, хотя всякое утро солдаты, не наши, нагло горланят песни, какая там романтическая черная келья! — окандаленная голодом, потащилась Наяда на «египетскую» работу при полном освещении, без ограничения электричества.

В последнюю нашу елку в дом наш вошла Мэнада — она тоже оголодалая и тоже «египтянка». На ее лице — на куньей мордке — жаркий поцелуй печенежского солнца, в-синь горящие раненой олени глаза, огненное, черным огнем пожираемое сердце; я

дал ей русское имя «Дорога»: нет ей и не было нигде покоя, она не может нигде ужиться и ни с кем ладить, она всегда в дороге.

Бродя по дорогам, эта «разрушительница очагов» собрала стену тяжелых веток с елок — не для нас приготовленных. К сторонке я подвинул мою гору рукописей — и поднялась на моем столе елка, эта наша искусственная последняя елка, как китайская беседка, а в высоту — под потолок.

От елки лучами протянул я к передним углам комнаты и к полкам с книгами серебряные нити. В последний раз из зимних коробок вышли игрушки и заняли собой всю елку и все подвески.

И когда зажгли свечи — свечи тоже Мэнада собрала по «дорогам», тоже не для нас приготовленные — и в свете свечей над крестом елки взошла Рождественская звезда, вся комната осеребрилась.

И в розовом блеске сквозь серебро вскинулись воздушные мосты и, как лунный луч, тонко заузорились дуги, лесенки, обручи, пилы, пояса, папоротники, весь чудесный лес «морозных» цветов. А стена с Пифагоровым «числом и мерой» — мои цветные геометрические конструкции, сверкая серебром, раскрылись вглубь, как настежь весною окна, и приблизили дали — «сущность вещей» и всея природы.

И кукушка — пришла ее пора! — закуковала: она куковала от всего, согретого свечным теплом, механического сердца, путая бой, не замечая. Ее трепетное сердце без зари бьет двенадцать часов, и за полночью с обрадованным передыхом вечернюю зарю.

А перекуковав все часы — всю долю человека — кукушка угомонилась, и только слышно, только чутко, свечи дышат.

Серафима Павловна радовалась, как дети — только дети так смотрят и смеются так. А я, Дроссельмейер из «Щелкунчика», накануне бессонно сочинял всякие елочные затеи и украшения, я радовался, что уда-

лась елка. И чувствовал, напором темная волна плыла, заливая мою радость: наша последняя елка!

Свечи кротко горели. Во всей красе красовалась елка. И сидеть бы не гасить часами в этом мерцающем свете. Такой мир и тишина и какая-то память о немерцающем свете там, на родине «начал и жизни», откуда пришли мы на землю, а уйдем ли туда, не знаю.

Гадали на Рафлях: я подбрасывал кости и по выпавшему числу читаю судьбу. Раскладывали карты Сведенборга. И с Рафлями и со Сведенборгом я, как всегда, плутовал: у Сведенборга подменивал счастливыми угрожающие — а этого противного «Хорька» я готов был бы разорвать, да жалко карт, а из Рафлей вычитывал счастливую судьбу — о «соколах», о «зайце»... несчастье ведь и так придет, не спросит, а я желаю людям только счастья!

А когда стали догорать свечи и который-нибудь — мне все представлялись в святочных масках — клеватая птица с шипом леопарда или слон, без клыков, хобот и хвост лисицы, потянется гасить своей осаленной рыбной пастью (мыла нам не выдавали!) или пальцем, за наши скотские годы потерявшим чувствительность, деревянным. Серафима Павловна, как всегда, пугалась. Ее пугает 13 — не вышло бы тринадцать свечей: 13 — ее роковое, тринадцатого и придет ее час — кто-то смилостивится, придет снять с нее все ее горе, всю ее тревогу — черную тоску.

Со свечами обошлось благополучно и я читал Гоголя «Ночь перед Рождеством». Так в Рождественский сочельник и на Святках с Петербурга, когда справляли три кутьи: «постную» под Рождество, «богатую» под Новый Год и «голодную» под Крещенье, — я читаю Гоголя.

А с Гоголем не все прошло ладно. Впрочем, что и спрашивать от человека, обреченного на «египетскую» работу: с первых же строк, даже в моем чтении, оживляющем всякую букву, «египтяне», не меняя

положения, погрузились в вещие коровьи сны фараона. «До следующего раза!» — и я закрыл книгу, и подумал той своей наплывающей черной думой: «этого раза никогда не будет!» Да и пора расходиться.

Мы живем под бомбардировкой и под надзором, и вот уже три года, как на нас наложен пост и запрещение — прославленные Синайские постники, если с нами сравнить, попадут в «обжоры», а их подвижничество в «рассеянный образ жизни», — милость великодушного победителя!

Гости, поснимав с себя «страшные» маски «лютых зверей» и обернувшись в затравленных насторожившихся человеков, оставили нас, спеша до роковой полночи домой по своим холодильникам. И мы остались вдвоем, как вот уже сорок лет, одни.

В выгоревшие гнездушки я вставил все, что осталось: пять свечей. И снова зажег елку.

— Ну вот мы и одни, — сказал я и не договорил: «в последний раз».

Много тайн и чар открыто было Серафиме Павловне: тайны ее черной земли и чары звездного неба. Еще знает она много колядок — величальные рождественские песни — а знает их с голоса Берестовецких дивчат. Я знаю немного, кое-что о силе «черной свечи» (свеча с кровью) — вычитал у Новалиса, Тика и у нашего Ореста Сомова, а колядки — из сборника Потебни.

Из колядок меня заняли древнейшие песни: и по времени и по имени — о ремезе-птице.

Есть таинственная птичка и имя не простое: по-арабски: «ремз» — тайна. О ней сложено не мало колядок; конечно, поменьше, чем Богородице — «Матерь Света — Мать сыра-земля!» — да ремез и понимает, ведь она только самая счастливая из птиц, единственная: она щедро раздает свое счастье, и кто-б ни попросит ее, если и очень трудно, она только

крылом так — отсветит: «ну, скажет, берите!» Счастливая счастьем, а себе ты нашла на земле счастье?

— свя - тый - ве - чор —

Притаившись около елки с горьким черным барсуком и моим верным Фейерменхеном (сегодня он именинник!), я, напуганный нашими пожарами (трижды горели), всегда под страхом: вот вспыхнет. Свечи у меня в глазах.

И следя, как Серафима Павловна смотрит, как слушает, прислушиваясь в елочную тишину и в этот мерцающий свет, я слышал, что она слышит: оттуда — из России доносит ей голос... тесно усевшись на скамейке, поют дивчата; в печке потрескивает и ухает солома, а за окном, опушенным теплым снегом, горят рождественские, такие гоголевские, кованные к празднику Диканьским кузнецом набожным Вакулой, ясные, как твои глаза, звезды — —

— свя - тый - ве - чор —

И вот веки железом упали на светившиеся чистотой ясные глаза и детская улыбка скорбью окостенела, а тревожное сердце затихло.

Куда все девалось? Куда уходит красота живого человеческого существа? Неужто пропадает? А если и живет — живо только в памяти человека — какая короткая память. Короче моей жизни!

Нет — или нет, как может пропасть? Она разольется в этом прекрасном мире: помыслы — облакам, улыбка — заре, цвет чистоты — цветам, теплота сердца — весеннему вею, а мечты — вам, звезды!

Она проникнет в свет самого жгучего, белого, цвета, войдет в этот единственный мир — в нем рождается человек на свет. И пускай боль и страх и неутолимая скорбь — в жизни пролиты кувшины слез! — но как трудно, как невыносимо трудно расстаться с землей и, кто знает, может быть, томиться там — —

И в моих глазах... я различаю, перегудно звучит Чайковский — «Горними тихо летела душа небесами — —».

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Ночью они приходили ко мне на кухню: две беспятые — анчутки и с ними, поджав хвост, Епишка носатый.

«Спит ли не спит?» — они не говорят, я по их глазам читаю.

— Не спит, — говорю и стараюсь о другом думать.

Епишка облизывается.

И по тому, как устраивались они на табуретке, я понимаю, что расположились на всю бессонную ночь.

Епишка к анчуткам хвостом, поджав хвост между ног из опаски отдавят или придет блажь хвостом его поиграть. Косясь в мою сторону, Епишка подмигивал — он читает мои сокровенные мысли.

А они сидят скучные, две востренькие беспятые анчутки — неизменные мои ночные гости, спутники Епишки. Много-ль они понимают? — а ведь что-то да чуют.

Я выхожу в соседнюю комнату наведаться. И сейчас же возвращаюсь на кухню.

«Не спит?»

Они не спрашивали, но я читал по их глазам этот единственный вопрос ночи.

И начинается моя ночная жизнь.

Их ничем не спровадишь и до утра они на кухне со мной.

— И вам не скучно со мной? Или это не в вашей воле притти или не приходить к человеку? И вы привыкли? А я к вам не могу привыкнуть.

Перекашливаясь, Епишка подмигивал.

Он думал о блестящей синей Кумаке: лунные тени на своей томящей волне привели ее к нам на елку в

лунную ночь. Я помню: переступив порог, она вдруг загорелась, это я коснулся ее плеч, потом горящая, затаясь, она ушла. Винила ли она себя?

— Ни в чем не виновата, — говорю, — ни ты, ни я, и разве может быть сердце виноватым, что вспыхнув, светит в ночь?

Но он, помахав хвостом, уж думал не о синей чаровнице, да ему это все равно, он хорошо знает, что эта ее вспышка только на мгновенье, а дальше — ночь. Он думал о моих черных, как мои ночи, днях.

Да, хорошо, когда удастся взять у ночи свободный час. А сколько сгорит ясного утренних дум, дневного наброжья и жгучего наплыва дымящихся вечерен — потом не соберешь. И все только для того, чтобы спуститься в лавочку, чего-то купить и на краткий час заснуть. Я, как автомат: завели машинку: спи! И я сплю без мечты.

— Мертвым сном! — продолжает мое носатый Епишка, охвостя сонных беспятых анчуток.

— Сегодня, — говорю, — какой печальный день, а вчера январь, и как будто пришла весна!

И мне хочется, и я готов рассказывать о вдруг закипевшей во мне весенней жизни, о буре под этим тихим теплым дождем.

А он наперекор: не синие бури, он говорит о пропаде, о неизбежном — то самое перед чем стою я без ответа, на что надеяться и откуда ждать.

Остроносые беспятые анчутки дремлют, в дреме клюя сонные пуховые подушки. Хороший знак: скоро все успокоится и я тихонько выйду из кухни и ткнусь под «кукушку» в пасть мертвого сна.

Я подымаюсь. Неверно следя паутинными глазами, иду по коридору. Чьи-то меткие руки подбрасывают мне камушки под ноги.

ЗАПАДНЯ

За собой перемены не замечаю, разве что не пишу. Но трудно было узнать, так она изменилась за эти годы: другой человек.

Где ее буря. Ее беспощадная требовательность. Ее прямое резкое слово и осуждение всяких человеческих слабостей, что в старину оправдывалось соблазнительной мудростью: «не грех, токмо падение». Вспомните, с каким негодованием встречала она перелетов, шатунов, этих туда-и-сюда, «кривых» и малодушных.

А как стали отходить вещи и мир погасал, кротость и покорность заполнили ее душу.

Усмирило ли ее что или вознесло на такую вершину, откуда и эта покорность и кроткое снисхождение к человеку, к его слабостям — демонам: они сожглись в ее свете.

И вот обнаружилось ее сокровенное, что светило из глаз и светилось в улыбке: непорочность — ее детское, с чем пришла она в мир, и что влекло к себе простое и не простых и раненых душой.

И внешне она изменилась: она стала похожа на детей, за которыми надо ходить и смотреть.

Наяда, так оно к имени и подходило, взялась ее вымыть — Наяда взяла на себя непосильный человеку подвиг.

Довоенный горячий кран закрыт, кипяти воду на газе, а газ ограничен, тоже и с посудой: много-ль в кастрюле, а тазы текут; и как и где посадить без ванны, и холодно.

Не с любопытством, с нетерпением я следил. И видел, как на моих глазах совершалось чудо. Наяда, победив все трудности, мыла ее — она ее мыла не как взрослого, а как детей, что отражалось во взгляде, в улыбке, в движении пальцев, и мне почудился нежный материнский подшлепник.

А как радовалась С. П.: в нашей-то парше и изъеди вдруг почувствовать себя чистым. И потом долго — вспомнит и обрадуется.

А я говорю: «еще и еще раз придет Наяда, не оставит, купать будет».

Больно было смотреть, подумайте... как больно будет трогать покинутые, осиротевшие вещи: они как живые — этот с орех глобус, заигранный мячик, бисерные шкатулки, бусы, янтарная память любимой бабушки, кораллы, гребешки, кофточки, платья, стол, кровать, книги, рукописи, альбомы, слоненки, часы, крестик, все они будут смотреть на меня, веря, что я что-то могу сделать, верну...

Я что мог, все делал, да и С. П., насколько руки хватало, все прилаживалась себе теплое шить, да путного что-то не очень, все путалось, а я и не раз доставал, запрещенный тогда, одеколон. За что это, за какой грех на человека такая кара?

И эту кару чувствовал я, свидетель человеческой муки, а со мною все, как и я, кто должен был только с болью смотреть, бессильный помочь.



А как она радовалась, когда кто-нибудь приходил. А надо сказать, все реже заглядывали в наш обреченный дом.

Иван Павлыч («Не правда ли?») всякую субботу ходил на мое чтение, а уж и третья прошла, а его нет. Овчина всякое воскресенье, и тоже пропал. И Наяды нет.

В последний раз была Наяда на Рождество, розовый гиацинт принесла, а мне стоеросовую трубку под горькую полынь. А скоро и Пасха, трубка застряла, гиацинт завял.

С. П. очень затревожилась: не случилось ли чего — «Наяда померла». Только и разговору из вечера в вечер.

— Для чего Наяде помирать, — говорю, — а померла-б, Орел известит.

— А может, и Орел помер?

— Ну, Зайцев.

В те времена исчезали без всякого извещения.

Хорошо что заехал Чижов. И успокоил: ничего особенного не произошло, Наяду он встретил в их шофферской столовой: «ест котлеты».

Чего я только не придумывал, почему у нас никого, и всегда обещаю, что все придут в воскресенье.

С. П. не очень доверяла моим предсказаниям, а сам я вовсе не верил.

И она начинала мечтать, наполняя дом гостями. Она мечтала, как приедут с острова Олерон все Черновы (Ольга Елисеевна, Андреевы, Резниковы, Сосинские): дети и их родители, девять человек, и все поселятся у нас, и как хорошо тогда будет. И Иванов-Разумник с Варварой Николаевной и Таня Унгебаун.

«И Петр Маркович Костанов» — говорю (П.М. Костанов учитель музыки).

«И Петр Маркович, конечно».

«Да куда же мы их денем?»

«Да как-нибудь устроимся».

И улыбается.

Эта улыбка превращала наши заставленные комнаты в деревенские хоромы. Так улыбалась ее любимая костромская бабушка, когда в Черниговские Прохоры съезжались на именины все ее внуки и их отцы, их матери, с тетками и двоюродными братьями и сестрами.

Я знаю, знал своим каким-то знанием, голос которого слышу, но никогда не слушаюсь, что иначе не могло быть и не будет: это обреченность отваживала от дому.

С потолка повисла паутина — пауки по углам ткут ее день и ночь; с вечера скребется мышь и на ночь, поблескивая, вылезут они из нор и когда кам-

нем повалюсь я на свой диван, только двум сесть, бегают по мне, изгрызли мое теплое вязаное одеяло, я не чувствовал, я не чувствую, но непременно проснусь на блошиный налет — волна за волной — никакого отбоя.

В вымерзлой «кукушкиной» фейерменхен — мой спутник цверг по прежнему сидел над запыленными рукописями, опустя нос—печаль без сказки не разговоришь, я пробовал. А кукушка сама-собой без завода вдруг закукует и опять насторожена, молчит. На стене ясный цветной бисер и образ в жемчугах и золотая риза, нет это сплошная черная стена и черный красный угол.

Незадолго до Пасхи, с год не появлявшаяся у нас, пришла Мэнада: она затеяла, не по имени своему Мэнада, уборку. Ее не остановило, что при всем желании перед этим непроницаемым паутинным перепутьем у человека опустятся руки. Я вошел к ней посмотреть: она подметала пол в коридоре и взглянув на меня и туда в комнату, заплакала. Показалось ли мне или и на самом деле она заплакала, но эти слезы выговаривали громче всяких слов.



А когда С. П. еще одна выходила, давно это, но я все помню, память моя — мои цепи.

Она спокойно шла, держась за стенку. Самый дальний путь парикмахерская Одет, авеню Мозар против Вилла Флор. Последний ее самостоятельный выход особенно запомнился и мне никак не забыть.

Вернулась она с прогулки и, как всегда, не с пустыми руками: полный сверток — всякие баночки с кремом, пудра. Этого добра у нас заваль, но всякий раз ей подсовывают.

Как укладывать спать, вспомнил я о «тэрме» — с «тэрмом» всегда было трудно, а в то время только чудом! — взял я бисерную шкатулку, нашу сберега-

тельную, и вижу что-то очень мало. И вдруг подумал: не обсчитывают ли С. П.? Куда девались деньги?

Был случай с очками: Лисак такую оправу ей поставил: десять очков купишь. Тоже и с этими кремовыми баночками. И я решил проверить. И спрашиваю, как было у Одет? Считаю и вижу, что трудно ей отвечать, путается. А сам я со счета сбился, и уж позабыл, зачем все это затеял. А все считаю — и все не хватает. «Да там, говорит, еще в сумочке есть». А в сумочке-то одна мелочь. И я понял, что считай-не-считай, а деньги истрачены, а завтра «тэрм» и платить нечем.

Я вышел на кухню. Очень мне было досадно и не могу придумать, как поправить: за эти годы не было никого из знакомых, кому бы я не был должен, я чувствовал, что становлюсь всем в тягость.

Когда-то тоже в Одессе, жили мы в щели на Молдаванке, тогда родилась Наташа. Что было делать? И я написал Льву Николаевичу Толстому и Иоанну Кронштатскому, ответа не получил: первый мудрец и первый святой на мое не откликнулись, и как это меня угораздило, ведь я писал не о Боге и не о совести, а только о своей беде. Тоже из недавнего, когда нас турнули из Булони и мы очутились без крова, я обратился к знаменитому музыканту и получил отказ: он помогает только через организации. И во французском союзе писателей отказали.

Припоминая только свое «безвыходное», я курил мою горькую полынь и в глазах у меня темнело.

Всю жизнь меня тыкали: пишу непонятно и не гожусь или «не подхожу к нашему читателю». А издатели не принимали моих книг: «я не самоокупаем». И те из пишущих, кому помог в ремесле, стесняются моего имени или просто плюют на меня. В газетах меня печатали из милости. Можно ли привыкнуть просить? Нет. Скорчась — я ведь и горбатый-то от попрошайства — я попросил бы, да нынче нету газет, некуда сунуться.

И вспоминая только свой пропад, я обходил, я не спрашивал: да ведь кто-то же меня выручил! Я все забыл в эти злые минуты — все доброе, какое делали мне люди и имена их забыл. И чернота кутала меня. И должно быть долго я сидел, завешенный едкой тьмою.

В комнатах было что-то очень тихо: то ли мыши совещались, чего им эту ночь грызть, то ли еще кто, притаясь в углу, высматривал и только ждет...

Я поднялся наведаться.

И вижу свет: С. П. не спит. И я хотел было готовить себе логовище, так называю я этот свой сторожевой диван с изгрызенным мышью одеялом и наваленным скомканным тряпьем. И вдруг слышу:

«А ты прости меня!» сказала она.

И эти слова ее обожгли меня: во мгновенье я мысленно прошел все ее мысли и понял, как она поняла меня. И осудил себя, что мне не надо было и пусть только для проверки, мучить ее допросом, и ведь наверно, считая и недосчитываясь, смотрел я с укором. Повторяю, я совсем забыл, для чего затеял все эти расчеты и обвинил ее, а не тех, что пользуясь случаем, видят больной человек, безответный и давай драть в три-дорога. Но даже, если бы было и не так, а просто забыв, она истратила эти нужные, эти необходимые деньги... И я вспомнил, вы помните из «Преступления и наказания» случай, совсем не то, конечно, и не так, но чувство и еще что-то глубже: Соня вынесла отцу на похмелье все, что у нее было — 30 копеек — «ничего не сказала, только молча на меня посмотрела — так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют. И это больнее, это больнее, когда не укоряют!» повторял я себе уж. И вдруг свет осветил меня, глаза мои открылись и я увидел — я уж вижу какую-то дорогу путь: она приведет меня и все поправит. И как все просто: одно это слово, и даже не слово, а одна буква... «а ты, прости меня!» и вся моя запутанность, вся темнота и горечь канули бесследно.

И я успокоил ее — в свете, который осиял меня, возникали колыбельные слова. И она заснула.

Но я не заснул: свернувшись я повторял эти ее всеразрешившие простые слова и не мог простить себе свои, замучившие ее. И во всю ночь, прислушиваясь, легко я вскакивал на окрик, легко нагибался кутать в одеяла, чтобы теплее было, или чтобы поднять палку — палка у изголовья всегда падала; зачем-то выходил в нашу холодную кухню. Я готов был не десять, а сто раз подняться, не говорю, чтобы вернуть или поправить, разве можно такое поправить, нет! а оттрудить — отмучиться.



Было у нас ожерелье, но не то, что бабушка из Таинственного зайчика показывала Оле изумрудное, то Оле не досталось и погибло в пожар, в революцию, как в войну пропал золотой медальон — герб Задоры: «голова львова сера космата с огненной пастью в поле блакитном». Ожерелье, которое берегли, не родовое, а свое — цепь из пасхальных яичек, тридцать и три года низалось — вся петербургская литература: Блок, Белый, Сологуб, Вяч. Иванов, Гумилев, Кузмин, и Мир Искусства: Сомов, Кустодиев, Чехонин, Добужинский — христосывались и оставалась пасхальная память. На Пасху и до Троицы носила С. П. это, с каждым годом удлиннявшееся, ожерелье, всем показывала, называя имена, сама радовалась и все любовались — в Петербурге, в Берлине, в Париже.

Я отобрал самые знатные — золотые и серебряные. И говорю С. П., боялся встревожить. И вижу, посмотрела она, так дети смотрят — я встречал больных детей и беззащитных.

«Ну, что ж», говорит.

За полторы тысячи продал, и все на «тэрм» ушли — три месяца ни о чем не думай.



Да вот еще, как такое забыть!

Другой раз часами стою в очереди и не в одной стою очереди, а вернулся домой с пустым мешком — мои глаза, мне бы под землею, а я толкусь среди зрячих — что разгляжу? — а это я вижу, тут не надо ни зоркости, ни проворства, что человек есть хочет.

«Ничего, говорю, нет у нас — ничего, а завтра непременно достану!»

И она покорно смотрит и только свое:

«Ну что же».

И еще и такое бывало: плакать ей вдруг хочется. Спрашиваю. А она и сама не знает отчего ей так плакать хочется.

Прощалась ли она с белым светом, не часто, а говорила, или такое, что и словами не скажешь, этот горький корень жизни в человеке... все в ней плакало. А слез не было.

Я выбирал самое жгучее — и самый упорный камень треснет — из Достоевского и Толстого, а слез нет — слезы подходили к ее глазам — и в глазах сжигались.

Верю и люблю сказки, часами могу слушать, не надоест, а держусь по Писареву Пятикнижия: Бюхнер, Фохт, Малешот, Фейербах, Милль. Много я наблюдал, что бывает от печени, от желудка, и что такое слепой и что такое зрячий, что такое холод и есть хочется, тепло и замерзаю, спал ночь или которую и на минуту не удается.

Вычитал у Дружинина (А. В. Дружинин, наша «эстетическая» критика, «англичанин», основатель литературного фонда, хороший человек) — вычитал я не из знаменитой «Полиньки Сакс», а из кавказских рассказов: «жертва ему вот куда! и он спрашивает: что есть человек? — и пишет: «дрянь» и тут же о судьбе, что есть и такая, все устраивает, но не к хорошему (Толстовское «образуется») а все к худшему». О судьбе я согласен, но «дрянь», в первый раз слышу, единственное в русской литературе и сказано от серд-

ца учеником Лермонтова, я что-то и понимаю и про что это, но так огулом... Бюхнер, Фохт, Малешот, Фейербах, Милль — и когда человеку есть хочется, а слышишь покорное и кротко на «нет ничего» — «ну, что же!» — понимаешь, что человек переходит грань живой жизни.

Меня сперва смущало — меня многое смущало и только потом я понял... не поздно ли? — не хотел верить глазам, а чутья не достало. Ночью, когда в какой-то десятый раз я вскакивал и уж с остервенением принимался кутать в четыре тяжелые одеяла и если случалось на что-нибудь ответить, я слышал свой голос и не узнавал, кричу, а она смеется — конечно, вид у меня был смехотворный. И вдруг я понял, что вовсе это не смех, она не смеялась. Так что же? Слезы? Слезы давно все иссякли, выплакались, а осталось сухое, как ожог, рыдание. «Не рыдай мене, мати...» — это куда глубже, чем сказать: «не оплакивай».

И однажды на мое нетерпение она сказала сквозь этот смех-рыдание, что «плохо с ней обращаюсь».

От стыда я и сам готов был так же засмеяться. И мысленно взглянув на себя, спросил: а уж не прав ли Дружинин?

А когда пришли нас описывать за неуплату налога, я очень боялся, что войдут к С. П.: в ее комнате все, и икона и стена в бисерных картинках — записывай да оценивай. К счастью обошлось: спасла ошибка: по моим квитанциям выходило, что я больше заплатил, чем у них записано; опись отложили, проверить и ушли.

С. П. слышала что на кухне кто-то и разговаривают, и подумала: посылка из Праги от Зарецкого: мед. И очень обрадовалась.

И когда я вошел к ней с рассказом о Питоне, фамилия юиссье, и понятых, заседателях нашего бистро, я был тоже очень рад, что все так кончилось, но меду у нас никакого и варенья нет. И выслушав мой рассказ, она засмеялась, как ночью надо мной. Да, «не

рыдай мене, мати», это совсем не то, что не «оплакивай».

Надо было подумать чтобы не случилось повторения: проверят и опять явятся. А была у нас икона, ее С. П. очень любила, «Трех Радости» (Богородица с Младенцем, Иосиф и Иоанн Креститель), московский образ, золотая риза.

У меня только и есть выбор: или эта икона или мое золотое обручальное кольцо. И она попросила икону оставить, не трогать пока....

«Если можно!»

ОТХОДНАЯ

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? На завтра тот же
Зашел и не застал опять меня,
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном...

В наше последнее Рождество утром я отворил дверь итти, как всегда, в очередь за молоком. У порога на коврике сверток и сразу я понял, только что положен, взял в руку и вижу, кто-то согнувшись, спускался по лестнице — «человек одетый в черном». Не окликая, я вернулся в кухню.

Сверток не по размеру завязан грубой бичевкой, у меня сказалось: канат. Я развязал и под бумагой вижу коробка со стеклянной крышкой, на крышке елочная ветка — крест. А в коробке на черной ленте медальон: живая алая роза залита стеклом. Никакой записки: ни кому, ни от кого.

Я взял в руки эту алую розу и через мои пальцы она как бы вошла в меня: мне стало очень смутно —

я что-то вспомнил и что-то понял, что сказалось, заполнившим меня, словом: «человек, одетый в черном».

И с этих пор эта алая роза до последнего дня не выходила у меня из глаз.

Чтобы развлечь, я передал медальон С. П. И оба мы гадали, перечисляя знакомых, кто б это прислал и в такой тайне? И потом всем показывали: вещь оказалась самой модной, а по цене, никому не по карману.

Несколько раз С. П. надевала медальон, а как-то упал он на пол, я поднял и положил на стол к любимым «птичкам» — такая дешовая брошка.

А скоро и забылось, С. П. не вспоминала о медальоне. А я каждый день невольно глазами встречал — вещун алую розу: ее дадут мне живую — у раскрытой могилы.



Вот уж три года, как я ничего не пишу. И только снится: кто-то с глазами полными слез стоит передо мной.

И я начал себе «отходную», что был человек, был обуян словом, маниак, и все кончилось, ушли слова и осталось порожнее место, засыпано цыфрами продовольственных карточек, и очень хочется спать. Отходной я не кончил, вместо слов пошли рисунки, так легче, и втянулся, по лошадиному засыпаю в очередях, стоя.

Все реже удается читать. Нет времени. В последний раз начал Юлию Дружинина — Дружинин ученик Лермонтова не чета другому ученику, более известному, автору «Тамарина» Авдеев.

С. П. последнее время на память читает «Онегина» и предсмертные стихи Сологуба: «Подожди еще немного», и по-польски из Мицкевича. А за неделю до смерти попросила меня прочитать ей вслух «Наймичку» Шевченки. Это и была «Отходная» — мое последнее чтение: страда матери, в жизни не узнанной

сыном и только в час смерти она открывает ему, что она его мать.

Для моего московского трудное чтение, но С. П. сказала, что услышит и через мое, как бы сама она говорит:

Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужой хаті...
Прости мене, мой сыночку.
Я... я твоя мати!

«Наймичка написана 13 ноября 1845 года» — С. П. переспросила. — И я повторил: «13-го».

Выслушав свою «отходную», она поднялась, она, с трудом, но еще могла передвигаться, и пошла из кухни в свою комнату, повторяя: «13-го».

В день Страшного суда — так по откровению — когда Архангел протрубит с небеси, похоже на сирену, но еще пронзительнее, и голос-оклик его, выворачивающий душу, острастив последних на земле, проникнет в землю к сухим костям человеческим и пеплу. И в тот судный час, вместе с усопшими матерями и сестрами, она подымется из своей землянки и станет перед Лицо Судии такой, как нарядил я ее в последний путь: она будет в черном сарафане, белая, ею вышитая берестовецкая кофточка, кипарисовый крест на шее и в руках материнское благословение — образ Богородицы.

Прижимая к груди образ Богородицы, скажет словами своей последней предсмертной молитвы:

Суди меня и спаси меня,
если можешь!

ПРОПАД

Страх понемногу отпустит — она уже не будет так беспокоиться: сирена и выстрелы не будут так встрясывать душу, как раньше; и недавнего ужаса не стало и следа. А с ногами плохо: шаг все короче, простран-

ство все уже. Когда-то затеяла подсчитать города, где побывала: в ее записной книжке выписано — 175; трудно поверить, что это было когда-то. Кое-как добрела до Знамения, по дороге сидела, конечно, — а это рукой подать: Микель-Анж за Молитором, по соседству, ну, а потом, две недели лежала. И это было в последний раз. Я свыкся, но не все понимали, и такая опытная массажистка — она массировала ногу: затеяла было вымыть в бане — баня на рю Пуссен, за Сухановым, недалеко, дорога знакомая, исхоженная, но уж путь был заказан, я-то знал, не дойти.

Выйдет на улицу посидеть на лавочке у кинематографа — кинематограф на рю д'Отей против рынка — а уж дальше: самое дальнее Авеню Мозар: Одет, парикмахерская, но это тоже было когда-то! — вижу, идет, как пьяная, за стенку держится. А вернется: какое измученное лицо. Сначала через день выходила, потом через два, потом через неделю. И уж ни на Пасху, ни на Рождество, о церкви очень тосковала и особенно под праздники. И уж без меня теперь ни на шаг.

А какая была мука спускаться с нашего 2-го этажа и опять назад лезть — 39 ступенек и 2 площадки — было б, конечно, куда проще по лифту, да не разрешают, больной-не-больной, а кнопка выключена, очень у нас зверские порядки, и до войны и в войну одинаково. И уж одной ей без поддержки никак. Да и моей помощи мало, а поводырку — чтобы мне помогала — нескоро нашли.

Однажды на короткой прогулке, а по часам долгой — и как это пронесло, один Бог знает! — чувствую, нет моих сил удержать, а стоим среди улицы и кругом одни, и я, оглянув, голосом обратился, по русски сказать: «Люди добрые, помогите!» И тут какая-то дама — откуда? — взяла ее под-руку и легко перевела к самому дому. Я хотел поблагодарить, но ее уж не было: как появилась, так и пропала; одета она вся в белом, я полуслепой, а и сейчас вижу и узнал бы — глаза, какое участие! и светящееся легкое дуновение

вокруг, дышать легко. Я не раз вспоминал этот чудесный случай. И теперь, в сумерки, когда прохожу по нашей улице, я тайно думаю, что встречу — она где-то тут близко, я чувствую, а может быть, и не тут...

А вскоре и другой случай: переходя нашу улицу и как раз от тех дверей госпиталя, из которых дверей только выносят, а уже были сосчитаны дни, как и ее вынесут, вдруг, вырываясь, она побежала. Очень было трудно, и все-таки я сдержал ее, но удержать не было сил, и в тот миг, я чувствовал, как ноги ее подгибаются и вот сейчас упадет, и какой-то, как та дама, — откуда? — и я вздохнул, он взял ее под руку — глаза его светились, в самой глуби глаз горел уголек — и легко довел до дверей. И я потом всем рассказывал, говорил, что это был не человек, а демон, но себе... я узнал его — «человек, одетый в черном»...

До последнего дня всякое утро она читала Евангелие и потом писала, но это был не дневник, а молитва: она писала письмо Богородице:

«Матерь Божия, возьми нас под кров свой, избави нас от напасти, избави меня от напасти, спаси, сохрани, помилуй нас! — дай мне здоровья, дай мне выздороветь совершенно, дай, чтобы ноги не болели, исцели мои ноги! — дай чтобы ноги мои отпухли, дай провожатого, дай научиться ходить, дай дойти до Одет, до рю Лафонтэн, дай благополучия, дай мне спать хорошо, спаси, спаси, спаси.

Матерь Божия — Исусе Христе — пошли нам помощь денежную, дай нам денег — спасибо! — пошли нам помощь денежную, дай мне одежду, — спаси-спаси-спаси!!! Помилуй-помилуй! Спаси-спаси-спаси!»

Три года запись — три года молитва; в последнем письме строчки недописаны, писала из последних. Она родилась с верою и через всю жизнь неотступно пронесла ее, пламенную и несомненную.

«И услышала Пресвятая Богородица голос из пучины человеческого страдания», — так в «Хождении

Богородицы по мукам», где говорится о всех страждущих, озлобленных и помощи требующих, — развернула она свой затканный звездами голубой покров, звезда надзвездная: и вот в глазах взблеснули белые крылья, и отекшие холодные ноги вдруг потеплели, и без помощи, а как когда-то легко, поднялась она, стала на землю...

СИРЕНА

А в то время, как приближались последние минуты, я все еще гадал о завтрашнем дне. В марте закрыли за перерасход газ, и много я намучился со спиртовкой — ведь надо было все успеть приготовить и как всегда чтобы. И теперь, напуганный, хотя, кажется, ничего не угрожало, я хотел поскорее заплатить по счету и за газ и за электричество: 400 франков. А денег не было. Но мне обещали эти 400 франков: в понедельник утром или в четверг до четырех. И я решил не откладывать до понедельника, уже один понедельник пропустил: получу и вернусь в госпиталь, еще поспею.

Я пришел во-время, а не легко было отыскать с моими глазами, во много дверей стучал, пока не нашел: меня записали в очередь первым. На Вожирар выдавали пострадавшим от последнего налета. Я хоть и не бомбардированный за последние годы, и все-таки как когда-то «потерпевшему» мне обещали.

Да, Дружинин прав: и такая есть судьба, что устраивает не к лучшему, как принято думать, а к худшему. Я ждал по крайней мере час, сколько прошло народу и всех приняли, а меня не выкликают. Не знал, что и думать. Забыли? Да так оно и выяснилось, когда я о себе напомнил. Не дай Бог попадать первым, — если второго зачеркнули, и пошла черта за чертой, тебя уже не существует, заштрихован. Теперь переписали 13-тым. Серафима Павловна всю жизнь боялась 13-ти, для нее это черный камень, а для меня белое — 13-е — удача.

С воскресенья четыре ночи я не спал, и спать мне не хочется, но все во мне звенело. И когда очередь дошла до 13-го и меня выкликнули — смутно помню, как меня что-то спрашивают, и я отвечаю, по лицу догадываюсь, не к делу говорю и невпопад, а в конце концов дали мне эти 400 франков. И я уж подходил к двери, чтобы скорее до мэтро Порт-де-Версай — я все еще надеялся, что в госпиталь поспею! — и, как на грех, вдруг слышу знакомую песню: сирена. И под ее стенания я вернулся в приемную ждать конца, когда соблаговолит — завопить отбой.

Когда-то, а как давно это было, я любил сирену... Когда в Париже в канун войны по четвергам неизменно ровно в полдень, разворачивая уличные звуки, заводила она механической пастью свинцовый вой — эти катящиеся металлические ленты с завитком — беспутные песни, я спешил проверить часы: будильник и кукушку — будильник за неделю всегда отстает, и я передвигаю стрелку на полдень, а кукушку, всегда тороненную, ловлю за маятник, передохнуть. А если, случалось, сирена застигала на улице — ее голос не впивался и не давил мне сердце, я только вспоминал о моем будильнике и о моей кукушке: о будильнике-трескуне неистово-быстром и неугомонном, щадившем мой сон и немудро любящем — сколько раз по его милости я опаздывал, и о кукушке, беспощадно торопящей мой отмеренный срок. И я всегда думал, хорошо, что завели сирены, эту морскую корабельную машину, и пускают для порядку разглашать воем не тревогу, а обеденный час, и не над невольной волной, а над свободно текучей улицей Парижа. И вдруг все переменилось, и не та сирена. Значит, надо было нарушить какую-то меру, температуру, порядок, чтобы другое открылось слуху, не этот «глагол времен», четверговый механический оклик провѐрить часы — железные звенья моих цепей, оклик, принуждавший меня считать часы и минуты и оставаться в необходимом кругу последовательно-равных падений в вечность минут,

мне отмеренного дыхания сердца, жизни на этой чудесной земле, расцветающей и увядающей, радующейся и радующей. Стало быть, как всегда, только выверт, «преступление», вольное или невольное, разорвет завесу, и тогда наступит... И вот в первые дни войны меня разбудил голос. В первые дни войны, когда размеренная жизнь хряснула, задумалась, я затаился — с моими гномическими глазами и единственным оружием словом, мне нет и не может быть места ни в каких поединках — и никогда еще я не чувствовал себя таким покинутым, как в первые дни войны. После дневных «окапываний» — работа с заклейкой стекол, наступала ночь со своей жизнью сновидений, они тоже необычны и ярки в переломы, и меня вдруг разбудило, но не рассеяло. Откуда-то из-за домов звучал ее голос и чувство мое было не судорога, а что-то торжественное, не леденящее сердце, а разливающееся по сердцу, и я почувствовал, что с этими звуками закатывает мою душу. Очарованный, с волнением я слушал ее. Она будила во мне старую память, вспоминал ли я «Фауста» или другое, подымающееся из тьмы моих жизней. Я слышал плеск волн — где это? у берегов Сицилии или на островах Архипелага? И видел ее: она сияла из ночи, — «и душа моя тоской сжималась». Одних она убивает, другие бегут с леденящим сердцем, а я очарован, и мое чувство так остро, я как выдрался из сновидений и лечу за ней, за ее уплывающей, дразнящей, полной звуками, тенью на «воздушном океане». Спускаясь по темной лестнице в «абри» («убежище»), я слышал через плеск волны и взрывы вихря знакомый голос. Я простоял три часа и не заметил. А Серафиму Павловну она испугала: не сирена, я разбудил ее и надо было спешить одеваться, спешить вниз, а это очень трудно, когда бегут и перегоняют с вытаращенными глазами. Да, когда-то я любил слушать сирену, а потом — теперь забота оглушила меня, и я смотрю через ее растопыренные пальцы, сплющенные на моих глазах.

С этой первой сирены надо и начинать и — до воскресенья. И день за днем с воскресенья перелистывался передо мной, как страницы, — за эти дни в тысячный раз я читал эту книгу и с той же неутихавшей болью, как в первый раз. Все во мне звенело.

В воскресенье, как всегда в последнее время вечером, Серафима Павловна вышла в кухню — ее самая дальняя и единственная прогулка.

Взятое на прокат кресло стояло без употребления: погода все не налаживалась, то дождик, то ветер, то холодно. И только под Вербное я катал ее по улицам до Знамения. Помогала мне Биярда — наконец-то послал Бог поводырку. Эта поводырка существо кроткое, безропотное и, как сама заявила, «ничего не боится», а это очень важно, мало ли что, не растеряется. А прислала ее нам черная: по нашей лестнице встречал, ходит убирать. А жизнь поводырки, сразу понял, нелегкая и одета: пальто рыжеватое, цвета давности, и только шелковый белый платок заколот на шее. Говорила, «ничего не боится», а вот и сама не заметила, как забоялась: а случилось это в позапрошлое воскресенье, попала она на Лоншан, на скачках, под бомбы, да не одна, а со своим Жан-Клодом, мальчишка вроде моего Петьки из «Петушка», вихрястый и озорничать горазд. Приводила мне показывать — называет она его «монстр»; его от взрыва закатало в листья, так он не хотел из листьев вытаскиваться, не дается да и только. «Я, говорит, бомба», — и чтобы его все пугались, губы надул, страх представляет, а глазенки сквозь листья зверьком поблескивают; тоже очень испугался.

Днем Серафима Павловна ждала поводырку, хотя и было условлено, что кроме воскресенья, и собиралась написать своей любимой крестнице Олечке на остров Олерон, и в Киев Наташе.

Вечером накормил ее. Вымыл посуду. И мечтали: завтра будет хорошая погода, завтра придет поводырка, и мы поедем кататься, я довезу ее и до Одет

и на Ля-Фонтэн, где шерсть покупала. Я кипятил оранжевый чай — дух апельсинный, но без сахара дерет.

К чаю пришел Листин, художница, ее «кумир» — Лифарь, и за два года, как она в Париже, она не пропустила ни одного балета, нарисовала тысячу Лифарей в тысяче поз; теперь не так часто, а в лютую зиму она приходила к нам каждый вечер, и на уме и на языке у нее Л., только о нем и разговору. Я всегда думал — на наших глазах проходила ее жизнь: комната без отопления, и всегда голодная — вот пример жертвенной рыцарской любви, забытой и не восстановимой — или существо человека изменилось... «все для того, кого любишь, и никак, ничего для себя». Наши соседки, если застигал «алерт» (всполох), побаивались Листина: всякий раз, когда она, поминая Л., произносила свое единственное заветное имя, немедленно же раздавался выстрел, — а это значит — такая была сила и упор ее любви, магия ее любви. И вот она достигла: после всяких неудач и сколько труда зря, все-таки будет издана книга с ее рисунками. И в десятый раз она с восторгом повторила: «Вы, сказал ей Л., героическая женщина». И как всегда стала раскладывать карты Сведенборга: она, по Сведенборгу, Амазонка, и, как всегда, по левую руку от Амазонки лег ее защитник Лев, по правую Гишпанец: Лев — это хозяин кинематографической студии, где она теперь работает, «огонь и сталь», как она выражается, и тоже не без восторга, но... Гишпанец — сам-собой и никому больше, как Лифарь. В толковании карт ей помогала Серафима Павловна.

«У Серафимы Павловны глаза были ясные, а улыбка ласковая», так вспоминал потом Листин.

Было около одиннадцати.

Я хотел почитать немного и как раз к случаю «Шарлотту Ш-ц» Дружинина: рыцарская любовь с ее жертвой доведена до последнего — Шарлотта для предполагаемого счастья своего Генриха приносит последнюю жертву: самоубийство. Я рассказал содержа-

ние повести, и как все оказалось зря, — и жертва не помогла, стало быть, жертвой ничего нельзя **создать,** и Генрих так и остался недоноском.

Я заметил, что Серафима Павловна устала, и сейчас же пошел в ее комнату приготовить ей постель и все, что нужно для ночи. Когда я вернулся в кухню, она дремала. Тихонько я разбудил ее. И она хотела подняться, но сколько ни пыталась, ничего не выходит. Трудно было, но с моей помощью поднялась, стала — нетвердо; с болью прошла несколько шагов к ванной. Я подал зубную щетку и воду. Она вычистила зубы и потянулась к полотенцу, но я увидел, что дальше она итти не может, упадет. Я прислонил ее к двери — так мне казалось, прислонил, и тут же из кухни скорее стул и, обняв ее плечи этими моими жалящими пальцами, приподнял ее — что-то во мне хряснуло в спине, — а посадил. И стал двигать по коридору в ее комнату, к кровати. А положить ее на кровать — не справлюсь. Так и осталась на стуле.

Холодно было. Я зажег радиатор на тысячу и стал за стулом. Она пыталась подняться и не раз, и все зря. Так началась первая ночь.

Я выходил на кухню, курил свою горькую полынь (армуаз) и опять становился за стулом. Очень мне было холодно. И когда я так стоял, съежившись и тараща глаза, чтобы не заснуть, мне показалось, что у правой руки Серафимы Павловны, как бы из рукава — присоединилась скрипачка Иоланта Мириманова, наша соседка, года уже два как померла в Марселе. Иоланта смотрит на Серафиму Павловну, вижу глаза ее переливаются, и все лицо просвечивает, а волосы на голове еще чернее, смазаны арашидом, блестят. Я смотрел на Иоланту и говорю себе, что это мне кажется, но сколько я не уверял себя, Иоланта не пропадала: она сидела, пришипившись к рукаву Серафимы Павловны и странная световая струящаяся жизнь играла на ней. Было бы совсем просто протянуть руку

и потрогать ее, но непреодолимая сила сковала мои руки, а окликнуть боюсь, испугаю.

И мне вспомнился случай с Ваталиным: Ваталин одаренный и зоркий — или оттого, что стихи его, как и у других, он бросил писать стихи, а после трепанации совсем как издох: после трепанации черепа бегала у него в правом глазу мышь, сидит ли на Монпарнассе в кафе и она тут, около столика бегает, а выйдет на улицу, и она впереди по тротуару, точно собаченка, и все, как полагается, с хвостиком. Советовал приятель с Монпарнасса, тоже «поэт», завести кота, хотя бы на краткий срок — котов он стал мучительно бояться и даже избегал кошачьего разговору, но чудак не сообразил: может, все это и верно, но кот не капли, в глаз не впустишь. Другой мудрец оказался более «здравых понятий», посоветовал завести пелеринку, в таких пелеринках в Петербурге щеголяли факельщики похоронных бюро. А уж тому мышь житья не дает, на все согласен, и на пелеринку. И как надел он себе ее на шею — представьте себе такую сосульку в пелерине! — ну, мышь и ушла. Стало быть, надо сделать какое-то движение, как должно быть Ваталин, в своей пелеринке, заглянув на себя в зеркало. Не спуская глаз с Иоланты, я наклонился над Серафимой Павловной: она не спала, сидела покорно и кротко и мне было больно смотреть на нее. А когда я поднял голову, Иоланты уж не было. И все мои мысли сошлись к одной мысли: дождаться утра, пройти в гараж, попросить, чтобы пришли и положили на кровать. Такие случаи не впервой, и хозяин гаража никогда мне не отказывал. И когда, наконец, рассвело и начался день — ведь месяц май — и отворили гараж, а выйти мне из дому не легко было: боится остаться одной. Десять часов просидела она на стуле в эту первую ночь.

С понедельника на вторник вторая ночь.

Днем, когда ее уложили на кровать, наша соседка Унбегаун напоила ее **настоящим** кофием, и это ободрило ее, и она стала ждать доктора Аитова, двадцать лет

лечил ее, как в Париж приехали, она ему верила. И перед Аитовым она поднялась. Вечером опять, как утром, приходили из гаража, чтобы положить на кровать. Да положили на левый бок — и что меня поразило, она уверяла, что она так всегда и спала на левом боку, а на самом деле она всю жизнь спала на правом. И все порывалась подняться — и у меня не было сил помочь. А как было бы все просто, если бы я был похож на **человека,** ну как хозяин гаража, или как его товарищ, приходил с ним помочь. И я в первый раз за все эти годы — за все эти ночи возроптал: «Господи, за что это мне!» — я чувствовал свою полную беспомощность, — а это и есть самое что-ни-на-есть страшное, беспомощность. И она слышала и на мой ропот говорит твердо и властно: «не надо роптать». И я вдруг очнулся и мне было очень стыдно; чтобы оправдать свою малодушие, такой уж подлец человек, и успокоить ее, я вспомнил ей из «Хождения Богородицы по мукам» о ангелах, «стерегущих муку грешников», о их муке больше обреченных мучиться: видеть все, чувствовать, хотеть помочь...

А в ночь со вторника на среду, в третью и последнюю дома перед госпиталем, ее последняя молитва-разговор с Богом: голос ясный и твердый, такое не выдумаешь и никаким голосом не передать, так говорили Пророки. «Суди меня и спаси, если можешь!» А какое после ее слов: «спаси!» — какое это было молчание. И в ответ на это молчание снова: «если можешь»! Тут человек поднялся во весь рост, человек за что-то обреченный на боль: — «если можешь»! И потом совсем человеческое, из самого корня существа беззащитно-человеческого: «мне страшно».

Со среды на четверг четвертая ночь — я был уже один дома: своей волей как бы держал я натянутые нити и не мог отпустить, ночь я не спал.

И переговорив себе в который раз все эти ночи, вспомнилось ее тяжелое дыхание — вот только что в госпитале, такое дыхание, я заметил, бывало и в эти

ночи, это всегда после встряски, когда ее клали на кровать, но потихоньку переходило в ровное и спокойное. «Если бы я был около нее, так я думал, она бы и теперь успокоилась». «Да я еще успею, думал я, и она успокоится». И сам боялся взглянуть на часы.

И когда, наконец, я услышал сирену, кончилось, и все встрепенулись, я поспешил на улицу — нелегко это мне, тыкался по коридорам, пока выход нашел. Все-таки я сообразил, что на Порт-де-Версай — там теперь труба, а пойду на Вожирар, и пока добреду — толпа схлынет. И пошел. И уж как подгонял, ноги захлестывало, а все кажется, медленно и далеко что-то, совсем не так, как представлял,—дорога не неизвестная. И когда увидел метро Вожирар, а там оказался плотный хвост, и я было стал, постоял-постоял, не двигаемся, и вышел. «Пешком пойду, не так уж — по Конвансьон через мост, Чижов ходит, ничего». Только иду, замечаю, а все нет рю Саразат, Лев Шестов жил. «Прошел, верно, плохо я разбираю надписи, не доглядел». И дальше иду. И жарко мне стало, я в своих зимних шкурках, и пить хочется. «Ну, думаю, скоро и мост — Пон Мирабо». А странно, когда дошел до моста, Сена вдруг пропала, и какие-то загородки, переплеты, и переходы, и деревья — и я еще подумал: «как высохла Сена». И вижу надпись. Подошел поближе и читаю: «Порт де Версай». Оглянулся, а в глаза метро: Порт де Версай.

«И уж ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно: в ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля, и все, что ни на есть перед глазами, покрывается как бы паутиной. Вскочив на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная, для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая, пора бы ему давно показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей: но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторо-

ну. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город, но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противоположную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе колдуна, а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море» («Страшная месть»).

КОНЕЦ

С глазами, запутанными паутиной, я вернулся домой не в три, как думалось, а в восьмом. В госпиталь поздно, не пустят. Оттого ли, что я что-то сделал: эти самые четыреста франков, — я их завтра же пошлю за газ и электричество, успокоили меня. И завтра же я пойду в госпиталь, и никуда больше, и расскажу о своих мытарствах. Я так был уверен. И до чего это странно: чужая собака в гараже, Мишка, воет, а я успокоился.

Я начал было надписывать денежные переводы в Газовое общество и Электрическое, как вошел знакомый еще по Москве, большой книжник, вот уж такому никак не успокоиться, нынче много на свете таких бедующих, гонимых! И положил на стол сверток: «Туфли, сказал он, для Серафимы Павловны». И меня вдруг кольнуло: «туфли!» — но вспомнив, что у нее не было туфель, ее отвезли в госпиталь в одних чулках, я вдруг обрадовался: будет мне что отнести завтра. Поблагодарил я доброго человека, пожелал ему успокоиться, сам успокоенный и уверен-

ный: и деньги и эти туфли. А должно быть, он что-то заметил — и что безголосый я и что в простых словах запинаюсь и путаюсь — не задерживаясь, ушел.

Не вскрывая свертка с туфлями, я дописал переводы и слепо потянулся к нашему древнему гаданью «Рафлям»: эти «Рафли» осуждены на Стоглавом соборе, отмечены вопросом в Стоглаве (1551 г. Гл. 41 в. XVII), «быть от царя в великой опале, а от церкви отверженному», — ответ. На себя я никогда не испытывал судьбу на этих волшебных Рафлях, как никогда не беру билет в лотерею. Бросил я кости: легли — 611.

«Святый Федор Тирон взял с собою сокола-птицу и сяде на коня своего и поехал в чистое поле, и поимает сокол сокола ж птицу, и возрадовася Федор улову своему. Тако и ты возрадуешися орудию своему, Бог тебе на помощь; аще о болезни или о пути — в пути тебе радость; аще ли хощеши долг взяти, и ты возьмешь, только хлопотно, а врагов своих одолеешь».

Уверенный, еще больше уверившийся в своем «орудии» (деле), вышел я на кухню. «Только хлопотно» — да и как не хлопотно: 400 франков не легко мне достались! Мелькали отдельные слова: «чистое поле» — «сокол сокола ж птицу»: мне было так же трудно думать, как и говорить.

С понедельника она ничега не ела, я давал ей с ложечки кофий и белое вино с сахаром — ей трудно было глотать, но не потому что бы горло болело, а очень неудобно лежала: порываясь подняться, она сползла с кровати на мои сложные сооружения из всяких валиков и подушек и лежала чуть-чуть не на полу; и вот тут я заметил, что ноги у нее холодные. Какое уж там есть! А про себя не скажу, не помню, а должно быть, что ел. Есть мне не хотелось. Было б поставить чайник, да я и поставил бы... да рано еще:

без четверти девять. И присел на табуретку «подумать».

За эти годы мне никогда не удавалось что-нибудь до конца додумать. А теперь я был один и никакой оклик, от которого, бывало, падает сердце, ни птичья приманка, вроде свистульки, завел, чтобы не вздрагивать и выходить спокойно на «птичку», не могли прервать мои мысли. О чем я думал? Я думал смутно, истомно — клубок спутанных мыслей: сегодня — вчера — третьего дня — завтра, что было, что будет, что может быть; но не было мысли «конец».

Я дверей не запираю вот уже три года, и только когда дома, я захлопну, да и то не всегда. За моим гостем я не затворил двери, и потому без стука и звонка вошла наша соседка. Вчера она помогала, когда тащили везти в госпиталь и была единственная, последняя, с кем говорила Серафима Павловна, лежа в амбюлансе, когда я, как всегда, путаясь в расчетах, расплачивался за амбюланс. Анна Николаевна пришла справиться и рассказала про вчерашнее: она заметила, что у Серафимы Павловны не было в лице ее детскости, очень была перепугана; и на ее, что будет хорошо в госпитале, Серафима Павловна ответила: «не знаю, не хуже ли будет». — «Я помолюсь за вас», сказала Анна Николаевна. — «Помолитесь-помолитесь!» — и это было сказано с порывом: так говорят, когда ничего не осталось и ни в чем никакой уверенности и единственное — «помолитесь». А я подумал: «А мне и не пришлось ничего ни спросить, ни сказать, и даже проститься из-за этого расчета с амбюлансом, а сегодня... опять деньги, ну завтра!» И я хотел рассказать, как сегодня я метался, как колдун из «Страшной мести». И хотя дверь была не закрыта, позвонили.

Наш консьерж баск, что-то от лопаря, от лопарского нойды — такой нойда предсказал Ивану Грозному его Кириллин день — консьерж, извиваясь, подал мне письмо.

И я испугался: письмо без марки: опять подумал, какие-то деньги — за газ? за электричество? или штраф? А это было не про деньги, это был печатный бланк из госпиталя. Я понял. Но перечитывал. И не то, что не верил глазам, а от неожиданности: ведь, кажется, все было сказано, а нет... несмотря ни на что, я так был далек от мысли, что так скоро, так чересчур быстро, и недопустимо, невозможно, немыслимо, так сразу наступил —

"Madame Remizov Séraphine est décédée à 20 h. 15 le 13 Mai 1943".

Было девять часов, прошло три четверти: «еще не остыло». И еще светло. И первая мысль: итти сейчас же в госпиталь. Не пустят? На бланке ясно: я все перечитывал — от 2-х до 4-х. Стало быть, только завтра: еще ночь и целых полдня.

Однажды — по призыву в прошлую войну, как ратник ополчения, я провел на испытании в военном госпитале 40 дней и 40 ночей, сколько померло на моих глазах, я все знаю, что будут делать, знаю всякую мелочь и подробность, знаю, как покинуто безразлично лежит под простыней только что умерший, и только завтра...

Отчего в этот час не оказалось около меня никого из «безумных»: ведь, для безумного нет и не бывает нашего «нет»: не пустят? Ни Анны Безумной, ни другой, Любови, эту звали «блаженной». И где, на какой земле или в какой больнице пропадала несчастная Безумная? А «блаженная», мать и пастух беспризорных котов и кошек, с год как из Sainte Anne схоронилась в землянке на «немецком», как она называла, кладбище Bagneux. А Серафима Павловна, как бы она поступила? Да, конечно, как Безумная и как Блаженная.

В последний год войны, в августе мы жили в Ессентуках, пришло известие о смерти ее матери, и она поднялась, сейчас чтобы ехать. Сейчас? И мне

много стало уговорить: война, из Ессентуков до Крут сколько будет пересадок, здоровому не выдержать, а она лечилась, и сколько времени займет дорога? И Короленко приходил разговаривать и доктор Зернов, в его санатории мы жили... А ведь тут: всего дорогу перейти. Не пустят?

Паутина, которая днем кутала мне глаза, теперь опутала мои ноги. Я как сел, так и сидел у стола в кухне и писал письма. Наша соседка Половчанка, она тоже вчера помогала, когда тащили везти в госпиталь, а сегодня ходила со мною в госпиталь — я ведь один ничего не могу! — поднялась к себе на пятый телефонировать, кому можно. Анна Николаевна пошла к Ивану Павлычу: у меня смутно было такое чувство, что если бы пришел Иван Павлыч... И уж совсем стемнело, теперь и для безумных захлопнулись все двери, приехал учитель музыки и Телепень-Овчина.

Я писал письма на бумаге, подарок «Берлиоза», непишущей, что выговаривалось шершавой, на шершуне, перо зацепляло, царапало и брызгало, чернила расплывались.

Телепень-Овчина (его предок Иван был отцом Ивана Грозного от Елены Глинской), князь Андрей с лицом Ивана Грозного складывал, как лоскутья, эти мои невнятные письма в самодельные шершавые конверты и, зачем-то послюнив, заклеивал липким подозрительным гумми-арабиком, путая адреса: Зайцеву Паскаля, а Паскаля Зайцеву, а кому еще и вместо кого, не знаю. Учитель музыки — а для него, по его хворости, что он вышел в такой час из дому, поступок героический — стало быть, можно сделать и что-то сверхестественное и даже без всякого «безумия». А как радовалась Серафима Павловна редкому его приходу, и всегда его вспомнит за его «чувствительность», как она называла, чего как-раз нет и никогда не было у меня; за его верность: как он годы ухаживал за своей матерью, отказавшись от всего;

за верность, потерянную в нашем мире, как и чутье; за инструментальную ясность души, учитель музыки! Костанов, усевшись на «Комедию», от взволнованности, должно быть, а он, я знаю, потерял настоящего верного друга, говорил что-то несообразное. Или мне так послышалось. И, конечно, это не он, а во мне говорилось, выговариваясь сообразно с адресатами: ведь каждый имеет свое лицо, свою душу, свои чувства, будь он выродок, выкидыш или девятимесячный, и у каждого своя отдельная обстановка, несовпадающая с другими, и всякие пристрастия, своя боль, свой страх, своя песня: я продолжал писать письма.

Вернувшаяся Анна Николаевна без Ивана Павлыча, измаявшаяся за день, с выбившимися прядями, позевывала, прислонясь к запрещенной, а когда-то теплой, духовке: она ждала, когда кончу письма, чтобы опустить. Половчанка, телефонировавшая с час и по нескольку раз одним и тем же лицам, склеивала тем же «оболенским» гумми-арабиком самодельные конверты, но без предварительного прилиза. А я поминутно схватывался, не забыть бы кому, и в то же время, зачем я все это делаю, и что все это неважно и не имеет смысла, и не все ли равно, напишу или не напишу, и вдруг промелькнуло, что я давно уже пишу эти извещения, они **давно написаны мною,** и я только припоминаю.

ОМУТ

После одиннадцати все разошлись. И я остался один. Я часто думал, как это бывает, когда остается человек один в таких случаях, и мне всегда представлялся омут, в котором он барахтается и тонет и снова выплывает, чтобы тонуть.

Я пошел в «кукушкину» комнату, развернул сверток и надел «смертные», не мне предназначенные, оленьи туфли. И меня клонит, и нет сил сопротив-

ляться. И было такое чувство, и это как бы пóдстель к моей непродуманной еще и не сказавшейся, а только беспокойно мелькавшей мысли:

«Что есть срок человеческой жизни, люди, звери, рыбы и птицы? Люди, звери, рыбы и птицы, всем нам и каждому отмерен свой век и отпущена своя доля: одним на счастье, другим, как мне, на горькое счастье, а третьим на радость. Ворон живет 70 лет, слон 100 и гусь 100 («коли вó-время не зарежут!» ворвался насмешливый голос), медведь 50, продолжал я, лисица 20 («очень нервная, да и с этаким хвостищем!» заметил кто-то), а пискарь, сереброчешуйный наш пискарь, где-нибудь в подмосковной за Яузой, по желтому песку, в серебряной Синичке, целых 300 годов!» («На наш век если, так всего на 13 лет будет моложе царя Ивана Васильевича, так?»)

Но мысль о госпитале пламенем слизнула все мысли и ясно увидел я в палате № 5 в углу под простыней...

«Я помню, кто-то будто повел меня за руку, со свечей в руках, показал мне какого-то огромного отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо — которому все подчинено от гориллы до человека и от человека до Сына человеческого, этого самого высшего и совершенного, что только дано было землей на земле, — и смеялся над моим негодованием».

«А по Гоголю это и есть Вий, темная, наглая и бессмысленно вечная сила», перебил я Достоевского. И ткнувшись в ворох бумаги, в которой были завернуты «смертные» туфли, вдруг я очнулся.

В моих глазах все было скомкано, стиснуто, сдавлено и перевернуто; все казалось разбросанным, раскиданным и рассыпанным. Я не хотел тушить свет, — «но почему же?» — и щелкнул. В темноте, не раздеваясь, я прилег на этот свой диван, на котором провел, потом я подсчитаю, 1075 ночей «ночного дежур-

ства» без перерыва или, как теперь говорят, «без выходных».

И вдруг мне вспомнилось, как однажды, это было зимой незадолго до войны, утром я проходил по двору госпиталя (тогда самая дорогая клиника); из главного здания, где бюро, служители в белом тащили кровать и на кровати, прикрытый одеялом, лежал — и я подумал: «так легко простудиться», но это тащили шакалы и не в другое здание, а в мертвецкую; лицо мне показалось очень знакомым по портретам, только не мог вспомнить, и сказал себе: «шикарный француз!» А теперь я понял, необыкновенное сходство: Мюссе — Alfred de Musset. Стало быть, подумал я, завтра надо пораньше встать и прямо итти в госпиталь и никуда там, только к лестнице главного здания, и как вынесут, я увижу и пойду сзади тихонько, никому не мешая, это не предусмотрено и часов на такое нет, не отгонят же, я им все скажу, в самом деле, я не собака, и как же так, даже если бы и собака, собака тоже понимает и чувствует, а как чует! звери, они чище нас, разве звери мучают друг друга. Альфред де Мюссе, «La nuit de Mai», Жорж Занд, Шопен, Равель — Равель помер в этом же госпитале, тогда клиника, и Лев Шестов, и я не раз ходил навещать профессора Легра — после «второй» операции у него появились странные замашки, прыжки и ужимки, он мне читал свои переводы из Гейне. «Кто-то постучал в окно. Какое бледное лицо! Кто ты? — Я май»... И я иду по зеленой дороге — зеленая земля кусками влажная — «сырая», присел на дерновник подумать: «куда мне теперь идти?» А надо куда-то, вон и автобусы. Только это все не наши, нам в другую сторону. И откуда ни возьмись Анненков, в руках зеленая папка: рисунки к «Ревизору». А «Ревизора» и нет никакого, это Евреинов, на ногах рыжие потрепанные ботинки, каши просят. «А крысы холодные, — нагло сказал он, поддразнивая кого-то, — когда на голое тело прыгнет, холодная»! Но не

успел я подумать, что в «Ревизоре» про крыс не так, из папки механически поднялся Михаил Струве в валенках, лицо Рылеева и что-то от Котофея, нет от Миши: поблескивал медвежьим глазом и покачиваясь, как тень отца Гамлета, — и мне послышалось, что он сказал, и я, сделав страшное лицо Гофманского крысиного короля Кавдаллара, повторил за ним эти страшные, понятные только мне и моему озабоченному «фейермэнхену», и само-собой и Достоевскому: «Ich bin alles zermalmendes Raubtier!» («Я всесокрушающий лютый зверь») и вспомнив массажистку, она меня массировала после «зоны», и за свои крепкие руки называла себя «лютая зверь», я схватился, не пропустить бы в госпиталь! — и со всей осторожностью в полутьме, держась за перила, спустился по лестнице и совсем незаметно мимо консьержки вышел на улицу и прямо к госпиталю. Чуть еще рассветало, и с моими глазами я как плыл. Калитка была не заперта, и я прошел во двор и прямо к главному зданию, где бюро, и у лестницы притаился. За дверью незаметно было никакого движения — или очень рано? — и бюро закрыто. Я стал всматриваться в дверь и выше — смотрю на лестницу, и через коридор, и вдруг вижу в углу на кровати в зеленой кофточке турецкими бобами — вчера я ее заметил, когда внесли Серафиму Павловну в эту палату — она похожа на «безумную», которую называли «блаженной» — черненький зверек на кривых ногах; она приподнялась на локтях — так приподнимаются звери настороже, чтобы или броситься или улепетнуть; она меня еще не видит, но чует мои глаза. В это время дверь отворилась, и шакалы в белом тащили кровать — но теперь через открытую дверь она увидела меня, и я встретился с ней глазами, и не испуг, не ненависть, я почувствовал в ее глазах, а сверлящий укор. И проснулся.

В окно, в щели занавесок глядело солнце. Неза-

веденный будильник остановился. Я сразу сообразил, что поздно, проспал. И вдруг услышал — а как медленно и неуклонно звонили часы: 10 часов. И в другой школе прозвонили, и опять — 10 часов. И слышу, это далеко, на Eglise d'Auteuil чуть доносит, а ясно — 10 часов. И не зная, куда девать мне глаза, в смятении я поднялся. Все кончилось.

ТУДА

В четверг 13 мая 1943, в неделю «Жен мироносиц» (3-ья по Пасхе) в «отдачу часов дневных» — на закате солнца, в госпитале «Ambroise Paré», 12, rue Boileau, XVI, в общей палате №5, после трехлетней, с кротостью оттруженной страды, тихо скончалась Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, проведя одну ночь вне дома, 7, rue Boileau, XVI, без меня, без моего глаза и моей воли, без своего креста и Евангелия, вне своих бисерных и книжных стен, где три весны загорался в окне белыми рождественскими свечами зеленый каштан и три коляды горели рождественской звездой на елке и три красные Пасхи трижды пропели «Христос Воскресе», где в черные дни и беспросветные бессонные ночи и в самую ледяную, не парижскую, зиму оберегали ее от отчаяния ее любимые книги: Пушкин, Толстой, Достоевский, Тютчев, Лермонтов, Некрасов, Блок.

Не забыть мне холодное нестерпимо-блестящее утро — 16 мая, день похорон. Нет, я не проспал: я ведь все мучился, что просплю и опоздаю на вынос, со мной все может стать. И как с вечера взял в руку кипарисный крестик и образок, чтобы в гроб положить, так и заснул темным приглушенным сном. Нет, никто меня не будил. С солнцем я поднялся — беспощадный блестящий свет рассеял сон. И всю мою жизнь, всю нашу жизнь, я увидел до мелочей — и самое мучительное, самое яркое, самое кричащее по-

гасло и затихло, как срезало. Остался вчерашний день. И какое оно было долгое, это вчера, оно одно только и было — последний день. Свет, осветивший мою — нашу жизнь, обнажил меня, и чувствую, как и кожу с меня сдирают, а не жжет, только холодно очень. И вдруг я почувствовал, что я как бы вырвался из себя: странно, но это так, я уже наблюдал над собой. И нас стало двое, я видел его — себя, он был совсем обескровлен, кусок худого мяса, и все-таки повелевать ему я не мог.

Когда пришла Пелагея Ивановна — это видение из Блоковской «Незнакомки» — с ней и ее семьей у нас много прожито, очень — и горького и надежд, — я так и думал, она придет, я ее ждал, она очень удивилась, что он уже готов. Она застала его на кухне с зажатым в руке крестиком и образком. Кутаясь в эмпермеабль — подарок первого танцовщика Опера̀, — он жаловался, что ему холодно, руки у него посинели, и не опоздать бы. Он все смотрел на часы, чтобы не опоздать.

И я вспомнил — очень давно это было, в Пензе, в мою первую ссылку, — такой же блестящий май, чуть только солнце взошло; мое окно во двор — и там кто-то помер из соседей, сегодня день похорон; а проснулся я не-свет-не-заря, странная ритмическая речь разбудила меня: это был не плач, не рыдание, а разговор с самим собой, выбивавшийся ритмической речью. Слов я не мог разобрать, но и теперь во мне звучит эта разговорная нить, как бы я сам говорил. Как бы я сам говорю.

И они вышли: «Незнакомка» из Блока и он в эмпермеабле первого танцовщика Опера̀. Торопились. Я несся вслед и наблюдал за ними. Как выгонят зверька из норки — бежит такой, хвост поджал — так шел он: все отняли, иди куда знаешь — и он идет, ничего не поделать, глаза не в землю, глаза не в небо, а так, в-разбег, и кто-то подхлестывает и грозит: «молчи!» Надо покориться, ведь это такое, ничем не

умилостивить и нет никакой надежды поправить, — «молчи!» И некуда больше пойти спросить, как последнее спрашивают: «так, как же?» — «Молчи!» Не знаю, что и делать... Они остановились: налево или направо? Сюда. — И уж некому сказать это! «Господи, за что это мне?» — потому что не человек его выгнал, и никакой другой зверь его турнул, и хочешь-не-хочешь, а нельзя не... — «молчи!» Молча они вошли в мертвецкую.

И он сейчас же о крестике и образке, но никак не могу завязать крест — очень высоко, и уж крокмор — сторож, как вчера на Костанове развязавшийся галстук, легко завязал на шее крест и положил на грудь образок. Да, ему никак не достать! Он потянулся рукой и погладил ее по голове: волосы были сырые, расчесаны — «Ну, вот!» — сказал он сухими губами. — И все». — «Нет, не все! — я крикнул ему — это прикосновение ТУДА...» Он вздрогнул, и не понял, но я-то знаю, вспомнит... когда-нибудь в веках при встрече вдруг вспомнит и узнает. И когда священник вполголоса — не разобрать слов — прочитал молитву и благословил последним, ему привычным, благословением, я видел, как он — священник посторонился — подошел поближе к гробу и, точно держа в руке пуды, с усилием поднял руку, и медленно, так медленно — тяжесть-то какая! — и неловко перекрестил. Как чугун, черный висел этот крест в воздухе — я все видел — и не пропадал над еще открытым, еще живым гробом. И тут мне послышалось, что-то как бы крикнуло и оборвалось— а это задвинули крышку гроба: небо закрылось. И все поплыло как-то само собой впотьмах. Он подошел еще ближе и стал рассматривать надпись на крышке гроба: ему так не написать! — но его оттеснили. И когда несли гроб из мертвецкой на улицу к автомобилю, ему казалось, что он бежит: вид у него был нищего и «шикарный» эмпермеабль танцовщика не красил, а еще более выделял его нищету.

Это было утром в воскресенье — 16-го мая. И после обеден, в 3-м часу дня в нижней церкви на Рю Дарю отпевание. Пел хор Афонского — 3-ий глас.

Когда запели «Христос Воскресе» меня полыснуло. Я никогда не думал, что можно так крепко ударить. И как от толчка, я пришел в себя. И слышал, как под трехкратное, щемящее сердце «Христос Воскресе» завыла сирена. Прежде я непременно бы подумал, что и она отозвалась, но теперь, как завеса закрыла все, мне было очень смутно. А как стал на колени — «Со святыми упокой», лопнула у меня подошва, это я понял, и это было единственное из жизни. И опять слышу сирена — конец, и под сирену опять «Христос Воскресе». И до чего все скоро — вот и конец. Это было, как в сказке: прошли три года, а показалось за три минуты.

И когда перед гробом я в землю поклонился — на Воздвижение, как крест выносят, на «Господи помилуй» полагается сто поклонов, по поклону на каждое «Господи помилуй», а это была — так я чувствовал — тысяча в моем одном — за все, что мне открылось в моей жизни, в нашу жизнь, и за науку — верю, и Там... — и просил простить, если можно... за все — и за то, чего не сделал, забыл или не успел сделать, и за то, о чем во время не догадался или сразу не понял. И не холодный камень-плиты, к теплой черной земле прикоснулся я всем лицом, всю-всю-всю я ее тронул, «сырую-землю».

Кто-то, подойдя ко мне, сказал, и слово его прозвучало мне, как приговор: «несчастный!» И я глубоко затаил в себе это слово, как Раскольников свое «убивец». С народом я вышел из церкви покурить, очень было мне зябко.

И опять дорога. Когда ехали из мертвецкой в церковь, только и заметил: Триумфальная арка — Этуаль; а из церкви на кладбище — порт д'Орлеан. Должно быть, всегда такая спешка: рожать и умереть, на

свет и с глаз долой. У остановки автобусов приостановились. «Покойника везем», подумал. И дальше — к кладбищу. По дороге подобрали троих, кое-как разместились: кто на одной ножке, кто плюхнулся на колени, — и дальше, так-скоро, так-скоро; ни одной мысли, и только это «скоро» в лад с автомобилем.

Могила смотрела совсем не страшно, вот уж никакая «вырыта заступом яма глубокая». И земля — песок. И тишина. И была она ничуть не грозная, а тихость.

И когда в могилу опустили гроб и также легко и тихо, без всякого бодлэровского жгута веревок, мне подали алую розу — и я узнал ее, эту рождественскую, вещую алую розу, кто-то тогда зимой мне принес... («человек, одетый в черном»). И вдруг я увидел высокие «ослопные» свечи в церкви по углам гроба — торжественный взлет к небесам, — мои глаза без «вчера» и «завтра», как во сне, насквозь, и я бросил ее на гроб — на грудь к затихшему сердцу, эту алую живую воду. Телепень-Овчина — русскую землю, берегли 22 года, из Таврического сада, и щепотку с Москвы. И почему-то очень долго закапывали. Семеро нас — мы нетерпеливо стоим вокруг могилы.

Прощаясь, я подумал: «теперь и у меня земля под Парижем», правда, на пять лет, но не все ли равно, ведь это срок испытаний, мера пробы — «пять» и по Гоголю и по Достоевскому, значит, по-русски — на «вечно». И как в мертвецкой на крышку гроба, так на могиле я заглянул на крест, и надпись меня остановила. И я подумал: «И это все, что осталось от человека, эта одна, да и то только мне звучащая надпись!»

Дома, не раздеваясь — я все еще, как утром, в эмпермеабле первого танцовщика — я вошел в покинутую комнату: все та же бисерная стена и книги, образа в углу, стол, кровать, «Я вернулся, сказалось во мне, а она не вернется, неизвестно, куда ушла, и никогда не вернется!» И в первый раз я так глубоко заглянул — какая беспросветная пучина: никогда.

Еще в церкви Резников передал Телепень-Овчине **настоящего** чаю и табак. Резниковским чаем и поминали. И я курил. К вечеру Ростик Гофман прислал блинов из **настоящей** белой муки. И все, кто заглянул в этот день в «кукушкину» — а кукушка остановилась, не кукует, — получили по блину. Блины я смазал медом, правда, не на все попало, но на всех был дух медвяный. Хожу из кухни в «кукушкину» и из «кукушкиной» в кухню, и сам не знаю, чего ищу.

И когда я остался один, было очень тихо, только не скажу, чтобы была тихость. Да и вообще никакой тихости не было, я теперь это понял, а затаенность до столбняка. Я пошел опять в ту комнату, присел на свой просиженный, пролежанный диван. В окно заглядывал слепо погасающий вечер, стекла не светили.

В комнате было темнее, чем на воле. И в сумерках по углам затаилось: они мне виделись из каждого угла: одни указывали на меня пальцем, другие серыми волосатыми мордами, скорчившись, делали «моську» — их вытянутые губы бледно алели; третьи — гладкое, как страусово яйцо, на вздрагивающих тоненьких ножках, они равномерно подымали и опускали свой липкий хвост; четвертые сидели на корточках, подперев скулы, если бы им был дан голос, они бы скулили; пятые — с продолговатым редькой лицом, птичий нос и острые серые глаза: они читали мои мысли с первого дня до сегодняшнего и, пристально глядя, допрашивали меня, я и без слов понимал их, — «да-да-да, отвечал я, но что же я могу сделать? и разве можно что-нибудь вернуть?» И тут один вышел, подбоченясь, волк, а из пупка спиралью пучок седых волос: «Что же собственно, произошло — в конце-то концов? — стащили в госпиталь, чтобы передохнула ночь, да неизвестно, как еще передохнула? — и он, давясь, высунул острый алый язык, — чтоб на следующее утро стащить в мертвецкую, а из мертвецкой, отпев со све-

чами и ладаном, на автомобиле шикарно примчать на кладбище и там бросить в яму»:

«...со святыми упокой...»

И разом всем паучиным сдохлом метнулись они под потолок и потемнели и, наливаясь тьмою, тяжелые, грозно протянули руки: и это были не волосатые лапы сумерек, а человеческие живые карающие руки. Я поднялся и, крепко сжимая себе руки, пошел к двери: «я тоже больше сюда никогда не вернусь!»

В «кукушкиной» я «закамуфлировал» окно, — задернул все занавески, зажег свет, сделал себе постель на сомье, в углу под кукушкой. И хотел записать в дневнике — начал я его, как отвезли Серафиму Павловну в госпиталь, для нее: встречи и сны, — взял я эту тетрадку и остановился: писать больше некому. И положил тетрадь к моей «Отходной». А любопытно было, и я заглянул на последнюю страницу этой «Отходной». Рисунок: лежу, как в гробу; и подпись: «лежу на правом боку, за левым ухом бутылка, «двойное» вино — с горлышка красное, со дна белое, и не одинакового качества». И другой рисунок: птица летит: и подписано: «птица, длинный зеленоватый хвост, алая грудь, ее посадили в кастрюлю с водой, я ее вынул, погладил: крылья у нее сырые». И вспомнил: «волосы сырые, расчесаны». И в глазах остановилось — в гробу: что-то торжественное и нарядное. И что-то досадное — «какая сила дала вам так распоряжаться человеком? Вы!» И как бы в ответ мне туловище без ног и без головы вдруг вскинулось в глазах и кивает: «Мы! мы!» И я закрыл «Отходную».

Да, вспомнил, надо хоть какой-нибудь порядок навести, — весь мой стол завален и все перевернуто. И я шарил по столу. И попался листок, не моя рука: «приход-расход» — Чижов распоряжался похоронами; и вижу, на «приходе» первым мое обручальное кольцо написано — 500 франков. Какая судьба: венец и гроб. Что-то от Шекспира, роковое. И в глазах:

старая тесная Всесвятская церковь, горячее июньское утро, все золотое, старинные распевы, «Исайя ликуй» с хождением «посолонь» вкруг аналоя, красное вино — мы венчались в единоверческой церкви. И это как один кратчайший миг. И снова вижу: то же солнце, но не жаркое лето, а «веселый май», все золотое, колыхаясь, несут к могиле гроб; так медленно... до веку неизбывно.

А какая долгая была эта моя первая ночь: я все схватывался — чего я не сделал, забыл или не успел сделать. И, забываясь, вдруг пробуждался и слышал — я слушал, как кричало голосом «Детской» Мусоргского откуда-то из подушки, из самой под-подушки, беспощадно.

ДУПЛО

Наступили будни. Предстояло самое для меня мучительное: хождение в мэрию и префектуру; и там поиски комнат — с лестницы на лестницу и из коридора в коридор — и, конечно, попал не туда; или от стола к столу, не понимая вопроса и отвечая невпопад; и еще мне предстояло отвечать на праздные вопросы: еще когда Серафима Павловна лежала в мертвецкой, меня спрашивали: «собираюсь ли переезжать на другую квартиру или остаюсь?» — и советовали, не помню, что советовали. Я был в мэрии, сдал продовольственные карточки, но какую-то забыл, и завтра мне опять итти; уходя, я каждый раз замечаю и комнату, и коридор, и лестницу, а непременно спутаюсь. Разбирал вещи, тихонько разговаривал — Francis Jammes меня поймет. Да, вещи живут: одни я боялся тронуть, а других чуть касался — по ним восстановляю жизнь.

В глубокие сумерки, проходя по коридору, я вдруг почувствовал у дверей покинутой комнаты что-то загораживает мне дорогу и, вздрогнув, поднял руки — тень, темнее сумерок, рассеялась. Мне было не стра-

шно, а очень трепетно. И я стал ходить тихонько, и если бы говорил, то шепотом.

Скоро полночь, я собрался ложиться: мне надо непременно выспаться. И прибрав на кухне, — вымыл посуду, поставил чайник, — я вернулся к себе, в «кукушкину». Я зажег на столе лампу — зеленый абажур при бомбардировке развалился и только к лицу целый, и получается двойной свет: ко мне зеленый, а туда — в глазах рябит, — и обернулся. И вижу, на белой двери через коридор тень — моя тень, и вдруг увидел: другая тень, она крылом покрывала меня, чернее моей.

На третий день я получил в госпитале крестик и, завернутые в головную сетку, четыре платка и белый гребень — все, что осталось. В обеих руках нес я от госпиталя через улицу домой и дома положил себе на стол этот с крестиком комочек — все, что осталось.

И в эту ночь, когда я погасил лампу и лежал, не закрывая глаз, вдруг над столом осветилось — и белый блестящий шар, вспыхнув, погас. И я погрузился в глубокий сон.

Комната с бисерной стеной, полки с книгами по стене и стеклянный шкап с книгами, но все гораздо обширнее и потолок выше, а окно во всю стену и из окна далеко даль, и в самой дали над крышами, трубами и пустырями разливается трепещущее зарево. В соседней комнате — мне и это видно через стену: Чижов с Бутчиком, Чижов еще выше — под потолок, а голова у Бутчика, как цифра «8», оба в серых мышиных халатах, над книгами что-то делают — два тяжелых длинных ящика. И знаю, чего-то они боятся: или, что это ночь и свет: такой — лунный. Чижов, согнувшись, входил в комнату и, не глядя, еще согнутее, незаметно пропадал. Мы стоим рядом лицом к окну: она в белом и вся светится: платье, лицо и руки — приподнятые руки — глаза и улыбка — в розовом блеске, такой блеск я помню у Рублева. И одно мне странно, — ведь стоим рядом и, кажется, плечо-к-плечу, а вижу ее, как издали, и не подаст голоса.

Через 40 дней. Как быстро прошли эти «мытарские»» 40 дней и 40 ночей! На могиле цветы засохли и один только черный «казенный» крест на сером песке — перепевшая песни черная птица — сторожит. Все эти дни и все ночи я писал — очень трудно после трехлетнего перерыва, слова не поддаются, а потом, когда и приходят, разве это то? — и сколько такого, чего и не выговоришь.

А кладбище — Bagneux — и вправду «немецкое», наши московские Введенские горы в Лефортове: последнее, самое бедное место: дивизион 70-й, а все те же цветы, как и там, у бессрочных в 1-м, и птички какие-то перекликаются, даже больше их тут, там камень и плиты пугают, и твердо.

После кладбища всю дорогу навязчиво повторялись стихи Андрея Белого, их когда-то в Петербурге пел Андрей Белый, а сколько раз потом читала Серафима Павловна: «я вышел из бедной могилы»...

Я сел на могильный камень...
Куда мне теперь итти?
Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень нести...

Я шел пешком, устал и не помню, что и приснилось. Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей вдруг слышу — так ясно и просто зовет...

И уж на яву, прислушиваясь к моей звучащей памяти и в ней различая этот голос — он звал меня так ясно и просто, — я подумал: «вот однажды на оклик проснусь, и все, что было, окажется только сон был». И это так, как с болью когда-то думалось, что вот проснусь и окажется: Россия — я в России, а все эти годы здесь лишь сон был.

Но странно, или так всегда бывает и иначе не мог бы человек вынести разлуку, с годами этот сон, я чувствую, меня окутал, и все плотнее, и порой мне снится, что Россия — это только мой волшебный сон.

ПОД ОГНЕННОЙ ПОТРАВОЙ

Есть две памяти: красочная — глаза, и звонкая — слух. Глазатая память моих «подстриженных глаз» опасна, не всякий вынесет, немудрено и «изойти». Меня спасает мой вглядчивый слух: и как услышу голос и тотчас вернусь к жизни — и мертвое в моих глазах оживет.



Из какого далека глядит на меня Розик, а вижу его, как перед собой.

Розика все знали и не только на нашем дворе, а и за воротами до Камушка — камень такой лежал в Сыромятниках на тротуаре около мелочной лавки, черный хлеб покупаем. Откуда к нам попал Розик, не могу сказать, но сразу обратил на себя внимание. Все про него говорили: «аккуратный», и в пример ставили. И правда, от него в доме у нас точно вымыто — чистота поддерживалась этим Розиком.

Лисья мелкая мордочка на пружинных ножках, и никогда не бегает, а идет, и всегда осматривает, проверяет порядок, и сам такой блестящий — на нем все чисто вычищено. И поздоровается, встречая — так своей звериной грустной мордочкой поводя, наклонится: «здравствуйте!» И пойдет себе.

Розику был коврик, и на этой теплой подстилке он отдыхал после обеда. Тихонько я подхожу и присаживаюсь на корточки около. Если спит, всегда проснется и глазами так сделает — узнал! — и подвинется: он чувствовал, что я к нему в гости пришел. Я с ним разговаривал — поглажу его по брюшку или за лапку возьму, коготки чистые: «где был, спрашиваю, что видел», — и о своем ему, о своих «походах» и о раздумьи своем. И в глазах его вспыхивала понятливая искорка.

Розика никогда никто не трогал. Даже в сердцах, когда человек и в самого себя готов пырнуть или шваркнет чем ни попало. Что-то останавливало и дру-

гой раз этот сердцовый толчек угодит в кастрюлю, кочергу, табуретку и совсем не близко от Розика, стало быть, сама рука отвела.

Шел Розик по двору и как всегда, внимательно приглядывался, а какой-то, был у нас дурак верзила, Дрока кличкой, ухватя полено, здорово-живешь в Розика прямо по ноге ему хвать с розмаху.

Вечером Розик лежал на своем подвернувшимся коврике; за день и поправить ему не было ни сил, ни охоты, он и к еде не притронулся: очень больно. Лунный студеный вечер плыл за окном. Я наклонился, подул теплыми губами, потом погладил его больную лапку — горячую. И он, вздрогнув, посмотрел на меня — глаза полные слез. И эти слезы, не иссякая, кипят в моих глазах.

Она стоит на углу 14-ой линии и Большого проспекта, ее лицо открыто — русское, глаза нездешние и сразу скажешь, больна: по отеку, и ни кровинки, и ноги, чай, опухли. Она очень бедно одета, но «аккуратно» — все-то на ней подштопано и приглажено. Ее тонкие белые губы крепко сжаты, она ничего не скажет, она только смотрит. И не было человека, кто бы проходя ни остановился подать ей, и в самые злые тиски, когда нечего и самим было, ей подавали. А потом она пропала, долго ль больному надо? такая была ледяная стужа — 1919-ый год, Петербург.

И вот опять она на своем старом месте, стоит.

Я видел проходя, как какая-то — конечно, одна из тех, что навещала в леднике ее, рассказывает что-то свое и с такой мукой рассказывала, сводя горькие брови. И она ей что-то ответила, слова не долетели до меня, но ясно вижу, как тонкий луч засветился в этих нездешних глазах, и та, которая с такой мукой о своем рассказывала, тихо заплакала.

И я, весь подтянутый, отошел, почти не касаясь земли, боялся шагами своими спугну этот свет. И этот свет сияет в моих глазах.

И я пронес через всю мою жизнь и этот живой свет и те замученные слезы. И вот, под огненной потравой, все погасло: мертвое лицо закрытыми глазами смотрит на меня из ночи...



После трех лет невольной передышки я набросился писать. Сначала было очень трудно, понемногу вошел, и все лето и осень пишу, не прерываясь. И пока писал, я видел перед собой живого человека, слушал и отвечал, но как только я кончил и тотчас очутился в мертвецкой. Дверь за мной закрылась, и я почувствовал, что на волю мне никак не выйти. Мертвое лицо неотступно в моих глазах.

То, что совершилось, так тому и надо было быть; и наша жестокая судьба, но так, значит, оно и должно было быть — а принял сорок лет нашей жизни, а не мог помириться с пятью последними днями: со среды, как повезут в госпиталь, и до утра воскресенья, когда из мертвецкой в церковь.

Переговаривая и передумывая эти дни, я осуждал себя за то, что не сделал или не успел или не так сделалось, не по-моему. И, пусть этих дней вернуть нельзя, мысль о этих днях, как о вернувшихся, не останавливается.

Перед сном, лежа, я читал часа два. И весь был в книге. Но как только погашу свет, я попадаю в мертвецкую и, под мертвыми без взгляда глазами, оживает мысль о непоправимом. Так из ночи в ночь. Бьют часы, разговор на улице, но и самое неистовое — огненный громых по аэропланам, меня не освобождает. Только под утро провалюсь в сырую яму мутного сна. И целый день потом брожу заморенный, засыпаю где придется и как попало, крутя папиросу, вдруг или с зажженной спичкой в руке. И только пью с жадностью глотая кипяток, ненасытная жажда.



Человек может вынести даже сверх своих сил, тут какой-то закон ссуды, что потом непременно взыщется. Но есть предел всякому терпению. И когда последнее, уже сверхмерное, исчерпается, тут или глухая черная пропасть или какой-то взвих и выход из себя, раздвоение, но не двойник, а над моим же растерзанным «я» взблеск моего властного неколебимого «и-а» (я).

Я видел, как лежал он с открытыми глазами, упорно всматриваясь. Ярко падал свет на его лицо — всеми мускулами напряженное к слуху: он прислушивался к шороху, окликам и затаенному нашептыванию ночи, которая никогда не кончится; ему что-то смутно звучится. И вдруг его губы ярко окрасились и беззвучно зашевелились. И розовые капельки взблеснули на его лбу и на груди.

Я следил — все мои чувства превратились в глаза: это я — сам я лежал, прислушиваясь. Я больше чем он, я дальше вижу и знаю глубже, моя память бездонна. И эти взблескивающие розовые капельки на его лбу и на груди, я помню.

И глядя в глаза ему, я читал слова Лескова о исступлении человеческой воли перед непоправимым, напряженнейшей до кровавого взблеска — вернуть.

«Да, эта красная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданных мне бумаг, была ничто иное, как «кровавый пот», который я, в этот единственный раз в моей жизни, видел своими глазами на человеке. По мере того, как этот худой, изнеможенный интролегатор (переплетчик) размерзался и размокал в теплой комнате, его лоб, с прилипшими мокрыми волосами, его скорченные, судорожно теребившие свои лохмотья, руки и особенно обнажившаяся из-под разорванного лапсердака грудь, — все это было точно покрыто тонкими ссадинками, из которых, как клюквенный сок сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими

и росистыми каплями красная влага... Это видеть ужасно!»

«Кто никогда не видел этого кровавого пота, а таких, я думаю, очень много и есть значительная доля людей, которые даже сомневаются в самой возможности такого явления, тем я могу сказать, что я его сам видел, и что это невыразимо страшно. Это росистое клюквенное пятно на предсердии до сих пор живо стоит в моих глазах и мне кажется, будто я видел сквозь него отверстое человеческое сердце страдающее самою тяжкою мукою — мукою отца стремящегося спасти своего ребенка... О, еще раз скажу: это ужасно! Я невольно вспомнил кровавый пот Того, Чья праведная кровь... и собственная кровь моя прилила к моему сердцу и потом быстро отхлынула и зашумела в ушах. Все мысли мои, все чувства точно что-то понесли, что-то потерпели в одно и то же время и мучительное и сладкое. Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый исторический символ».

Ай-и люли да ще люли,
Прилетели сиры гули,
Да посели на воротех,
Во червоных во чоботех...

Он провел рукой по горящему лбу, не стирая розовых блестков, а точно опрастывая место для встрепенувшейся мысли — далекая память: Петербург.

Осень — серый вечер — над опустелой детской кроваткой (Наташа не с нами). И разве мать может забыть? И разве я могу забыть материнскую боль, ее разлуку? Ганна, девочка-нянька поет, тоскуя по своей черной земле: «Ай-и люли»... И эти слезы — это горе — эта завязь боли.

Я следил за ним — за его мыслью.

Его измученная мысль была на верном пути: пробивая дальнюю память, звуча, неслась она сюда — по-

следние земные дни. Он лежал как звереныш, щуля уши в густой перепадающий туман звуков.

Самое дальнее за эти годы: «Нувель Ревю Франсез» и «Комедия»: Марсель Арлян, Дрие и Полян — моя единственная связь с миром. Я без сроку в очередях по лавкам в кругу бешеных баб: добываем себе корм — все мы, я чувствую, не больше как запуганные голодные скоты.

И всякий раз, как мне уходить в тот другой мир — человеческий — не ближний конец, С. П. очень беспокоилась.

Незадолго до Пасхи, после большого перерыва, я собрался в свой дальний путь. И, как всегда, на прощанье крестя, она остановилась. И вдруг с необыкновенной силой, горячо и крепко и с какой-то едкой болью, точно отрывая живое, повторила, трижды крестя большим крестом, по-русски: «Христос с тобой!» И это было ее последнее мне в путь — ее последнее благословение и завет чистого сердца.

«Христос с тобой!» прозвучал голос и мертвое лицо осветилось живым светом.

И тогда двери мертвецкой распахнулись и на волю освобожденный я вышел: в глазах был не мертвый, живой образ и живой голос звучал последним напутствием на лад и путь — простор.



Этот голос я слышу и по утру и на ночь, в вечерний смутный час и среди бела-дня вдруг. Или когда что начинать или в трудное раздумье. Я знаю, мой прощальный взгляд — его покроет этот материнский голос в последний путь.

ЗАДОРА

ЗАДОРА-ДОВГЕЛЛО

По отцу «Оля» — Серафима Павловна с Литвы, Довгелло. Герб Задора: «голова львова, сера космата с огненной пастью в поле блакитном».

Трокский воевода, староста Виленских замков, Явнуло — с него и начинается родословие — держал сторону Ягайлы в войне с Кейстутом; крестился в 1386 г. в Кракове, а до тех пор, как все литовцы, исповедывал веру друидическую кельтов. Память о нем хранит сооруженный в Вильне костел св. Михаила, имеется доска.

Сын Явнуллы Ян, литовский хорунжий, участвовал в войне Сигизмунда против Свидригайлы, отличился в битве под Вилькомиром и получил прозвище «Довгелес», что значит «великомогучий». От него фамилия Довгелло.

Брат Яна Довгелло Александр, кастелян виленский и гетман литовский, погребен в Виленском кафедральном костеле, в пределе св. Троицы, сооруженном его сыном.

Довгеллы держались своего литовского корени. Их родня Гедройцы, Гастольды, Нарбуты, Добжинские, Мицкевичи, Бошовские. А с веками (XV, XVI, XVII в.) украинизировались, породнясь с черниговскими соседями: Лизогубы, Скоропадские, Кочубеи, Василенки, Милорадовичи, Товстолесы, Отрады, Ковалевские. Говорили не на языке «смердов» — просторечии Шевченки, а на высоком книжном Памвы Берынды.

Родовая вотчина Довгелл, жалованная Ягелло, село Берестовец, Борзенского уезда Черниговской губернии. В соседстве с Батуриным, столицей левобережной Украйны. Места описанные Нарежным в «Барсуке» и отчасти Гоголем в «Вии».

На селе старинный замок, по восточному, с башнями. В одной из башен архив и библиотека.

Архив разнообразный, среди фамильных документов попадаются и сторонние — из Батуринского дворца. Королевские привилегии, царские грамоты, семейные письма, деловые бумаги: позовы, указы, формулярные списки, сговорные, судебные выписки, купчеи, квитанции, свидетельства, заменочные письма, объявления.

Библиотека — богатое книгохранилище, собранное поколениями. Книги польские и русские. Польские по латыне и по-польски.

Из старых польских: Нарушевич, Красицкий, Немцевич — о них поминает А. Бестужев-Марлинский в письме к матери из Полоцка 1821 г.: «учась по польски, разрабатываю новую руду для русского языка».

Киевское цветоречие — «трубы словес»: Петр Могила, Захария Копыстинский, Кирилл Транквилион-Ставровецкий, Исаия Копинский, Лазарь Баранович, Иоаникий Голятовский и сам Памва Берында: «Лексикон словено-русский, Киев, 1627 г.» — тоже новая руда для русского языка — корень серебряной Гоголевской речи. (Проза Марлинского и Гоголя из польской памяти!).

Со временем книжная казна пополнится Новиковскими изданиями: «Древняя Российская Вифлиотека» для познания отечественной истории; и мистические книги для умудрения сердца: Яков Беме, Сведенборг, Сен-Мартен, Эккартсгаузен, Юнг Штиллинг, «Сионский Вестник» А. Ф. Лабзина. Один из Довгелл масон — его печать в особом ларце среди Берестовецких сокровищ: гетманской серебряной чаркой и поясом.

За Новиковым современники Пушкина. Издания Смирдина и сборники: «Северные цветы», «Полярная звезда», и журналы: «Северная пчела» Фаддея Булгарина и «Библиотека для чтения» Сенковского.

(Тоже новая руда: сенковский учил польскому Марлинского, а Марлинский исправлял русское Сенковского, для которого легче было писать по-турецки, чем по-русски).

Любопытен черный подбор: «Черная женщина» Н. Греча, «Черная курица» Погорельского, «Черный год» Полевого, «Черная немочь» Погодина, «Черные перчатки» Одоевского, «Чернец» Козлова; потом добавят: «Черные маски» Леонида Андреева. А я бы еще подложил для «безобразия»: «Черный плащ и кинжал» Анны Крутильниковой — воображение Петербургского туриста И. А. Чернокнижникова (А. В. Дружинина).

Особое собрание книг духовных и по истории. Журналы. А все завершилось высокой беллетристикой: Толстой, Достоевский, Гоголь, Лесков, Мельников-Печерский, Тургенев, Гончаров, Писемский.

***

Книжная башня особенно памятна Оле. Вопреки запрету и всяким страхам, забегала она по трясущейся лестнице на самый верх — ее тянуло как на какой-то таинственный зов — затаившись, она просиживала часами, заворожена книжными переплетами, золотым тиснением корешков. А потом, когда научилась читать, за первою книгою.

***

В роду Довгелло значатся воеводы — Трокский замок принадлежит Довгеллам. Был и протопоп: Почийский (Погаевский), каннoник Смоленский, Николай Довгелло, был и писарь (секретарь) канцлера литовского Кристопфа Паца — Станислав Довгелло.

По женской линии известна дочь Яна, первого с именем Довгелло, Баалла Довгелло (начала XV века), замужем за Гастольдом. Семейные предания наделили эту Бааллу всеми дарами волшебства и чарования: она последняя от друидов, литовский извод, религии кельтов. В хронике Страсбургского собора упоминается ясновидящая с Литвы: жила при соборе и пророчествовала).

Не оттого ли Серафима Павловна нигде себя не

чувствовала «на своей земле», как только на Океане, в Бретани — на земле друидов. Оба мы полюбили Океан. Только у меня другое — мое подземное: Москва — на дне Океана.

За литовскими воеводами пойдут войсковые, бунчуковые и значковые товарищи Левобережной Украины. И только один не гарцующий на коне: штаб-лекарь Шостенского порохового завода — Николай Довгелло. Оля с гордостью выделяла его: доктора!

***

Павел Иванович Довгелло, отец Оли, Серафимы Павловны, и младший его брат Иван Иванович продолжали военную карьеру своих дедов. Оба участвовали в Севастопольской и во второй турецкой войне 1877-1878 г. Павел Иванович в чине генерал-майора вышел в отставку и поселился в своем Берестовце, а Иван остался в полку. Служил он на Кавказе. И оставил по себе память за смелость и необыкновенный азарт: в одну из пятигорских ночей он проиграл в карты родовой Трокский замок. Это был любимый дядя Оли: ни с кем не было ей так весело, как с ним — живой и море по колено. Умер он сравнительно молодым — «чахотка», небывалый случай в роду Довгелло.

В Воспоминаниях Н. И. Греча, «Записки о моей жизни», Academia, М-Л, 1936, есть меткие слова о декабристе Батенькове, их я могу повторить о Павле Ивановиче Довгелло:

«Он приобрел славу умного, знающего, полезного, но **беспокойного** человека, — титул даваемый всякому, кто не терпит дураков и мошенников».

Случай дополнит этот титул: Павел Иванович вздумал было отказаться от выкупных при освобождении крестьян и получил непререкаемое: «беспокойный и сумасшедший».

Хозяйство велось по-заведенному. Любил лоша-

дей. Но, главное, башенное книгохранилище — книги отрывали его от хозяйства, семьи и соседей.

**
*

И когда я увижу, как Серафиму Павловну, втиснув на стул, потащут с лестницы чтобы положить у дверей дома на носилки и везти в амбулянсе в госпиталь; когда я увижу перепуганное на смерть лицо, и как она кричала — «ее тащили шакалы на тот свет: там будет спокойнее!» — я вспомню рассказ ее о отце.

Скрученного веревками, отбивавшегося, тащили его из дому, чтобы на зеленом Берестовецком дворе положить на подводу и на любимых его лошадях, везти за семьдесят пять верст в Чернигов в Заведение для умалишенных.

Говорили, от книг — «в книгах зашелся» и вообще ««беспокойный». Но, судя по уцелевшим листкам его дневника, было и еще что-то. Или это «книжное» и «совестное», что мучило его, упало на разлаженную, неусмиренную, бурную его душу? Его отец, дед Серафимы Павловны, зарезался в «меланхолиевом черном недуге» — душевная болезнь «черная немочь», от которой своею смертью помер кн. Д. И. Пожарский.

И в госпитале в единственное и последнее наше свидание — Серафима Павловна лежала необычно, навзнич, с тяжелым торопливым дыханием и поворачивая глаза, глаза были мутные — она смотрела и не узнавала. В головах я заметил аппарат с кислородом, а в ногах — лед. Только одеялом покрытая, без рубашки, — я спросил: «не холодно ли?» — «Нет», сказала она, не открывая глаз. Наклонясь, я заглянул поближе и мне бросилось в глаза: под грудью иодом вымазано. Потом я узнал, что это не от уколов, а порезь— это когда тащили ее по лестнице и клали на носилки, чем-то ранили. Да и тогда, как привезли в госпиталь и положили на кровать, последнее, что я слышал стоя

в дверях: она вскрикнула — ее начали обмывать перед осмотром доктора и верно дернули жестким по живому содранному.

И опять я вспоминаю ее отца. Когда «усмиренный» он вернулся домой из больницы, он людям, которые его вязали, показывал на руках и ногах рубцы от веревок — незажившие раны, и благодарил их — «потому что и у Христа были раны».

ИЗ ДНЕВНИКА ПАВЛА ИВАНОВИЧА ДОВГЕЛЛО

31 Августа 1881 года. Был в церкви, стоял сзади всех опершись к стене. Заметил кто молится за царя: из панов и офицеров только двое — старик седой, который стоял впереди всех и одного офицера, родившегося в Борзне. Из простых: баб, стоящих сзади всех панов, одного у.-о., 3-х-4-х солдат. За офицера я помолился, чтоб Бог ему послал разум; всмотревшись в его лицо, прочитал доброту. За царя я помолился, а также и за всю царскую фамилию. Когда пели «Святейший Синод», явился вопрос, почему он «святейший?» Явился ответ: такой дом, и в нем заседающие не святые. А когда начал писать «дом святой», — так как его освящали. Затем явились еще несколько мыслей и пропали. Еще в церкви пришла мысль, познакомиться с офицером, и к концу приблизился к нему, но не успел в церкви сказать, догнал и сказал: «позвольте спросить вашу фамилию». Сказал, что эта фамилия мне сродни может быть, — прочитал на лице неудовольствие. «Позвольте с вами познакомиться!» — «Очень рад». — «Вам некогда, так я после с вами поз.» Офицер побежал строить солдат, вышел и я заметил, что...

Дал совет Софии Николаевне молиться со слезами на глазах, она не заплакала. Какая-то мысль явилась

и умерла. Опять мысль умерла. Драгун, семечки и две девки работали, развлекли. Мысли умерли. Встаю ходить. Волы сено крадут, а человек не позволяет. Пришел Лизогуб: «можно?» — говорит; стучит кто-то в фортку, смеюсь. Новая мысль умерла. «Не оживет аще не умрет». Мысли явились и умерли. Опять меня не понимают. В другой комнате Глушановский бурчит и смеется. Я его лаю часто в глаза, называю «лысый хвост». Когда пишу, то мысли одна другую гонит. Послать в «Неделю» все, что пишу. Сегодня умерла мысль. Для передачи фамилию забыл, думаю и никак не могу припомнить. Благодарить «Неделю» за то, что она меня сделала лучшим. Я это засчитаю в душе. Думаю, совсем мысль умерла. 13 лет кажется читаю «Неделю». Когда шел в церковь, то говорил с мужиками и советовал лавочникам не торговать. Они сейчас все закрыли и кажется, на меня не сердились. Комиссионеру, мною произведенному в этот чин из факторов в прошлом году, советовал ему, чтобы он присмотрел за этим... мысли умерли...

Ты, П. И., получивши письмо от своей сестры, писанное 29 генваря, рассердился за ее советы. За что ты рассердился? Разве ты не знаешь, разве тебя Господь наш Иисус Христос, а также Матерь Господа Нашего Иисуса Христа, до сих пор не уразумили? Стыдись, П. И., думать так, как ты думал. Проси Бога и Матерь Божию, чтобы они изгнали эти мысли, которые к тебе приходили, а помогали бы тебе делать, помышлять, говорить и писать, что им угодно, до конца жизни твоей. Ты знаешь, что люди часто делают по незнанию. Разве твоя сестра знает лучше твою жену, чем ты, и знает тебя? Вот тебя понимает, и ты ее, та женщина, которая того же числа, как писала к тебе сестра, говорила: «мне жаль покойного, Царство ему небесное, Савича, что он застрелился. Я была сама в таком положении, люди мне советовали, и то и другое,

а не знали, что я хотела лишить себя жизни». Тебе пишут: «отдай все жене своей энергической, тогда будешь счастлив», но ты знаешь, что счастье на этом свете — живая вера в Христа. Ведь тебе сестра советовала перестать и молиться Богу. Разве она понимала, что говорила? Ведь ей наговорили, вероятно, врачи, что ты, П. И., психически расстроен. Разве ты не знаешь, что врачи знают столько же психиатрию, сколько ты китайский язык. Правда ты знаешь китайского мудреца Конфуция, который до Р. Х. жил и уверял своих учеников, что придет с неба святой и всеведующий и получит всякую власть на небе и на земле. Ты знаешь и греческого мудреца Сократа, который счастья семейного, как и ты, не имел.

Но умер с надеждою и уверенностью в лучшую жизнь. Ты знаешь Сократа, ученика Платона, который признавал эту жизнь приготовлением к будущей жизни лучшей жизни, где наказывается зло и награждается добро, и ученика Платона, Аристотеля, который искал живого Бога, что видно из его слов: «еслиб были существа, которые бы в глубине земли жили в домах, украшенных статуями, картинами и всем, чем богатом изобилии люди владеют живущие роскошно, если бы потом эти существа узнали о господстве и могуществе богов и через открытые отверстия расселины вышли из своих сокровенных жилищ в места, где мы живем, и увидели сушу и море и свод небесный, посмотрели на солнце в его величии, по наступлении ночи увидели звездное небо, луну, восход и заход звезд: тогда они поистине сказали бы, что есть боги и что все это величие их дело...»

Ты знаешь, что Спаситель мира, которого ожидали и Персы и Индейцы, приходил на землю во плоти и, умирая на кресте, просил Отца Своего за своих врагов. Апостол Иаков, сброшенный в Иерусалиме с храма, настолько имел сил, что сказал: «Господи прос-

ти им, не ведают, что творят». Иван Гус, сожженный в Праге, просил о той женщине, которая подложила дровец под его костер. Ты, П. И., понимаешь, что зло делает и посылает такие мысли, какие к тебе пришли, враг рода человеческого. Нет, П. И., ты чаще молись Богу и Матери Божьей, чтобы они отгоняли эти злые мысли. Ведь ты знаешь, что есть люди, которые признают, что Бога нет и что с концом этой жизни, по их мнению, все для человека кончается, а потому будем есть, пить и веселиться; которые, изучив строение человека, прочитавши Дарвина, Ренана, Страуса, Геккеля и Вольтера, воображают, что они мудрецы и S. Разве ты не видишь, что они больше страдают, чем веселятся. «Горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит...» Скажите этим мудрецам, что есть чорт, — Дух Святый с нами!— Разве вам поверят, когда они не знали, не читали и не верят тому, что написано в Евангелии. Евангелие есть столбовая дорога, а они идут проселком. Но, Боже милостив, буди нам грешным! Вы соль земли, священники, а вас какая буря застигла, что вы, большинство, заблудили. Вы тоже только и думаете, чтобы хорошо есть, пить, по моде одеть своих жен и детей, а на себя надеть шелковую рясу с белой подкладкой, а на пасомых смотрите, как на своих рабов, как вы сбились с истинного пути! О! вы слепые, припомните Спасителя слова: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму...»

(О смерти отца С. П. узнала только через месяц, говорили, что «опять сошел с ума».)

ГЕТМАН

Со стороны матери «Оля» — Серафима Павловна гетманского роду: ее предок Иван Самойлович Гетман (1672-1687).

Умер Иван Самойлович в ссылке в Сибире. Его сын Григорий — у Пушкина — Украинский патриот:

«Что ж, гетман? юноши твердили,
Он изнемог: он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко
Иль Самойлович молодой,
Иль наш Палей, иль Гордеенко
Владели силой войсковой;
Тогда б в снегах чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки».

Семья гетмана из Сибири попала в Кострому. И там началась их новая жизнь.

Довгелло через матерей украинизировались, а Самойловичи на Костроме обрусели. (Один из Самойловичей, не знаю который, выставлен в романе Писемского «Люди сороковых годов».)

В Борзенском уезде земля гетмана Самойловича досталась Мазепе, уцелели только Прохоры, ближайшее к Берестовцу, Довгелл.

Марья Михайловна Самойлович по смерти мужа приехала из Костромы в Борзну вводиться во владение, привезла с собой и дочь. Произошла встреча соседей — Павел Иванович Довгелло женился на Александре Никитишне Самойлович. Земля соединила Довгелл и Самойловичей, они и в прошлом были соседи и только время событиями заглушило, но не стерло память. А Марья Михайловна, любимая бабушка Оли, так и не вернулась в Кострому и осталась до конца жизни в Прохорах.

Брат Александры Никитишны, дядя, доктор в Не-
жине, там же и родовое Самойловичей — вотчина гет-
мана, от Берестовца не дальний конец.

Что Самойловичи, что Довгелло под стать рослые.
Доктор Иван Никитич, на голову выше Шаляпина, а
примерно с Кирилла Григорьева, сын художника, и у
которого при себе невыемно свидетельство из Пре-
фектуры: «в метро не пущать».

Я встречал и двоюродного брата Серафимы Пав-
ловны, Андрея Самойловича: он не такой великан, как
отец, но таким я вижу Пушкинского Григория — «иль
Самойлович молодой»: эти темно-серые глаза, с длин-
ными, как стрелы, ресницами и вдруг черные, чернее
сорочинского дегтю.

ПОСЛЕДНЯЯ «ЗАДОРА»

У «Оли» — Серафимы Павловны была старая нянь-
ка, она и отца Оли выходила. От этой няньки Татья-
ны (Фатевны) с первых лет набралась Оля всяких вер
и поверий и не только черниговских, а и киевских и
полтавских: нянька все святые места обошла, не ми-
новала и «заколдованные».

А тут еще и дивчата с песнями, колядками, и ди-
ды с думами, и ведьмы с ворожбой и заговорами —
Берестовец ведьмами славился.

Мне посчастливилось, видел я этих Берестовец-
ких ведьм — они все те же, как здесь у Океана в Бре-
тани: далекие глаза — и глядят, глотая. Все те же при-
емы и те же сроки — часы и дни колдовства, а в закли-
мы и те же сроки — часы и дни колдовства, а в закли-
наниях ритм и одинаковое в словах.

Ведьм боятся, а зовут, когда аптекарские лекар-
ства не помогают. Я не раз был свидетелем чудесных
случаев с людьми и с животными как в Берестовце,
так и в Бретани, да и слышал рассказы. Но говорят,

бывает и «наоборот», и непременно укажут на какого нибудь Хому, а тут на Пьера: «пропал!».

«Пропал, скажу за Гоголем, потому что забоялся».

«А если бы не боялся, ведьма ничего не могла бы с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет». (Вий).

Оля переняла от дивчат, дидов и ведьм простую речь Шевченки и с детства говорила, как черниговка словами черной земли, выросшими вместе с маками и мальвой в синюю украинскую ночь.

Серафима Павловна считала себя русской, объявиться «украинкой» — без Пушкина, Толстого и Достоевского, ей было бы и тесно и бедно. А кроме того, она любила свою костромскую бабушку Марью Михайловну Самойлович, урожденную Ратькову, и с детства считала, что похожа на эту русскую бабушку.

Серафима Павловна была похожа на отца: литовская крепь, мужество и буря. С отцовской стороны от Задор ее открытость к тайновидению: вещие сны, предчувствия и чувство на расстоянии, когда совершающееся за глазами мысленно проходит как перед глазами — ясновидение Бааллы Довгелло.

От украинской бабушки Ковалевской, открывшей Оле «таинственного зайчика» — реальность ее веры без всяких туманных абстракций и словесно--беспутного Богословия — простая вера с гоголевскими «заколдованными местами» и «святой землей».

А от костромской любимой бабушки приветливость и хлебосольство.

А все вместе — да это и есть русское.

Но было и еще, с чем пришла она в мир, пусть как завершение — венец Задор, и тут совсем неважно — литовское, украинское или русское — это чистота ее помыслов — чистая мысль и глубокая память.

***

Год рождения Серафимы Павловны не могу сказать точно; 1880 или 1883.

Когда Серафима Павловна объявила, что выходит замуж, весь Берестовец поднялся против и чтобы помешать — наивные люди! — спрятали ее метрическое свидетельство. Серафима Павловна не свое, та̀к старшей сестры своей взяла метрическое, и увезла с собой. А я подделал — это мне как раз по руке. И в Херсоне, где мы венчались, Всесвятский дьякон, цыганские глаза, а ничего не заметил — то ли я моими «подстриженными» отвел его цыганское, то ли мо̀е «мошенническое искусство» затуманило?

Серафима Павловна родилась 4-го июля на Андрея Критского — гимнограф, известный своим каноном Марии Египетской, «Марьино стояние» — среда пятой недели Великого поста. Она появилась на свет на восходе горячего дынного солнца в Чернигове на Гончей улице. Из Чернигова перевезли ее в Берестовец в дедовский замок Задор под глаз головы львовой серой косматой с огненной пастью в поле блакитном и старой няньки Татьяны (Фатевны). А везли ее на любимых отцовских лошадях, правил кучер Алексей — ведьмак. Этот Алексей славился на весь Берестовец уменьем «засекать» — заблудишься среди бела дня, будешь у своего дома ходить, а дом пропал, не найти; умел и глаза отводить: в праздник соберет дивчат и только скажет: «берегись, вода!» — и те, как чумные, задерут подол, а в глазах вода все выше, по пояс дойдет, смех!

На пятом году началось ученье. Учительница, старшая дочь Берестовецкого батюшки отца Евтихия Бардоноса Марья Евтихиевна Лукашева.

В семь лет Черниговская гимназия. Окончила с золотой медалью и самовольно — ей исполнилось шестнадцать, боялись одну отпускать — тайком она уехала в Петербург и поступила на Бестужевские Высшие Женские Курсы.

И начинается самая счастливая ее жизнь: наука

и «революция». Конец — окончание Курсов, одиннадцать месяцев одиночной тюрьмы, и ссылка три года в Вологодской губернии: Устьсысольск, Сольвычегодск, Вологда.

⁂

Профессора на историко-филологическом отделении Бестужевских Курсов: Н. И. Кареев, И. М. Гревс, А. Петров, Ил. А. Шляпкин, С. Ф. Платонов.

После ссылки она поступила в Петербургский Археологический Институт и окончила с дипломом «действительного члена Института».

Профессора Археологического Института: Н. В. Покровский, Н. Веселовский, Н. Карпинский, Н. П. Лихачев, В. Майков, Н. Середонин, Гольдштейн («Польско-литовские древности»), А. Марков, Ил. А. Шляпкин.

У Шляпкина она начала заниматься историей русского языка. Война (1914) расстроила работу. С отрядом Евгениевской Общины сестрой милосердия Серафима Павловна поехала на фронт в Варшаву. В канун революции вернулась в Петербург. А в революцию помер профессор Шляпкин.

В годы военного коммунизма до Нэпа (1921 г.), она служила в библиотеке Наркоминдела (Министерство Иностранных Дел) и преподавала русский язык морякам II-го Берегового Отряда, бывшего II-го Гвардейского экипажа.

И как однажды своевольно уехала она из дому в Петербург, так и 5-го августа 1921 г. не спросясь и не сказавшись, она уехала из Петербурга за-границу.

⁂

Она прошла путь русской интеллигенции — явление единственное и едва ли понятное в Европе.

Революционность не от теории, не от «экономической необходимости» и не от страсти к авантюре, не из честолюбия.

Коля Красоткин у Достоевского:

«О если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду».

В «Подростке» такое душевное расположение названо: «всемирным болением за всех».

Жандармский полковник Шмаков, который допрашивал ее, никак не мог понять в чем дело и держал ее в тюрьме. А потом ссылка.

Прочитайте воспоминания В. Г. Короленко, сколько там примеров, да и сам был примером революционной интеллигенции. Но у кого «сердце» может быть, и зорко но беззвучно, никогда не поймут и осудят.

После ссылки она отошла от «революции»: заниматься «революционными делами» что политикой, а это ремесло никак не ладится с «чистотою помыслов»: одна «конспирация» чего стоит, надо лгать, надо притворяться, без игры не обойдешься.

Корень «революционности» никогда не заглох в ней — «быть довольну, что есть» не такая душа. Она только не высказывалась, но я знаю, какая буря кипела в ее сердце.

***

В Париже она применила свои ученые знания — науку Ил. А. Шляпкина.

В Школе восточных языкев (Ecole de langues orientales, 2 rue de Lille, Paris) с 1924 - 1939 при курсе русского языка (Буайе, потом Паскаль) она читала необязательный курс (Cours libre) по славяно-русской палеографии.

В хронике Школы Восточных языков отмечен случай с Н. И. Гречем. В 1817-м году Греч был в Париже. Профессор персидского языка Ланглэз (Langlés) предложил ему место профессора русского языка в Парижской Школе живых восточных языков, основано в 1795 г.

Русской палеографии тогда еще не существова-

ло, но предполагаемый курс Греча был очень близок к «славяно-русской палеографии».

Задача курса была шире понятия о палеографии: палеография искусство читать древние рукописи, но в курс входило и изучение языка этих рукописей, как основы русской книжной речи. К вопросу «где» и «когда» (места и времени) присоединялось «что», «как» (язык и грамматика).

За пятнадцать лет много у нее было учеников: все ученые французы, а из русских верный — я.

Начал я мое ученье, еще когда она сама в Петербурге только что поступила в Археологический Институт. И до последного года ее жизни я спрашивал ее. Ученик и есть тот, кто спрашивает.

Она выбрала себе церковно-славянскую высокую книжную речь, завершенную собранием Макария, а я, под ее руководством, дьячью приказную, прослоенную разговорным просторечием.

В примечании к «Наталье боярской дочери» (1792 г.) Карамзин говорит, что тогдашнего языка (XVII в.) мы не могли бы теперь понимать.

То-то и оно-то, что не так оно. И кто такое «мы»?

Русская грамотная тарабарщина и писатели — русскими буквами на неизвестном или на «смешении».

Вот что я понял, сорок лет учась русской грамоте: в школах начинать с образцов приказного языка XVI-XVII в. — указы, грамоты, судные дела; усвоив русские лады — они не Карамзинские, не Пушкинские, перейти к церковно-славянскому и памятникам «Древней русской литературы».

По себе скажу: зачем мучить детей аористами, и двойственным числом — грамматической вязью до обалдения.

Главные пособия — книги: А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, Е. Ф. Карского, В. Н. Щепкина, И. Срезневского, И. В. Ягича, Ф. И. Буслаева, Н. М. Ка-

ринского, П. А. Лаврова, И. Ф. Колесникова, И. С. Беляева, В. В. Майкова, Н. К. Грунского, Н. П. Лихачева.

Одаренная необыкновенной памятью, . она без книг читала из древних памятников русской письменности XI-XVII века, отчетливо, ясно и со всем спокойствием уверенности, никогда не фальшивя в интонации. Голос звучал виолончелью, увлекая внимание и легко проникали в память слушателей слова. Чтение без книги очаровывало. А ясность глаз и улыбка — светили живым светом и освещали древний текст.

Последнее ее выступление на открытом заседании в Обществе Друзей Русской Книги о русских рукописных книгах, всем памятно.

> «Рад бысть заяц, изринувшыся от тенета, а рыба от сети, а птица от клепца, а должник от резоимца, а холоп от господаря,
> так рад бысть писец достигши в книзе остаточного слова пролога сего и последнии строки видючи, яко святого воскресения».

Да помяну имена трудившихся над русскими древними письменами и научивших нас искусству чтения; имена историков, исследователей и собирателей; имена повторяемые среди многолетних занятий — спутников мысли и руководителей:

Оленин
Ермолаев
Калайдович
Митрополит Евгений
Востоков
Солнцев
Грамонин
Строев
Кочановский
Надеждин
Погодин
Бодянский

Шевырев
Буслаев
Горский
Новоструев
Ягич
Срезневский
Прозоровский
Соболевский
Пыпин
Тихонравов
Шахматов



«Рад бысть корабль, переплывши пучину морскую, также и писец книгу свою. Аминь».

ЧЕРНАЯ НЕМОЧЬ

Из Берестовецкого АРХИВА ДОВГЕЛЛО

Я ничего не знаю о судьбе Берестовецкого Архива: погиб он с книгами в революцию от пожара или растащили. То, что случайно было в наших руках, хранится в Москве в Румянцевском музее, переплетено в книгу, но это не королевские и царские грамоты, те из Берестовца не выходили, а всякие копии; конечно, для археолога нет вещей незначительных, но все-таки, документы второстепенные.

Кое-что удалось списать еще в мирное время и вот довезти до Парижа. Из большого собрания писем всего одиннадцать, да и то одно без начала, и несколько листков из дневника П. И. Довгелло, отца С. П. Только мне кажется, что это совсем неважно — 100 или 11: ведь другой раз по одной случайной строчке можно судить обо всем в «живой» жизни.



Первые два письма деда С. П. Ивана Михайловича Довгелло (Борзенский Земский Исправник), из Борзны в Петербург старшему сыну Афанасию (1842). Аф. Ив. окончил в Нежине «Гимназию Высших Наук» (Нежинский Институт) и поступил в Петербургское Губернское Правление под начальство гр. Шереметьева. Тогда мода была на «малороссиан»: голос Гоголя с черной земли покрыл все голоса. И из родственников — Гр. Еф. Ковалевский и из соседей — Кочубей, Лишки служили в Петербурге.

3-е и 4-ое — тоже в Петербург Аф. Ив. Довгелло о болезни Ивана Михайловича, деда С. П-ны, 1843. Письмо Анны Ефимовны Довгелло (Ковалевской), бабушки С. П-ы, с описанием «скорби душевной» Ивана Михайловича. Ее письмо С. П. часто читала докторам, говоря, что у нее та же болезнь — «которую выпользовать не можно». Упоминаемый «благодетель» — петербургский доктор Емельян Федорович Кленус, был когда-то доктором в Прохорах, там его брат, Моисей Федорович. (Прохоры — соседнее с Берестовцем Самойловичей, где жила любимая бабушка Марья Михайловна. И письмо старшой тетки С. П-ы, Марьи Ивановны Довгелло (потом замужем за Федором Степановичем Отрадой) о «папенькиной болезни» и как его «потаскали насильно» из Берестовца в Борзну, 15 верст. Иван Михайлович вскоре, — в мае 1843 г. в припадке «черной меланхолии» зарезался. Какое совпадение в сроках: через сто лет, в мае же 13-го уйдет из жизни внучка — Серафима Павловна — единственная из всей семьи не в Ковалевских и не в Самойловичей, а в род Довгелло.

5-ое письмо, 1842 г. Аф. Ив. Довгелло отцу (без начала) из Петербурга, с «дачи». Судьба Аф. Ив. (1821-1845), как и приятеля его и сослуживца Сахновского (имение с Седневе), оба, полюбив Питер, не выдержали «петербургского климата»: ранняя смерть от плеврита после воспаления легких; «мало-

россияне», избалованные черноземной благодатью «милой родины» постоянно простужались и сгорали.

6-ое письмо Ивана Ивановича Довгелло, «отчаянного» любимого дяди С. П-ы, к матери Анне Ефимовне, Чернигов, 1848 г. И Павел Иванович, отец С. П-ы и этот дядя, он младше П. И-ча, учился в Черниговской гимназии. Ив. Ив. был первый ученик во всей гимназии, а на выпускной экзамен не пошел: «надоело» или как сам он выражался: «кончать не думаю» — «лихорадка в тот день и перед тем за день». Оба брата поступили на военную службу в стрелковый батальон в полк принца Карла Прусского, в Гомеле. Оба участвовали и в Севастопольской (1855-1856) и во 2-ой Турецкой войне (1877-1878). П. Ив. вышел в отставку, а Ив. Ив. продолжал службу, служил на Кавказе, большой «игрок» и роковой человек, не один раз был разжалован, но своей смелостью подлинно «города брал», и всегда восстановляли, а умер от «скоротечной» чахотки в Пятигорске.

У отца С. П-ы все пошло в «созерцание» и в «вопросы», а у Ив. Ив-а в какую-то призрачную жизнь «приключений», и у обоих не было того, что называется «житейской практичностью», зацепки за жизнь.

7-ое письмо, 1841 г. в Петербург Афанасию Ив. Довгелло от «дружка» его Отрады о смерти брата Прокофия. Стиль и настроение очень характерные для 40-х годов. Упоминаемый дядя — Отрада, «затеявший» жениться, вошел в Борзенскую хронику. Этот Отрада вроде Мазепы, только будет по-старше: Марии 15 лет, а ему 85. Мария померла от родов, а вскоре и сам помер «случайно»: затеял снова жениться, ехал смотреть невесту, понесли лошади, ударился виском о камень и дух вон. По силе и отваге его имя в Борзенских преданиях поминалось рядом с войсковым товарищем, Малороссийского Нежинского полку, Михаилом Григорьевичем Довгелло, прадедом С. П-ы, который руками «задушил бешенного волка».

8-ое письмо, 1842 г. в Петербург, Афанасию Ив. Довгелло пишет дядя Леонтий Ефимович Ковалевский, поздравляет с поступлением на службу. Все Ковалевские и сам «дедушка» Ефим Иваныч и его дети Григорий, Иван, Леонтий и Евлампий славились «витийством» и в письме и в речи; все приветственные слова в торжественных случаях произносились Ковалевскими и не только в Борзне, но по вызову и в Чернигове и в Нежине.

9-ое письмо, 1857 г. Наталье Ивановне Василенко (Довгелло), младшей тетке С. П-ы, Евлампий Еф. Ковалевский, живописует Борзенский бал у Петрункевичей.

10-ое письмо, 1842 г. Записка Варвары Головиной (Головни) сыну Федору Васильевичу Головне о Наташе и Наташурочке, их дочери.

И **11-ое,** 1862 г. из Гомеля (Гомля) Димитрия Фёдоровича Головни сестре «Наташурочке». Вот мечты человека, хватающегося за соломинку, с неизменным припевом: «может даст Бог».

1

ПИСЬМО И. М. ДОВГЕЛЛО СЫНУ АФАНАСИЮ

23 III 1842

Любезнейший сын Афанасий Иванович!

Я думаю, и последнее мое письмо ты уже получил: от 7 марта я послал простое, а 10-го марта с деньгами — 15 руб. серебром; третье же от 17 марта, которое, если будешь читать сии строки, то так же, я полагаю, ты уже будешь иметь его в получении. Письмо г. Шереметьеву я посылаю вместе с сим по почте, потому что я рассудил, что не кстати через твои руки посылать, а лучше как он с почты полу-

чит, и ты как бы о сем ничего не знаешь, и не подавай того виду, что я к нему о тебе писал, он, может быть, сам что-нибудь скажет об этом. Начало моего письма к Его Превосходительству, так: «Не нахожу слов выразить мою радость и чувства глубочайшей моей благодарности и признательности к Вашему Превосходительству, за оказанное юному сыну моему Афанасию Довкгеле благодеяние принятием его на службу в С. Петербургское Губернское правление!» (и так далее писал о тебе), с коего при свободе могу прислать копию. О чине и дворянстве я еще ничего не упоминал, ибо на это будет еще время. Ты и товарищам твоим в Губернском правлении не говори, что я пишу о тебе к таким лицам. Весьма худо, если ты не раздал писем и посылок, об этом часто меня спрашивают. Белозерская получила письмо от Вик. Мих..., но он ничего о том письме, что через тебя писал, не упоминает. Нехорошо, если ты не сблизился с Виктором Михайловичем, он, кажется, хороший малый. О сем беспокоится и Николай Данилович. В письмах своих ко мне ты не соблюдай церемоний и не извиняйся, что ты на лоскутке пишешь, а пиши, как хочешь, и на какой угодно бумаге. Не хочешь ли квартировать в доме г. Торнивского? Я на сих днях к нему еду, по собственному его интересу, и надеюсь, что он позволит тебе. Не случилось ли тебе видеться с Ляшками. Нужно бы познакомиться, один из них служит, кажется, в Герольдии — меньший. Каково ты понимаешь службу, кажется, грамота сия для тебя еще темна. Старайся чтобы на первых порах не назвали начальники твои ленивцем и рассеенным человеком. При свободном только времени можно быть где-нибудь в публичных собраниях, а впрочем надо знать службу. Часто ли видишь г. Шереметьева. Ты ничего не говоришь о жене Емельяна Федоровича, добрая ли она и сколько у них детей. Когда переименуют тебя в чинишку, то извести, может, нужно будет деньги за чин. Я думаю жалование в Губернском

Правлении дают помесячно. Ты о дружке своем Отраде все молчишь.

Остаюсь истинно любящий тебя отец твой

Иван Довкгеля.

23 марта 1842
Борзна

Старайся практиковаться во французском языке. Это на будущее время понадобится. Мне кажется, в Питере удобно.

2

ПИСЬМО И. М. ДОВГЕЛЛО СЫНУ АФАНАСИЮ

Его Благородию Афанасию Ивановичу Довкгеле. В Петербург. Служащему в тамошнем Губернском Правлении.
Борзна. Августа 21 1842 г. Получено 1842 авг. 23.

Любезный сын Афанасий!

Я, писавший тебе в прежнем письме о своем бытье, позабыл спросить тебя, рассчитался ли ты с добрейшим Емельяном Федоровичем за лекарства, забранные тобой во время болезни, о чем ты ко мне отзывался, как я помню, во время своей и моей болезни? А по сему при первом отправлении письма непременно извести меня, ибо я в этом сомневаюсь, потому что супруга его во всех прежде письмах к родным, посылаемых в Прохоры, упоминала о тебе, что бываешь у них часто, чем они довольны, и весьма с хорошей стороны о тебе отзывалась, а теперь в нескольких письмах уже нисколько, как Моисей Федорович мне сказал, не упоминает, из сего заключаю, что, вероятно, ты забываешь добро и не благодарил доброму человеку. А может я ошибаюсь, и потому выведи меня из сомнения, пожалуйста, бывай чаще у них (и если находишь), да не худо бы тебе и у г. Шереметьевых во время праздников с визитами бывать. Впро-

чем, как лучше, сам разум маешь, рассуждай. Теперь мы в Борзне на именинах у Дедушки твоего. Здесь и Иван Ефимович, приехал на 10 дней в отпуск. Он тебе кланяется, сожалеет, что Григорий Ефимович ничего не пишет.

Остаюсь любящий тебя отец твой Довкгело.

21 августа 1842
Борзна.

Я теперь ликую дома, но приехал на самое короткое время, именно на 10 дней. Радовался, что вы служите хорошо, дай Бог, чтобы лучше и лучше. Вы этим благополучием укрепите сдоровье родителей своих и всем нам доставите дорогую честь.

Если изберете свободную минуту, то уделите для преданного вам, адресуя в Успешь.

Слуга покорнейший и дядя
Иван Е. Ковалевский.

21 августа 1842 г.
г. Борзна.

3

ПИСЬМО А. Е. ДОВГЕЛЛО СЫНУ АФАНАСИЮ

Милый и любезный сын мой Афанасий Иванович!

Слава Богу, Господь хоть немного обрадовал нас: папенька твой после долговременной болезни 16-го апреля, по прозьбе нашей и всех родственников и приятелей наших выехал в Борзну, вступил в должность и окончил все нужные дела. Но горе, что болезнь его не кончилась, и не совершенно еще здоров. Болезнь его непостижима: он всегда печален, задумчив, не любит не с кем говорить, негде бывать, некого к себе принимать, говорит, что для его нет ничего милого и занимательного; и всегда всем говорит, что для его жизнь несносна, его всякая малость беспокоит и тревожит, он очень мало спит, апетит имеет умеренный, не чувствует не какой боли,

не какой слабости, всегда всем говорит, что он здоров. Вот я тебе и описала в точности его несчастную болезнь.

Милой мой сын, если будешь у доброго благодетеля нашего Емилияна Федоровича, то расскажи папенькину болезнь и спроси у его совета, что делать; может быть, он и за глаза отгадае его болезнь. Наши же доктора отказались пользувать, сказали, что «его время выпользует, у его болезнь и скорбь душевная, которой нам выпользовать не можно». Я же, благодаря Бога, здорова, с твердостью духа переношу все несчастия и уповаю на милосердие Божие, желаю тебе всех благ, остаюсь усердная мать твоя Анна Довкгелина. Братцы и сестры здорови, кланяются тебе.
IV 1842 г.

Я надеюсь, что бумаги получены о братьях, то пожалуйста, Афанасий, приложи и свои старания и прозьбы Кочубею, о принятии братьев твоих куданибудь.

4

ПИСЬМО М. И. ДОВГЕЛЛО БРАТУ

Неоцененный братец и друг мой
Афанасий Иванович!

Поздравляю вас с прошедшим праздником Христовым Воскресением, каково вы его провели, весело или нет, скажите нам, А я знаю, что большую часть в слезах проводила, разумеется, я много согрешила перед Богом, потому что все Христиане, которые имеют скорбь и печаль, то должны оставить с бодрим духом, и надеяться на милость Божию. Но что-ж делать, когда я ево не имею. Теперь скажу вам, что папеньку прозьбою не могли уговорить, чтобы ехать в Борзну, то его просто **потаскали насыльно,** и прямо в церков, привели к присяге на чин, с церквы же, не сказав некому не слова, пошел в суд. Кто было нада выдеть стену эту, как его встретили все слу-

жащие, нельзя было без слез от радости смотреть, что как ему весь народ рад. Разумеется, нада вам правду сказать, что он не может и до сих пор не каких дел предпринять, потому что страшно расстроен мыслями, но все и тому рады, что хоть подписывае, может быть, какое-нибудь развлечение будет иметь, чтоб не так задумивавсь. Кочубею письмо написано об обеих братьях, только не папенька, а Мизка употребыл свою красноречивость, а папеньку только могли упросить подписаться, да и нельзя его было етим и втруждать, потому что он вовсе не мог ему писать. Молчание к вам его было в том, что он не только не мог писать, но даже и говорить не мог. А он на вас не сердится. Не может без слез вас вспомнить, и все рассказывае, что он обыдил вас и нас, и мы его не можем уговорить. Что какая тут обыда, ето больше ничто, как болезнь наделала, и только еще скажу вам, что и з Мизкой дела кончили, заплатили ему деньги и взяли крепость. Бог с ним и только, мы через его, кажется, целый век будем страдать. Пишу вам о Паше и о Ване, что они довольно порядочно учатся, ввособенности Иваня, во всем 1-ом класе — 1-ой ученик и старши, носит петлички и всеми начальниками любим. Наташа целуе вас, Миша ходит и говорит. Я и сие письмо с добрейшим Федором Степановичем пишу к вам, зделайте милость, пишите ему и поблагодарите ему за его доброе расположение к нам. Мы уже не находим средств вознаградить, сколько он помогал и помогает во всех наших бедствыях, мы етим людям просто обязаны много и премного, разумеется, не могу вам высказать на письме. Вот еще представьте мою жалость, я думаю вы и сами удиваялись, что вернейший случай был через г. Гореславского передать что-нибудь, но клянусь вам, что не знала о его выезде в Пет. И так мои вещи остались до выезда Григоровыча А. Пав., то мне еще время осталось сработать что-нибудь, и пришлю вам с душевною радостью, **желала б и душу переслать, но**

не в сылах. Но я бы довольно была тем, когда бы кто-нибудь передал мои мысли и чувства к вам, а я уже не всылах. Теперь прощайте, желаю вам быть веселим, здоровым и всего лучшого на свете счастия, остаюсь любящая вас и несчастная во всех отношениях сестра

Мария Довкгело

Вы меня спрашивали, не забылали я етими временами играть, но отгадали, я много было забыла, но на это есть ноты! — и еще к тому и папенька не любыт теперь слушать. А скажу вам, что если б еще не фортепияно, мне то можно просто пропасть, а то если стеснит мою душу, то сажусь сейчас играть и почувствую облегчение, когда союдут сло́зы.

Дедушка ужасно беспокоится о Григории Ефимовиче, что он не пише ничего, говорит, что его верно нет на свете, то напишите хоть нам об нем.

Если к вам придет Петербургская жителька с письмом, то не сумневайтесь, что будет письмо от маменьки, точна она у нас была, с Киева зашла, маменька взяла и написала несколько слов к вам.
IV 1842

5

ИЗ ПИСЬМА А. И. ДОВГЕЛЛО К ОТЦУ

Я теперь живу на даче в тишине, в уединении, после оглушительного шуму, который для меня был без привычки нестерпим, от экипажей, который в час без числа проедет по улице; здесь редко слышен этот шум, тем более, что улицы не вымощены камнем; часто сравниваю теперешнее состояние с тем, как жил на милой родине. Тут везде деревянные домики с садами, который и у меня есть, в нем «философская» беседка, где я читаю книги, и наслаждаюсь пением птиц; май у нас такой же очаровательный, как и у вас: деревья распустились, цветы зацвели — благоухание всеобщее. Но-

чи здешние прелестны! теперь, например, 2-ой час ночи и так уж светло, что можно читать книгу, а далее совсем не будет ночей, ибо вечерняя заря сливается с утренней и от того такой свет. К сожалению, я разлучился с прежними товарищами от того, что не успели отыскать удобной для всех квартиры, впрочем, не на долго. Сахновский бедняга с февраля месяца болен; для него здешний климат, по словам докторов, вреден. Разлука с ним будет для меня убийственна. Теперь же я квартирую с Завадовским. Вижусь часто с моими знакомыми. Признаться, мне было бы трудно расставаться с Питером; я к нему привык и полюбил. Гр. Ефимович, слава Богу, здоров и благополучен во всем, хотя я и боялся за него. О Кленусе решительно определенно ничего не знаю, ибо он 3-ий месяц не виделся со мною. Вас почитающий сын

ДОВКГЕЛО

V 1842

6

ПИСЬМО И. И. ДОВГЕЛЛО МАТЕРИ

24 V 1848

Любезнейшая маменька!

Давно бы нужно писать к вам, но и до сих пор не имел случая; теперь пишу через Федора Степановича. Он говорил мне, что вы беспокоились о Паше, и не знали, где он обитает, то я вам скажу, что он отправился в Гомель безденежно, т.е. бывши на станции в Чернигове, познакомился с одним офицером, который взял его до Гомеля на своих прогонах, потому что он ехал по казенной надобности. По приезде в Гомель, Паша находился в критических обстоятельствах, потому что не позволяли держать экзамен и говорили, что он опоздал, но когда приехал Дараган, который был тогда в Киеве, то сейчас ему позволили держать экзамен, и через 2 дня выдержал, и поступил в **Стрелковый батальон,** а прикомандирован **в полк Принца Карла**

Прусского. Паша прислал мне, через Соколовского, который виделся с ним в Гомеле, подушку, программу и выписки, нужные в военную службу, и пысал, что если я хочу поступить в полк, то чтобы как можно скорее определялся и чтобы успел поступить, державши экзамен, а на вызов невыгодно ехать. Теперь вызов есть в Варшаву без экзамена в третий корпус, не угодно ли вам будет, чтобы я отправился туда, то только стоит приехать вам уволить меня из Гимназии, так и отправлюсь, а если не угодно, так отправьте держать экзамен в Киев, ибо я уже давно готов. В Гимназии держать экзамен я не буду: во-первых, потому что я, как вам известно, **кончать не думаю,** а во-вторых, что на первый экз. хотел итти, но посетила лихорадка в тот день и перед тем за день.

Я вам написал все, что следовало, не утаивал и что говорил уже; теперь как угодно распоряжайтесь со мною.

Теперь вам остается прислать за мною скорее или же сами приедете и уволите меня из Гимназии, а не то я буду гулять в Чернигове, напрасно деньги терять.

Желаю вам быть здоровой.
Остаюсь ваш любящий сын

И. Довкгело

24 маия 1848 года

Чернигов

Сегодня я ходил нарочно в Батальонную канцелярию узнать, есть ли вызов в Варшаву, то есть, лишь бы только хотел, то последует, не медлите, ибо я не дождусь, кажется.

7

ПИСЬМО ОТРАДЫ АФ. И. ДОВГЕЛЛО . .

16 дек. 1841

Брат Афанасий! тяжелы мои теперь мечты и я не знаю, с чего начать тебе письмо. Каждую почту я хо-

чу, чтоб подробно описать смерть Прокофия после того письма, которое я тебе послал сейчас приехавши домой; но не писал, потому чтоб не раздражать тебя еще более; но теперь решился писать к тебе и вместе к Илье и Андронику, к трем моим искренним друзьям, которые у меня, после родного семейства первые на сердце (это не я пишу, но говорит мое сердце без всякой подлой и проклятой лести).

Поверишь ли, Афанасий, как мне трудно писать к тебе это письмо: после письма к Ильи мысли у меня совершенно смешались и я не знаю, каким образом начать к тебе описание смерти брата Прокофия. Я только то скажу, что до этих пор я считал все мои планы, а также и других, действительными; но как ошибся, я теперь только начал считать все планы человеческие ничтожные, и что один только Всевышний, Который Один, что захочет, то и совершит. Вообрази себе, когда Петр и Прок. выезжали из дому в Керчь, то все мы и родственники прощались с Петром, как при последнем прощании, но с Прокофием так, как будто бы скоро увидимся опять.

Посудите теперь, что значит предположения человеческие — ничто, ибо Богу угодно так было, чтобы Прокофий не виделся с родными. Из всех нас только..... виделись с Прокофием после этого прощания. После нашей разлуки я был у дяди, и после все мы опять к нему поехали: ибо он затеял жениться. Я был на свадьбе весел только один день; на другой же день там было мне скучно, что я почти ни к кому не говорил ни слова; но ввечеру сознался одному приятелю, что верно будет какое-либо несчастие, что я имею какое-либо предчувствие, и действительно в этот день Прокофия привезла одна наша родственница в Кременчуг, ибо Прок., бывши еще у нас, был крепко болен. Не помню, сколько дней были мы у дяди, но когда поехали домой, то на дороге встретили нарочного от родственницы и Прокофия, который пишет, что болен он и просит, чтобы мы приехали. Мы тогда же

приехали домой на обед и я с отцом через час поехали в Кременчуг; на другой день к обеду мы были там и видели Прок., который очень нам обрадовался. Мы были там 2 с лишним недели. Прок. был сначала болен, как я уже сказал, прежде крымскою желчною лихорадкою (разлитие желчи по всему телу), а после болезнь эта перешла в горячку такую же, которая усиливалась, но после сделался перелом и даже доктор поздравил его с выздоровлением. Как ничтожна мудрость человеческая и предположения перед Всевышним, Который всем руководствует! против 21 числа Прокофию сделалось хуже и хуже, пульс начал слабеть, а руки холодеть.

Отрада.

8

ПИСЬМО Л. ЕФ. КОВАЛЕВСКОГО АФ. И. ДОВГЕЛЛО

23 III 1842

Любезнейший племянник. Поздравляю вас с окончательным определением на службу; но желаю душевно, чтоб последовала перемена на лучшее место. Кланяйтесь брату Гр. Еф. и объявите ему, что я не сердит на него. Конечно, мне было больно разлучаться, не простившись; но узнав, что люб. Григорий Еф. уже определен к службе, не чувствую теперь скорбы за радость, а молю Господа низпослать, как ему и вам, силы к понесению возложенного на вас бремени. Порадуйте когда, мой милый! вашими отзывами. Григорию Еф. скажите, что я ожидаю особо письма от него, я скучаю и хочу беседовать с вами, дрожайшими, хоть заочно. Вас любящий и искренно желающий вам полезных благ

Леонтий Ковалевский.

9

ПИСЬМО ЕВ. ЕФ. КОВАЛЕВСКОГО НАТАЛЬЕ ИВ. ГОЛОВНЕ (ДОВГЕЛЛО)

Борзна, Ноября 4-го 1857

Письмо твое, милый друг, Наталья, от 14-го числа я получил только 31 октября, на которое и отвечаю немедля. Ты пишешь, Душа моя, что ты скучаешь без нас, и что мы тебя забыли, — не пишем долго на твои письма. На это скажу тебе следующее: забыть тебя мы никогда не забывали, потому что любим, как родную дочь, а не писали долго потому, что тьотка твоя почти все это время была больна да и теперь не совсем здорова, а я, как ты сама знаешь, постоянно в работе — в особенности осенью с утра и до вечера в занятиях, не только не достает времени на переписку, но некогда подумать и о домашних делах. Теперь мы все слава Богу здоровы, исключая жены, которая ужасно кашляет, она простудилась у Петрункевича на балу 29-го сентября и с тех пор никак не поправится, жаль очень нам, что тебя не было на этом бале, у нас подобные праздники очень редки. Представь себе дом Петрункевича ввесь иллюминованный в прекрасную тихую погоду и оба двора тоже иллюминованы, на пруде устроены были пловучие семейные вензеля Веры и мужа ее Николая, ввесь пруд в плошках а на середине пруда устроен был подвижной сад, к которому проведена аллея великолепно освещенная, и при этом фейерверки, вензеля, горящие ракеты и всякого рода штуки при отличной музыке графа Кошелева-Безбородко. Гости постоянно то танцуют, то выходят на балкон любоваться великолепнейшей картиной, тут же на бале были артисты-музыканты и певцы, которые также восхищали публику съехавшуюся с трех губерний, словом сказать, бал Петрункевича был таков, что Борзна еще не видела и воспоминание о нем останется надолго. К этому балу хозяин приготовлялся це-

лый месяц и дамы шили платья и разные разности за два месяца, а потому можешь вообразить, как были костюмы свежи и изящны. Ольховский не смел и рта разинуть при других певцах, и потому был слушателем, — кстати о Ольховском, он 10-го октября, в день моего Ангела в числе прочих посетителей познакомился с одной нашей знакомой девицей из Остра Варварой Солониновай, внучкой Яшновых, воспитанницей Полтавского Института, и как бы ты думала. Влюбился до безумия, через неделю знакомства просил ее руки и получил согласие, теперь он жених обрученый и подал уже рапорт о дозволении жениться, свадьба будет после Филиповки.

Федору Николаевичу и Анне Васильевне наше усерднейшее почтение, сестрице поцелуй за меня ручку

Евлампий Ковалевский

10

ПИСЬМО В. ГОЛОВНИ СЫНУ ФЕДОРУ НИКОЛАЕВИЧУ ГОЛОВНЕ

Мой друг Федюшенька!

Пошли эту посылку, не замедли, Наташеньке. Но слава Богу, что я услышала, что вы доехали благополучно и живи и здорови, но я все время томилась душею о тебе и Наташи, что ты нездоров и Наташурочка и..... мальчик, и человека моего не узнали тогда, когда мы и согласились, чтобы узнать. Как вы виехали, то я, как сумашедшая зделалась, плакала и беспокоилась об вас.

Остаюсь по гроб мой
мать твоя
Варвара Головина.

1845

11

ПИСЬМО Д. Ф. ГОЛОВНИ СЕСТРЕ НАТАШЕ

Гомель 22 Августа 1862 года

Милая сестра Наташа!

Не воображай и не думай так, что о тебе никто не заботится, отец, может быть, но я очень забочусь о твоей участи, но при всем моем желании я никак не мог ее улучшить; въполне уверен, что ежели бы ты могла знать и мое положение, то наверное не позавидывала бы ему, и всему причиною, как мне, так и тебе, долги, в которые мы было влезли. Но вот, даст Бог, и наши дела поправятся: когда продадим лес, то я думаю взять тебя и уехать в Киев, где я думаю поискать себе какой-нибудь службы, и когда я, может, даст Бог, отыщу какое-нибудь местечко, тогда мы с тобою, нанявши скромную квартирку, поселимся и будим жить, как будут позволять обстоятельства, то-есть скромно, чтобы не делать долгов. Наши же обстоятельства тогда, даст Бог, улучшаться, потому что мы с тобой после утвержения грамоты будем получать оброку рублей семьсот, следовательно, живя скромно, мы будем могти прожить и в Киеве. А при этом я, может быть, даст Бог, найду местечко, которое будет приносить хотя то, что мы должны будем платить за квартиру, но я впрочем почти уверен, что найду там себе место для службы, следовательно семьсот рублей нам будет достаточно для того, чтобы одеться и прожить скромно, но прилично. Я не писал тебе еще, что Юзик Климович в Киеве и служит в Канцелярии Военного Генерал-Губернатора и выписывает меня, обещая найти там какое-нибудь место для меня, и вот нам будет на первый раз знакомый и он познакомит меня там с своими родственниками, которые живут хорошо и имеют вес в обществе. Итак потерпи уже немного, мы ожидаем Мусмана для окончательного размежевания для (утверждения) составления грамоты, после

утверждения которой я продам лес и, сказавши сборщику, чтобы он высылал следуемый нам оброк в Киев, поспешу выбраться из этого противного Гомеля, и там, забравши тебя, заберемся в Киев, а в Гомле о нас и слух простынет, а в Киеве, может, даст Бог, тебе скорее найдется порядочный женишек (для тебя).

Эти деньги, которые мы возьмем за лес, пойдут на первое обзаведение в Киеве и на гардероб (поверь, что мы щегольнем там не хуже других киевлян), итак, повторяю тебе, потерпи уже месяца полтора, а может быть, и меньше, потому что, не составивши грамоты, никак нельзя мне выехать, потому что, как тебе известно, папенька мало заботится о нас, а когда мы выедем в Киев, то он будет, пожалуй, высылать нам половину следуемого оброка. А когда утвердится грамота, тогда прикажется сборщику высылать оброк каждому, сколько будет следовать, и тогда уже сборщик не даст папеньке более того, сколько будет следовать, а нам будет высылать в Киев. Итак ожидай меня не позже того срока, который я тебе назначил, и затем пожелав тебе быть здоровой, остаюсь любящий тебя брат твой

Дмитрий Головня.

Новостей в Гомеле нет никаких. Кланяйся от меня дяди и его семейству, извини, что теперь ничего не посылаю, но ей-ей не получал еще ни копейки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

С ОГНЕННОЙ ПАСТЬЮ

ГОЛОВА ЛЬВОВА

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ

ЗА ЗЕЛЕНОЙ ОГРАДОЙ

ЗАЛОМ

ЗАДОРА

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.



341

Цена $3.00

